

# ГРАНИ

GRANI

108

1978

---

Verlagsort: Frankfurt/Main, April-Juni

## **ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»**

**к литературной молодежи, к писателям  
и поэтам, к деятелям культуры  
— ко всей российской интеллигенции**

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет вам возможность публиковать те ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине. Напечатаны эти произведения могут быть в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Будет сделана попытка их публикации и на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом, который будет строго соблюдаться издательством.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу, так и через иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**Possev- Verlag  
Flurscheideweg 15,  
D-6230 Frankfurt am Main 80**

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, мы помогаем российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик.

**За свободное творчество! За свободную Россию!**

**Издательство «ПОСЕВ»**

# Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XXXIII

№ 108

1978 год

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Вадим НЕЧАЕВ — Одиноким сдается угол. Повесть                        | 3   |
| Юлия ВОЗНЕСЕНСКАЯ — Стихи                                            | 31  |
| Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ — Жизнь Александра Зильбе-<br>ра. Отрывки из романа | 39  |
| Виктор КРИВУЛИН — Стихи                                              | 120 |

### ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Из переписки двух священников                            | 124 |
| Л. РУДКЕВИЧ, Н. КОНОНОВА — «Дело» Юлии Воз-<br>несенской | 151 |

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Владимир ЧЕРНЯВСКИЙ — Обреченный бессмертью.<br>Сологуб и его роман «Мелкий бес» | 165 |
| Светлана УМРИХИНА — Мистический план романа<br>«Бесы»                            | 187 |
| Эммануил РАЙС — Против реалистического романа.<br>Часть 2                        | 212 |

### ПУБЛИЦИСТИКА

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Вадим НЕЧАЕВ — Нравственное значение неофициаль-<br>ной культуры | 241 |
| Борис ПАРАМОНОВ — Гибель человечества или кри-<br>зис культуры?  | 253 |
| Е. БРЕЙТБАРТ — Пока безумный наш судья...                        | 263 |
| Р. ЛЕРТ — Подступы к «Зияющим высотам»                           | 279 |

### БИБЛИОГРАФИЯ

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| В. Володин. — К духовному устью   | 292 |
| Список книг, поступивших на отзыв | 295 |

*Обложка работы художника Н. Мишаткина*



Вадим НЕЧАЕВ

### Одиноким сдается угол

*— повесть, написанная в 1964 г., в которой странным образом предсказываются события как уже свершившиеся, так и предстоящие нам в недалеком будущем.*

Прислушиваясь к слабым отголоскам сна, я подумал, что, наверно, уже девять часов и пора вставать. В квартире было тихо, сквозь занавеску проникало солнце, — уже наступила осень, сухая и с морозцем, но хозяйка еще не спешила топить печь, а поэтому я накрывался одеялом до самой макушки. Оно мне служило защитой от тревог последних дней. И у меня вошло в привычку лежать после пробуждения в темноте минут двадцать, а то и тридцать, чтобы набраться решимости до следующей ночи. Нельзя сказать, чтобы я дурно спал или меня мучили кошмары, — не в этом дело, просто каждый раз я поднимался с неясным ощущением: а зачем? То, что раньше было понятным и само собой разумеющимся, вдруг, в какой-то невидимый для меня момент, потеряло свой очевидный смысл, словно я оказался не в мире живых людей, а их теней, но этого-то никто не знал, и все требовали моей прежней линии поведения.

---

Рассказ взят из ленинградского самиздатовского «Архива» (иллюстрированная книга-коллаж). Часть третья. 1976 год, март. Создатели ее — Вадим Нечаев и Марина Недрובה. — Р е д.

Когда мы смотрим негативы, нам необходимо некоторое усилие, чтобы представить, как будет выглядеть снятая картина жизни или природы на фотографии, и подобное усилие, чтобы сохранить себя, я проделывал по утрам.

— С добрым утром, дядя Кирилл.

Я с опаской высунул голову наружу и увидел Петю, сына моей хозяйки, который стоял на полу босиком. Он пересек комнату, залез ко мне под одеяло, поёрзал и затих, как младший брат. Петя — милый мальчик. Здесь, у него в доме, мне было уютно. За эти десять месяцев я прижился и стал почти своим человеком в семье. Мне осточертело искать себе углы, переезжать из гостиницы в гостиницу, таскать за собой чемодан и рюкзак с бумагами; спать рядом со случайными людьми, которые храпят, стонут во сне, чмокают губами, зовут своих жен, просыпаются, курят папиросы, топоча ногами, ходят в уборную, зажигают свет, играют в карты, читают детективы, в шесть утра включают радио и слушают последние известия — я ничего дурного не хочу сказать про этих людей, но командировочные есть командировочные, и ничего тут не попишешь.

И по правде говоря, я невероятно обрадовался, когда нашел постоянное «место жительства». Петя во сне не ворочается и не бредит. Его мать тоже спит неслышно. Иногда всё же по ночам она тихонько встает, подходит к окну и долго стоит так, задумавшись. Я вижу из своей комнаты ее белую сорочку, голову, склоненную набок, и желтые волосы на фоне серого стекла. За окном — рассеянный свет и ночь, и Валентина ничего не может разглядеть, кроме своего мужа на траулере, и, вероятно, она вспоминает его улыбку и руки в дни трезвости и любви, потом она черпает из ведра колодезную воду и пьет ее, и разливает по груди, и, успокоенная, ложится в постель.

— Дядя Кирилл, что такое мир?

— Гм, ты думаешь, я знаю?

— Ты всё знаешь.

— Что это тебя заинтересовало?

— Я на улице прочел: «Миру — мир!»

— Как бы тебе сказать? Мир — это когда нет войны и все умирают своей смертью, когда люди не боятся друг друга и приходят в гости с любовью.

— Ну, что не умру. А другой мир какой?

— Другой?

— Ну да. Там же написано: «Миру — мир».

— Ах, другой. Не знаю. Может, его и вовсе нет. Каждый придумывает его по-своему.

— Ты плохой, дядька Кирилл. Я мамке скажу, что ты не вытер ноги вчера, не беспокойся.

Я быстро сдался, не позволяя своему сердцу смягчиться, что задержало бы меня по меньшей мере на полчаса — примирения с мальчиком всегда проходят с длительными церемониями. Поставил перед собой овальное зеркало, сел на табурет, включил электробритву. Ж-ж... жж... Петя вытер слезы и построил в мою спину рожицу, встал на голову, свалился и принялся рассматривать книгу с картинками.

Да, он обойдется и без меня.

И мне вспомнилось собственное детство. Вот так же, занимая себя картинками, я сидел в бомбоубежище под чахлым светом раскачивающейся лампы, а вокруг молчали, нахохлившись, люди, подобия птиц. Они молчали и тогда, когда дом вздрагивал от близких разрывов и на пол сыпалась штукатурка. Я отчетливо запомнил запах насильственного молчания и робкого страха, вкус дуранды и клея, и любопытно, что как-то раз после войны, это было так давно, мимо нашей школы проезжала машина, груженная дурандой, и один кусок ее упал на мостовую, я подобрал его, откусил с краю и тотчас выплюнул, и всё равно не в силах был выбросить, а спрятал в парте.

Но как ни странно, это не вызвало в памяти ни горечи, ни волнения, словно блокада и ожидание отца (так же, как и ожидание будущего) промелькнули в чужой, далекой и безразличной мне жизни.

Бритва всё жужжала, и я машинально водил ее по голой щеке, раздумывая, что же со мной случилось. А в зеркальце с трещиной посередине отражалось мое искаженное лицо: один глаз был чуть выше, пустой и мертвый, а второй, пониже, блестел влагой жизни, как у ребенка, подбородок ушел вниз, мой бедный нос скрючился в сторону.

То же самое, по-видимому, было в моих мыслях, которые я никак не мог собрать и сосредоточить вокруг какого-либо стержня. Наверно, как говорили писатели наивного прошлого, я потерял себя, как верующие порой теряют своего Бога. Я пытался воскресить, вспоминал свой прежний дом, в котором провел двадцать лет и на лестнице которого мне была знакома любая щербинка или надпись, пожилой неказистый дом, просыпающийся в шесть утра, когда вставал кочегар Захар Пустовойтов этажом выше нас, бывший циркач и выпивоха, мой лучший друг в детстве, и грузно шагал по шатким половицам, когда две старых милых девы — Катя и Маруся Соловьевы, обе в белых передниках, похожие на официанток или школьниц, принимались стряпать на кухне, а их сосед пенсионер Подольский правил вслух свою летопись о гражданах, населяющих данный дом по Б. Посадской с 1812 года; я вспоминаю свою маму, ее белое лицо с впалыми щеками, наставнический голос, ее грустный далекий взгляд и письма, которые она отправляла раз в неделю на главпочтамт до востребования, во все те города, где я успел побывать. Я рос и менялся, однако ни содержание писем, ни их тон не стали другими, словно мы оба застыли в том возрасте, когда ей было тридцать, а мне десять лет; но воспоминания, помимо моей воли, опять уплывали в ту далекую от меня стра-

ну — так называемое прошлое, ни утешения от них, ни облегчения.

Видимо, они бежали от меня такого, как сейчас, и я очнулся от собственной пустоты, ощутив ожог на лице. Я выключил бритву и побрызгал на себя одеколоном. Надел белую сорочку и аккуратно затянул галстук, находя в этом какое-то удовольствие. Было десять часов, когда я собирался на работу. На улице ни души, в нашем районе сплошь японские, дряхлые, одноэтажные и двухэтажные дома. Они стоят кучно, как сыроежки, и во время пожаров выгорают целыми кварталами. Зато погорельцев переселяют в современные квартиры. Я прошел мимо парикмахерской, пивного ларька, возле которого одинокий пьяный чистил себе платком туфли, мастерской по ремонту зажигалок и начал подниматься на мост. Под ним пролегали черные рельсы, влажные от росы, и вдалеке виднелось стадо вагонов — участок тяги и подвижного состава. Паровозы двигались не спеша, как на прогулке. Я привык к их гудкам — они врываются в мои сны, и я исчезал из города.

\*       \*       \*

Меня обступало поле ромашек, которые разом колебались из стороны в сторону, как бы строем, и мы с мамой шли через него к далекой излуине реки.

Около роши на крыльце избы нас встречал местный дурачок (его желтые нечесанные волосы загибались до плеч, голубые чуть раскосые глаза смотрели куда-то поверх нас, и к тому же он умел видеть сквозь предметы). Мама грозила ему пальцем, и дурачок испуганно захлопывал за собой дверь.

Из толпы ромашек вытягивали свои длинные шеи любопытные ужи и провожали нас взглядом. Мы подбегали к реке, и я почему-то стеснялся смотреть в сторону взрослой, молодой и обнаженной женщины, ко-



торая судьбой дана была мне в матери. Мы плюхались в воду и плыли по течению под свисающими ветвями деревьев, в тени которых еле слышно скрипел тростник. На обратный путь сил у меня оставалось в обрез, и я чуть шевелил ногами. Потом мы валялись на песке под солнцем, чему-то смеясь долго-долго, вокруг летали бронзовые жуки, блестящие стрекозы, безобидные муравьи ползали по мне, я закрывал глаза, поддавшись дреме, и вдруг чувствовал, что рядом — кто-то другой; дурачок лежал и хихикал: «Сынок, хлеба хочешь?» Я вскакивал и стремглав неся по ромашкам до самого вечера и когда подбегал к деревне, то был уже не малышом, а почти взрослым, совершеннолетним юношей, и мама говорила: «Ты знаешь, сегодня умер наш дурачок, жалко всё-таки, от него вреда никому не было».

На похоронах присутствовала вся деревня: мужчины в начищенных до блеска кирзовых сапогах (те, кто был на фронте рядовым) и хромовых (те, кто дослужился до офицера), отутюженных брюках и вышитых рубашках, а женщины в шелковых платьях и разноцветных платках. Это были удивительно веселые и жизнерадостные похороны: кто танцевал вприсядку, а кто пел довоенные песни. И, наверно, потому, что сельский дурачок Вася так же легко помер, как и жил, или наоборот. Он чинно лежал в гробу, сложив руки на груди, с закрытыми глазами, и удивленно поднимая левую бровь, и беспечальное лицо его в венчике из ромашек мерно покачивалось в такт шагам четырех носильщиков.

Сухо шелестела трава по обочинам дороги, зной спал, где-то рядом куковала кукушка, отсчитывая прожитые Васей годы, я шел в толпе с легким весельем, поглядывая на лицо в венке и удивляясь новизне его выражения. Ничего не осталось в нем от прежнего юродства и дурачества — и только левая поднятая

бровь вносила страшный разлад в мои ощущения. Что означала она — удивление или усмешку?

После Васиных похорон все внезапно загрустили. Один сказал, что Вася зря умер, другой добавил, что Вася был хороший человек и никого не обижал, а третий заметил, что никто не умел так смеяться, как он.

На могилу положили венок из искусственных ромашек, но те почему-то на третий день завяли, и председатель сельсовета предложил написать жалобу по случаю брака на производстве бумажных цветов.

\*       \*       \*

...Довольно часто в своих полуснах я выходил из нашей десятиметровой комнаты на улицу ранним весенним утром и направлялся по солнечной легкой стороне к Кировскому проспекту, мимо зацветающих деревьев, вступал на Каменный мост, под которым проплывали одинокие льдины с хрупкими желтыми краями, деревяшки, стеклянные поплавки от сетей. Вдоль набережной стояли дома с разноцветными окнами. Вдалеке виднелись баржи, держащие курс к морю. И я сливался с душой города, просторной и чеканной, как стихи любимого с детства поэта.

Однажды мои прежние сны исчезли, и как я ни ждал их, они уже не возвращались. А вместо них издалека шел ко мне большой и косолапый человек с плоским лицом, и чем ближе подходил, тем быстрее я уменьшался в росте, и моя голова лежала не на подушке, а где-то посередине кровати, и человек, нагибаясь, влезал в комнату и молча падал на меня своим телом...

С железнодорожного моста открывался вид на сопки в желтых и зеленых пятнах. В это время года они просто роскошны. Увяданье всегда связано с напряженным расходом сил. Интенсивное излуче-

ние цветов напоминает мне Марсово поле глубокой осенью и полыханье вечного огня.

Нередко, возвращаясь за полночь домой, я ждал, когда пройдут озаренные электрическим светом суда. Я ждал, когда сведут мост через Неву, и грелся у огня в соседстве с пожилой сторожихой.

И опять я подумал, что то было в другой стране и даже не со мной, я спустился по железной лестнице к вокзалу, откуда доносилось позвякивание вилок и ножей — из ресторана, — и с отвращением к еде поспешил мимо.

\*       \*       \*

В этом городе масса кривых улиц, переулков, тупиков, скверов, многие дома не обозначены, и чтобы ориентироваться в нем, надо обладать сноровкой и наблюдательностью. За два года я достиг кое-каких успехов в этой науке.

Солнце скрылось, упало несколько дождевых капель, и безлюдный сквер, через который мне предстояло пройти, выглядел уныло с его чахлыми деревьями и пыльными скамейками. Я остановился у огромного каменного памятника, который прежде почему-то не замечал особенно. Сегодня я впервые обратил на него внимание. Лицо его, крупное, властное, с закрытыми глазами, или, лучше сказать, без глаз, с изменчивой женской улыбкой в краешках губ, с раздвоенным подбородком, в ложбине которого воробей пил накопленную влагу дождя, было наклонено к плечу.

Горькое воспоминание о прежнем величии пролегло резкими складками от носа к полным щекам. Выпуклая незрячесть глаз была страшна выражением угрозы и ненависти. Зато в линиях его полной и длинной шеи, округлых плеч и мягкой груди под плащом

угадывалось нечто другое — может быть, способность к материнству.

Уже давно никто не ухаживал за памятником, и на лице у него выросла седая жесткая щетина, в ушах наслонилась грязь, плащ кое-где поистерся, сапоги пострадали от крыс — железная оградка была заперта на ржавый замок, но, как это ни странно, возле прутьев лежали букеты цветов и кленовых листьев.

От полуистлевшей плоти шел нечистый, смрад-ный запах и смешивался с теплом и влажным дыханием осени. Я поднял воротник плаща и поторопился прочь, чувствуя на спине враждебный взгляд ослепшего Начальника Мира. Из-за сопки подул ветер, застучало кровельное железо, забулькало в водосточных трубах, шипя, потекли ручьи.

Я перебежал струящуюся улицу и нырнул в подъезд архива, стряхивая капли дождя. Знакомая атмосфера тишины, шелеста страниц, причастность к тайнам города — максимальная безопасность. Я попал сюда десять месяцев назад, можно сказать, случайно. Мой приятель, которого звали Приставкой, потому что он не выносил одиночества, порекомендовал меня на эту работу. А до этого я служил в газете. Само собой разумеется, при поступлении в архив я прошел строжайшую идеологическую и психологическую проверку, вплоть до таких фактов моей биографии, не мочился ли я в постель, будучи грудным ребенком.

Мой начальник, молчаливый, хмурый человек с черными очками, которого все чтили и боялись необыкновенно, встретил меня с дружелюбием:

— Кирилл, могу вас обрадовать, я специально отложил до вашего приезда несколько весьма любопытных дел. Вы можете заняться ими хоть сегодня.

— Очень вам благодарен.

Он придвинул мне стопку папок и тотчас углубился в какие-то пожелтевшие бумаги на столе. Я прошел в свой кабинет. Обычно мы редко достаива-

емся чести беседовать с начальником с глазу на глаз: система связи и контроля у нас разработана по последнему слову техники. В нашем учреждении — культ своего шефа. И это естественно: каждый человек так одинок, что ему просто необходимо кого-нибудь боготворить.

На одной из папок, относящихся к форме № 16, в уголку был отпечатан крестик, который означал, что разбирательство ведется жизни законченной, иссякшей. Я с опаской развязал тесёмки, раскрыл гербарий чьей-то жизни и на титульном листе увидел маленькую фотографию юноши — черты лица его были плохо различимы. Мне вспомнились слова старинного поэта: «Под каждым надгробьем похоронен целый мир», и я подивился своей чувствительности. Уж кажется, за эти месяцы в архиве я должен был бы привыкнуть к своеобразию занятий и приобрести так называемую профессиональную выдержку. Помнится, начальник в первые недели наставлял меня:

«Воспринимайте всё со стороны, как игру, законы которой непонятны. Величия нет ни в жизни, ни в смерти, и если вы поймете эту истину, работа будет приносить вам сплошное удовольствие.

Мы — архивариусы и находимся, так сказать, вне стен лабиринта, и наш долг — сохранить в документах усилия людей, жаждущих найти выход, хотя, как вы сами понимаете, найти его невозможно. Поэтому старайтесь воспитать в себе иронию».

Внутри папки лежала целая серия новогодних открыток с незатейливыми посланиями на обратной стороне. Юноша посылал их своим друзьям весной, летом, осенью, в общем, когда ему хотелось, тем самым нарушая установленный порядок и как бы подшучивая над судьбой.

На моем пути, по правде говоря, немало встречалось странных людей, которых в обиходе называют чудаками. Бывают чудаки безопасные — они такие же, как и нормальные члены общества, но с некоторыми причудами. Например, любят нюхать табак, искусно передразнивают ангорских кошек, носят в кармане будильник, употребляют в разговоре старинные обороты, как то: «сударь мой», «душенька», «трансцендентальная истина», «положительный образ» и т. д. То есть наиболее безобидные чудаки и даже пользующиеся благоволением начальства.

Бывают чудаки опасные — внешне это как раз самые незаметные люди, но для окружающего мира они словно красный флаг для быка.

Когда ребенок начинает рисовать, то получаются столь странные вещи, что даже педант-профессионал не в силах разгадать, что к чему. Например, стоит дом, и на него отсутствующим взором смотрит собака. Дом весь телесного цвета, точно обтянутый тонкой человеческой кожей, а собака зеленая, смотрит на дом и не лает. Может, она хозяина своего ждет, который отбыл в командировку, может, просто скучает. В отдаленности же на собаку уставилась кошка и не боится. Это видно сразу, потому что волос ее, гладкий и блестящий, не ошетиливается, а лежит смиренно, не шелохнувшись. И в глазах кошки миролюбие теленка. Так что весьма вероятно, это и не кошка, которая, как известно, не в ладах с собакой из-за противоположного отношения к хозяину, а ласковый теленок или же маленькая женщина. То есть так она нарисована, что можно подумать и то, и другое, и третье.

Подобное впечатление производит чудаки и на своих соседей. Был у меня приятель Алексей Величкин, жил в сельской местности, и никто в нем ничего особенного не примечал, вот разве что водку не пьет, и

вдруг однажды — слышали? — бросает свое хозяйство, огородом не занимается, сено для коровы не заготавливает, баба, конечно, в крик, в слезы и кочергой его по спине, по спине, а он, как говорится, ноль внимания, уйдет к себе на чердак, запрется и часами рассматривает небо в самодельный телескоп, это в наше-то время, когда техника таких высот достигла, семью надо кормить, а он звезды считает в самодельный телескоп. Потом я его из виду потерял и о дальнейшей судьбе узнал уже в архиве: баба от Алексея ушла, участок земли отняли, самого отправили в лагерь, а открытие — какую-то новую туманность — приписали ученым Центральной обсерватории.

Я не хочу сказать, что каждого чудаковатого самородка постигает такая участь. Случается, чудачки меняются местами, перекрашиваются: опасные становятся совершенно лояльными и даже по службе с успехом продвигаются, а те, кто нюхал табак, передразнивал ангорских или новосибирских кошек, излечивались от своих причуд, но в силу какой-то природной дисгармонии хватались за чужие дела и, смотришь, они уже на подозрении.

\*       \*       \*

Такая же история, по-видимому, произошла с тем юношей, чье дело попало мне сегодня в руки. Я прочитал одну из открыток:

«Милый друг, в последние дни я нахожусь в какой-то навязчивой меланхолии, связанности. Словно кто-то за мной непрерывно следит — за тем, куда я иду, о чем разговариваю, что думаю. Никаких особых прегрешений за собой я не знаю, но от того, что следят, невольно рождается чувство вины. И в самом деле, может быть, она есть, а я ее и пропустил в суе деятельности. И первая мысль по утрам: в чем же моя вина? Мне до зарезу нужно ее найти, иначе как же я

оправдаюсь. Недавно я вот что заметил: куда бы я ни писал, всюду отвечают: адресат выбыл. Написал Рокотову, чтобы он прислал мне давнишний долг, спустя несколько дней получаю конверт нераспечатанным. Как же так, думаю, ведь Рокотов такой домосед, его пряником из дома не выманишь! Иду я как-то вечером по улице и вижу: у газетной витрины стоит Рокотов собственной персоной. Как же это? — удивляюсь я. — Ведь ты на днях выехал? — «Может быть, — отвечает он, — я уже и не помню».

Это обстоятельство так заинтересовало меня, что я решил посылать письма своим соседям по этажу и квартире, поздравлял их с хорошей погодой, случайными успехами. И что ты думаешь?.. Тот же результат. И кроме того, соседи вдруг перестали со мной здороваться, проходят мимо, глядя сквозь меня, словно я прозрачный. А я им желал только добра.

Говорят, скоро затмение солнца. Как ты считаешь, каковы будут от этого последствия? Жду письма. Пиши мне до востребования. Но в обычном конверте».

И в самом деле, подумал я, рассматривая юношескую фотографию, как приятно получать в разгаре февральских морозов или сентябрьских дождей, томясь от диктаторского однообразия погоды, веселую открыточку: «С Новым годом!» Представить себе невозможно, насколько скучнее, прямолинейнее и штампованней была бы жизнь без чудиков.

Вслед за письмами я наткнулся на заявление в загс. Затем дневниковые записи и любительские снимки, на которых везде: он и она. Он и она у памятника в сквере, он и она на зимних качелях, он и она выбегают из волны на песок, она и он, он и она, вечное сочетание противоположностей, и, наконец, она снята в одиночестве с заплаканным синим лицом.



Милая незамысловатая история. Не зря ее отнесли к форме № 16, куда входят происшествия, имеющие только камерное звучание.

Я услышал двойной звонок. Приглашение на обед. У нас целая система звонков и лампочек различного назначения: одни для празднеств, другие — для похорон. Из всех дверей повыскакивали сотрудники, которые показались мне неотличимыми друг от друга — на одно лицо, словно крабы, засемили цепочкой по черной лестнице в столовую. Без суматохи расселись по местам, все, как один, положив руки на стол. Начальник должен был пройти вдоль ряда и отличившихся по службе ударить линейкой по пальцам. Некоторые после этого целую неделю не мыли рук, чтобы дольше сохранить приятное воспоминание.

— Как съездил в командировку? — спросил меня сосед.

— Спасибо, я удовлетворен командировкой, старший инспектор.

— Расскажите потом о своих приключениях? — он подмигнул мне белым зрачком.

Старшему инспектору осталось служить полгода до пенсии. Он заведовал архивом нашего учреждения и, как говорили сведущие люди, пользовался большим авторитетом в вышестоящих и даже верховных организациях. Если воспользоваться сравнением из военно-мемуарной литературы, он вел разведку над разведкой, так что, можно сказать, он знал нас лучше, чем мы сами себя. Со стороны виднее. Неудивительно, что у него были особые привилегии. К примеру, он единственный принимался за обед и заканчивал его, не ожидая разрешения начальника. Меня посадили рядом с ним, как новичка, и даже не предупредили об осторожности. По своей наивности я рассказал ему однажды пару невинных анекдотов, и это, как ни странно, старику понравилось. Впоследствии он признался мне, что ему со мной хорошо, потому что он слышит мои

слова и верит в них, а когда разговаривает с другими, чувствует себя натянуто и быстро устает, ибо другие говорят одно, а думают другое. В таких случаях пытаешься понять не то, что говорит собеседник, а то, что он не говорит.

Вскоре все заметили, что старший инспектор оказывает мне благоволение, и по отношению коллег я понял, что карьера моя скоро продвинется вперед. Он жил холостяком и сегодня пригласил побывать у него в гостях. Я пришел в сумерки. Он церемонно принял меня в передней и, сделав широкий жест рукой, провел затем в комнату. Его квартира была обставлена в стиле начала века, я сказал бы, чересчур артистически. Если по мебели судить о характере человека, то, по-видимому, старший инспектор любил в молодости роскошь, искусство и, как говорится, умел пожить. Сейчас это был просто аскет, к тому же страдающий язвой желудка. Метаморфоза обычная в наше время.

Запахнув на голых коленях полы толстого оранжевого халата с черными полосами вдоль, старший инспектор полулег на диван и молча уставился на меня круглыми прозрачными глазами.

— Юноша, — сказал старший инспектор, — в вас осталось еще... э-э-э, — он помахал рукой в пространстве, подыскивая подходящее слово, — слишком много, слишком много человеческого...

Из-под халата торчали его тонкие ноги, покрытые какими-то желтыми пятнами, словно от сырости, и пальцы в шлёпанцах постоянно шевелились.

— Я случайно попал сюда, в архив, — сказал я в ответ, — и вполне понятно, что еще не обвыкся. Для меня многое внове.

— Вам повезло, юноша, прямо скажем, повезло, — продолжал старик свои сентенции, — архив — это почетное и в то же время наиболее безопасное место из всех возможных. Если вы читали о войне, то знаете, что мирное население пряталось во время обстре-

ла в бомбоубежище. Так у нас вроде этого. Мы имеем дело с отражениями. Понимаете меня, с отражениями людских волн. Я, знаете ли, люблю метаморфозы. Не выношу прямых обозначений. Всё в жизни так переходит одно в другое, так изменчиво, что прямые слова всегда оборачиваются ложью. Метафора же дает простор для всевозможных толкований.

Старик хихикнул, взял бокал с пивом и отхлебнул глоточек.

— Единственный порок, который я разрешаю себе. Берите с меня пример, юный друг. В такое сумбурное время я сумел сохраниться до патриаршего возраста. Это — немалое достижение. Скажите мне откровенно, как вы относитесь к идеалам?

— Каким идеалам, старший инспектор?

— Что, вы не слышали такого слова?

— Слышал когда-то в школе.

Старик спрятал усмешку в щеках.

— А я думал, что вы идеалист и хотел вас предостеречь от излишнего увлечения... Молодость — такая бескорыстная пора, горение души и тому подобное. Так вот, представим, что жизнь организована согласно самым высоким идеалам — ровное, безмятежное общество... Но это утопия. На практике идеал всегда приводит к противоположности. Примеры вы сами знаете из истории. Архив же — к его достоинству — это взгляд со стороны, это остров. Вы владеете временем, как прошлым, так и будущим. Кстати, вы еще не устали слушать меня?

— Нет, нет, что вы, старший инспектор, — сказал я быстро, — как раз мне очень интересно, у меня сейчас такой период...

— Какой период?

— Как вам объяснить, какая-то тоска, растерянность, смутные воспоминания.

— О, это вы правильно сделали, что сказали мне. У меня самого в юности были такие периоды. Не мо-

жете смотреть в глаза приятелям? Чувство вины? Потеря прошлого и так далее?

— Да-да, всё именно так, как вы описали. Какие-то голоса порой слышу. Иногда просыпаюсь в ужасном страхе и не могу сообразить, где я нахожусь, какой год сейчас, всё так смещается в моих глазах: окно, деревья, звезды, — кружится, кружится.

— Вы, наверно, спите на правом боку?

— Да.

— Советую спать на левом. Тренируйте свое сердце. В медицине есть такой термин: панцирное сердце. Научитесь читать не слева направо и не сверху вниз, а наоборот. Попробуйте жениться. Появятся насущные заботы. И вообще... если рядом хорошая женщина, она как бы защищает от кошмара. Освободиться всегда можно. Пока возьмите лекарство. Если вы благополучно минуете этот период, то в будущем, я думаю, из вас выйдет крупнейший деятель. Твердость и воля воспитываются через страдания.

— Спасибо вам, старший инспектор, я обязательно воспользуюсь вашими советами.

— Чаще ходите на собрания, не замыкайтесь в себе, бывайте в цирке, на представлениях, футбольных матчах, участвуйте в уличных песнопениях, будьте, как все, — старик расхаживал в халате по своей комнате, выдержанной в коричневых, красных и черных тонах, у окна в клетке прыгали щеглы, и ритм их движений совпадал, — займитесь спортом, прыгайте через веревочку, скакалку, летайте на парашюте, катапультируйтесь с самолета... Ну, достаточно советов, — старший инспектор, похоже, пришел в себя, — пойдемте ужинать, я покажу вам, юный друг, мою коллекцию картин. В столовой.

Я не обратил особого внимания ни на бутылку шампанского в ведерке со льдом, ни на красную икру — в ослепительном многократном свете люстры, который как бы усиливался от бесчисленных отражений

в хрустальных подвесках, сверкала вокруг меня живопись. Соседство безвестных мастеров.

Старший инспектор показал на левую стену:

— Это картина моего брата. Нравится?! Какая святость в лицах — как у праведников, приговоренных к смерти. Всё так гармонично. А сам кончил на Пряжке, в психобольнице. Он мог бы сделать такую карьеру, но...

Старший инспектор всхлипнул, как ребенок.

— И чего его дернуло стать художником. Ведь я говорил ему: старик, сейчас не время для искусства. А он стоял на своем. Жил в нищете, в каком-то сарае, жена изменяла ему налево и направо. А потом сжег свои работы — искусство, мол, сплошной обман. Жизнь — вот цель для художника, так и заявил мне: я иду в жизнь, к людям.

И всё. Достаточно попасться на глаза смерти... и всё — человек исчезает. Был человек и нет его. Даже я не знаю, какова участь брата. Возможно, его подвергли «дезинфекции» и он служит каким-нибудь сторожем на складе, возможно, он до сих пор на Пряжке и рисует плакаты к праздникам. Возможно, он стал слугой роботов. Ниже этой ступени — только могила, — старший инспектор заметно разволновался, — только чур, юноша, чтобы никто не знал о моем увлечении: вы понимаете меня?

— Конечно, старший инспектор.

— В последнее время участились проверки, ревизии, и это неспроста. Мое поколение слишком много перенесло на своем веку... В человеке есть несколько сфер, в которые можно пускать посторонних, а в которые и нельзя, — старик еще глубже заполз в свой красно-черный халат, из которого торчала только маленькая голова с прозрачным теменем. — Выпьем за дружбу, юноша. Если хотите, я буду вашим наставником. У меня нет детей. И кто знает, может,

после моей смерти вы получите мое звание. Так сказать, по наследству.

Старший инспектор вздохнул утомленно и прилег на диван. Голова его откинулась на подушку, лицо разгладилось, как у молодого.

— Это хорошо, что я вас встретил, — он улыбнулся мне трогательно и печально, по-родственному: — Тяжело умирать, зная, что после тебя ничего не останется: бумаги и письма заберут в архив, личные вещи сожгут, квартиру займет кто-то другой, ничего — ни декрета, ни формулы, ни пуговики, ни волоса. А так хоть звание я оставляю вам... Выключите верхний свет, слишком светло. И нижний, пожалуй, тоже, — попросил он капризным тоном. — Достаточно луны. Хе-хе. В молодости люди предпочитают солнце, а в старости луну. Отраженный свет, покой. Как-никак, а старость — убогое зрелище. Вы не согласны со мной? Это в вас говорит воспитанность. Ждать больше нечего. Всё, что тебе было дано, ты использовал или не использовал — неважно. Главное, изменить что-либо нельзя. Остается самоуважение, почет и страх смерти. Старики себялюбивы ужасно. Задвиньте, пожалуйста, шторы. Я в темноте вижу хорошо.

Когда-то существовал чудный обычай: вместе с покойником закапывали его жену, коня и утварь, чтобы там он не был одиноким. У меня, к сожалению, ничего нет, даже маленькой кошки. И всё же я не боюсь, хотя этот свет прямо действует мне на нервы. Вы говорите, что здесь темно? Не может быть. Я вижу всё так, словно горит двести свечей. На потолке две трещины крест-накрест. На обоях желтые пятна. Паутина свешивается в углу. Стол прогнулся в середине под собственной тяжестью. Даже моль вижу. Вон она летает. И вторая моль. Встретились в углу. Сцепились. Снова две. Всё слишком подробно.

Жизнь так коротка. А смерть так ужасна, как и рождение. Я вспоминаю себя и вижу совершенно раз-

ных людей. Кто же из них я истинный? Кто я, о, Господи! Как болит моя душа. Юный друг, не забудьте, если что, завешание в шкатулке. Я вижу тень. Не пускайте ее...

Я прижался спиной к обоям. В щёлку между гардин врывался узкий луч серебристого света, который перерезал комнату пополам. И действительно, какая-то тень пересекла границу.

— Дружочек, — я услышал хрипы и стон, — наберите три нуля, скажите... Хотя стоп, не надо, они будут мучить меня, не знаю ли я чего, не скрываю ли, они не дадут мне покоя, нет, уж лучше я сам, сам справлюсь, если бы только не этот черный свет... Это мне за брата. Я узрел... я узрел...

Старик утих, и вначале ничего не было видно и слышно в этом склепе. Я напряженно вглядывался туда, где на диване лежал старший инспектор. В черной пустоте появились два синих мерцающих полукружия. От них распространялась глубокая синева как бы изнутри. Засветился нос, длинные изогнутые губы, острый подбородок, шея, плечи, тонкие руки, согнутые в локтях, дряблый живот и бедра и какая-то точка меж. Сияние росло, и что-то вдруг ослепительно вспыхнуло и тотчас погасло. Я включил люстру — на диване по-прежнему валялся халат, принявший формы человека, но старшего инспектора нигде не было.

Я окинул взглядом комнату и увидел на подоконнике шкатулку. С вороватым чувством я вытащил завешание. Сверху было отпечатано: «Сие лицо неприкосновенно». Захлопнув за собой дверь, я стремглав спустился по лестнице. Внизу меня остановил учтивый привратник. Я показал ему охранную грамоту и выскочил на улицу.

Она была как длинный пустой коридор — мертво светили фонари на изогнутых железных стеблях. Вечер сливался с тревогой и одиночеством. Я шел по правой стороне, держась поближе к теплым стенам

дома. В первом попавшемся дворе я спрятался за сарай и, наклонившись, вставил два пальца в горло.

Рядом со мной топтался какой-то облезлый грустный пёс — неизвестно, откуда он взялся. Он бежал возле, словно сирота. Ничей брат. То он перебегал через дорогу, то отставал в поисках пищи. Лохматый, живой, общительный. Один из последних незавербованных псов, оставшихся на воле. Его сородичи почти все устроены в разных службах, крупные, сытые, с блестящей шкурой, в намордниках, их изредка можно увидеть вместе с пожарником или военным.

Так мы дошли до сквера, и я решил немного отдохнуть на скамейке. Тепло было и душно. В воздухе кружилась мошकारа. Я прилег, положив под голову ладонь, с тайной надеждой, что во сне я забуду прежнюю жизнь, освобожусь от воспоминаний, стану твердым, как памятник.

\*       \*       \*

За мной пришли друзья и, нежно улыбаясь мне, взяли меня под руки, словно бы я перенес тяжелую болезнь и только что выписался из больницы, и повели куда-то через зеленую площадь, мимо фонтанов, по набережной, сквозь решетку которой была видна главная поверхность воды и веселый речной трамвайчик. По их лицам я видел, что они неподдельно меня любят. «Это так непонятно, — думал я, — что они меня любят, ведь я ничем не заслужил их любовь и верность. Во мне столько недостатков, а они мне всё прощают».

Впереди показался пруд и тенистые клёны. На берегу стояла одинокая девушка в ситцевом платье. Она подошла ко мне и сказала: «Я ждала вас». Друзья понимающе переглянулись, а я ничего не понимал. Раздевшись, мы встали в круг и начали танцевать, припевая: «Каравай, каравай, кого хочешь выбирай».



У всех были тонкие загорелые тела, один я был неправдоподобно белый. Девушка поворачивалась в центре круга, а мы двигались всё быстрее и еще громче пели: «Выбирай, выбирай».

Она взяла меня за руку, а друзья, засмеявшись, врозь побежали к пруду и попрыгали в воду с огромным всплеском. Мы легли с ней на песок, прижавшись плечами. Ее близость была почти пугающей. Я несмело дотронулся до ее шеи, погладил щеку. Она отвернула от меня лицо. Я закрыл глаза, перебирая рукой ее волосы. Потом она осторожно стала гладить меня по груди и бедрам, мне захотелось что-нибудь с ней сделать, но я застеснялся и решил уйти, но чьи-то сильные, совсем не женские руки придавили меня к деревянной земле.

\*       \*       \*

Ее лицо колебалось рядом, и в нем проступали чужие, ненавистные мне черты. «Маска, — подумал я во сне, — ложь». Я стряхнул с себя оцепенение и приподнял голову. Пруд и солнце исчезли. Какие-то тени шарахнулись от меня в вечернем сумраке. Невдалеке стоял незрячий памятник на каменном постаменте, откинув назад голову и сложив руки на выпуклом животе.

Его тело изогнулось и напряглось в предродовом усилии. Я вообразил каменного уродливого последыша, который вот-вот появится на свет с радостным визгом, зачатый семенами ненависти и мести, и примет облик человека. Полы плаща шевелились и скрипели, памятник тужился и сотрясал воздух своими тяжелыми вздохами, преодолевая мужскую негибкость членов и женскую боль, творя в тишине уголовный подвиг.

Я закричал и схватился в смятении за карман, где лежал документ. Там было пусто. Воры. Это

они обыскиали меня, спящего на скамейке. Теперь я беззащитен.

Опять я просто человек. С обычной человеческой анкетой. Памятник стоял прямо и спокойно, притворившись мертвым. Как видно, он остерегался свидетелей. Я бросил камень ему в живот и побрел прочь из сквера. Позади кто-то утробно запищал: ау-ау. Оглянувшись, я увидел, что памятник плакал.

«Отчего такая напасть, — думал я, пересекая кривую улочку, — в чем я провинился, жил как все, никому не делал худого, в детстве слушался родителей, потом слушался законов, успешно закончил университет, мог бы остаться в большом городе и всё же не остался, уехал на периферию. По натуре я, кажется, добрый: если давал в долг, потом не требовал отдачи, не люблю я ссор и драк. Родители были мной довольны. Сколько вокруг всяких соблазнов, подумать страшно, и как-никак, я их миновал, я не картёжник, не алкоголик. Почему же такая усталость?»

Я шел по тихой тополиной улице в окружении своих раздробленных ликов, которые проносились перед глазами, как мертвые потускневшие фотографии из разрозненного семейного альбома — ты переворачиваешь страницы с видами неподвижной природы, снимками родственников и друзей, вырванными из теплого потока времени, — и не узнаешь никого.

Куда всё это девалось? Только одна фотография тронула мое сердце: на ней изображен мальчик семи лет с печальными глазами, с той скорбной чистотой, которую впоследствии я уже не мог найти в себе. На других этого нет, а заметно иное: тщеславие, суета, самолюбование, скука, как порой невыносимо смотреть на свое лицо. Один случайный поворот руля — и я сошел с пути.

Чужие лица вокруг, не лица, а личины, ненужные отношения, случайные ласки, а я считал, что это в порядке вещей. Всё равно человек одинок от рождения

до смерти, и все попытки прорваться сквозь одиночество к другим бесполезны. Как говорит мой начальник, из лабиринта нет выхода.

С каждым годом во мне что-то отмирало, а сейчас эта труха, которую называют душой, проснулась и болит мучительно, так же, как и в прошлый отпуск, когда я прилетел в огромный город, чтобы развеяться, попал на вокзал, где валялась вповалку Отчизна, — кривые улицы, потоки машин.

В этом каменном городе мне всё было чуждо, как человеку, который просидел бы сорок лет в лагере и вернулся назад боязливой тенью. Однажды я зашел в кафе — с потолка свисали лампочки в длинных футлярах наподобие снарядных гильз. Девушка за моим столиком читала журнал. Мы познакомились, и она спросила, издалека ли я. Она удивилась и стала рассказывать о себе. Я ничего не мог понять и чувствовал, что всё это ложь без нужды. В конце концов она сказала, что согласна развлечься со мной.

Я вернулся на вокзал, переспал на скамейке ночь в соседстве с каким-то безногим стариком, с которым под утро мы распили «маленькую», и на следующий день, купив новые ботинки, уехал на север. Тогда я не способен был догадаться... Как хорошо, что у меня украли завешание. Я снова человек с анкетой, человек с прошлым, которое чуть-чуть было не потерял.

Мне нужно только постараться, очень постараться, и я смогу вернуться к тому, что оставил два года назад. Я войду в свой дом, и друзья скажут: «Долго же ты был в отлучке». Я улыбнусь и отвечу: «Долго, но не спрашивайте ни о чем, я такой, как прежде».

Всё равно я не сумею рассказать им правды, а если и попробую, они не поверят, так что мне придется лгать, убедительно и очевидно, чтобы ложь выглядела правдоподобнее действительности.

Тот памятник в сквере — памятник лжи, огромный памятник лжи, и сколько их понастроено везде.

Люди поклоняются им, а детей водят сюда на экскурсии. Бедный Евгений. Куда ему было тягаться с Медным Всадником, неприкосновенность которого охраняли из поколения в поколение. И всё же он замахнулся... Мне симпатичен этот малый Евгений, который нашел в себе силы и, сойдя с ума, обрел независимость. Почему бы не поставить памятник Евгению? Он был бы столь же не героичен, как памятник Неизвестному солдату.

\*       \*  
          \*

Не заметив, я прошел улицу, из раскрытых окон которой слышались голоса, обрывающие друг друга:

— Кто любит, тот всё простит.

— Счастья на свете нет. Пустая выдумка.

— Бабка моя вчера, слава Богу, скапустилась. В наследство оставила швейную машинку и крестик с золотой цепочкой. Уж так и быть, за пол-литра крестик уступлю.

— Нет, Ваня, я на это не согласна. Как же можно, ведь ребенку уже три месяца. Он что-то понимает. И слышать не хочу.

— ...Господи, один Ты — свет.

— Согласие с миром и доверие к самому себе...

\*       \*  
          \*

Я спустился по крутому склону к реке. От нее пахло мазутом, рыбьей чешуей и тиной. Город остался позади. Смолкли шумы и звуки. Только вдалеке взвизгивала электропила. Через равные промежутки времени. Жж... жж... И снова тихо. Жж... жж... — с такой резкой болью. И вдруг я вспомнил: «Согласие с миром и доверие к себе». Не было во мне ни того, ни другого. Вместо согласия — вражда, вместо доверия — подозрение.

Не лучше ли поставить точку? Такая благословенная точка — как огромная клякса — уют и тишина. И не будет ни электропилы, ни архива, ни памятника — одна река. Точка возникла в воздухе, стала расти и кружиться — спиралями, спиралями, всё шире и шире, захватывая в свою орбиту кусты, скамейки, балки, деревья, мосты, дома, набережные и их решётки, газоны, трамвайные пути и провода, афиши (выступление иллюзиониста Кио), рекламы, телевизионные антенны, чердаки, голубятни и сизых голубей, рестораны, пивные и трех последних выпивох, пригороды и облака, и луну, и резкие звезды, и еще одну луну, и всё сместилось и неслось, река надо мной, луна под ногами, и в центре этого круговращения сияла желтая капля, и она манила меня к себе, и я, бессильный, сделал шаг, еще, вступил в холодное течение, и вода мне доходит до колен, и слабость такая, и вечерняя пустота. И вдруг всё пропало, и я услышал:

— Ты куда, Мальчик-с-пальчик?

Я стоял озираясь, по колено в реке, которая медленно несла свои волны под деревянный мост, несла какие-то щепки, пятна мазута, обертки, пустые бутылки, желто-красные листья, дохлых рыб вверх брюхом, стоял не в силах пошевелиться. Позади меня отлого поднимался берег, поросший редким кустарником, и там на бревне сидело какое-то заросшее существо в лохмотьях. Я вышел из реки, чуть пошатываясь от головокружения.

— Иди сюда, Мальчик-с-пальчик.

Я взгляделся в его лицо и узнал в нем своего прежнего сослуживца, которого уволили в прошлом году, потому что он не выдержал испытательного срока. Попадаетеся такая порода людей, называют их «летуны», «перекати-поле», «шабашники» и в том же роде. Не привыкшие к оседлой жизни, порядку и службе, они с трудом переносят свою зависимость от того,

кто выше их по рангу, не умеют хитрить и ладить с начальством.

Его звали Суфле, а по паспорту он был Сидор Машкин, и его трудовая книжка была проштампована от корки до корки: разносчик фруктов, лесничий, шофер в экспедиции, почтальон, учитель чистописания и проводник в горах — кем он только не работал!

— Согреться хочешь? — сказал Машкин и, вытащив из кармана фляжку, отвинтил колпачок, налил в него водки. Я был благодарен Суфле, что он ни о чем меня не спрашивает, не лезет в душу.

— Почему ты никуда не уехал? — спросил я тихо.

— Ты наивный Мальчик-с-пальчик (он прозвал меня так еще год назад). — Кто меня отсюда выпустит? Из нашего архива путь один — туда! (Он показал пальцем в землю). Я предпочел жить вольной птицей. У меня такие широкие красивые крылья, — он искоса взглянул, не смеюсь ли я.

— На что ты живешь? — Я всегда нормально разговариваю с теми, у кого в голове не всё в порядке.

— Хе, на что живет птица? Приходят разные экскурсии на кладбище, я тут как тут. Будто экскурсовод. Показываю могилы, рассказываю про наших замечательных граждан. Между прочим, есть вакантное место.

— На кладбище?

— Экскурсовода.

— Благодарю.

— Ну, ладно. Пока.

И он исчез. Я направился по ночному городу домой. Вышел к вокзалу, поднялся на горбатый мост. Внизу, светя желтыми глазами, двигались паровозы. Они пересекали массивное пространство ночи без страха. Я почувствовал, что соскучился без Пети. Как жаль, что сегодня я не купил подарок. Петя снова будет дуться. А его мать, наверно, стоит у окна и смотрит.

рит сквозь даль на своего мужа, который заступил на вахту.

Наверное, они еще не спят и беспокоятся, почему квартиранта так долго нет. — Загулял где-то, — говорит Валентина. — Загулял, — повторяет она, — опять наследит нам. А что если он уйдет, ты будешь скучать, Петя? — А я не пушу его никуда. — Не пускай, ему у нас надо жить.

Я тихонько открыл дверь, которая всё же скрипнула, и вошел в комнату.

— Где ты бродил, милый? — шепотом спросила Валентина.

— Был в гостях.

— Ты знаешь, мой муж-то помер, еще месяц назад, да я тебе не говорила. Так ты не покидай уж нас.

— Хорошо, Валя.

— А теперь иди спать, поговорим завтра, а то я беспокоилась.

Я прошел в свой закуток и лег. Мне видно было белое плечо Валентины и головка ее сына, который причмокивал губами во сне. Почему-то мне так стало их жаль, пронзительно жаль, как если любишь когда.

Утром я послал открытку своему начальнику, в которой процитировал его слова. Я написал, что остаюсь в «лабиринте». А спустя несколько дней в качестве ответа я получил из органов повестку. Валя увидела ее и заплакала.

— Ты не вернешься, не вернешься, я знаю! — зарыдала она. — Ты никогда уже не вернешься.

Когда я отправился по указанному в повестке адресу, то, проходя мимо базара, увидел на столбе объявление: «Одиноким сдается угол». Я вздрогнул. Неужели это она поспешила прикрепить объявление, не дождавшись, пока я исчезну навсегда. К утешению для меня, адрес там был написан другой.

*Ленинград, 1964 г.*

СОН ПТИЦЫ

Мне снился сон, как будто бы две птицы  
летели, задыхаясь, вдоль границы,  
чтоб встретиться на полюсе,  
но полюс  
стеклянную стеной перегражден.

*К. Кузьминскому  
на 16 апреля 1974*

Ты не первый. Иди. За пределами станешь пророком.  
Только Боже избавь оглянуться за милым порогом:  
соляные столбы вдоль дороги, как свечи на тризне.  
Как они далеки, эти слёзы о бывшей отчизне!

На закате стена их становится розово-черной.  
Я писала когда-то о птицах, стеклом разлученных.  
Не оглядывайся! Уходи, уходи понемногу.  
Как сумею собрать тебя в дальнюю эту дорогу?

Ничего я не знала, не ведала, не колдовала:  
это смерч конфетти с неметенного дня карнавала  
поднимался в душе до собачьего воя, на вырост,  
чтоб прочесть в небесах: «Распродажа поэтов на вынос».

Нашей родине бедной не петь, не цвести, не молиться —  
только, руки умыв, у реки пограничной томиться.



И останусь одна я под крышкою неба стального.  
Только, Господи, дай мне не ведать всего остального!

*К. К.*

А новый ворон —  
он тоже старый.  
А старый ворон  
не крикнет даром.

Всю ночь так страшно  
кричали птицы,  
и псы рычали  
по всем границам.

Где песнь о Лоте,  
ушедшем гордо?  
Дружок! В полете  
держись за горло.

Кровавым потом  
плесни на площадь.  
А слезы — что там!  
Слезами — проще.

А слезы — градом,  
по небу — клином  
над Ленинградом  
и дальше, мимо...

*СТИХОТВОРЕНИЕ, НАПИСАННОЕ  
14 ДЕКАБРЯ 1975 ГОДА  
В ПЕРЕРЫВЕ МЕЖДУ ДОПРОСАМИ*

Декабрьский снег,  
И белою страницей  
история проходит отстраненно,  
как странница.  
И надо сторониться,  
чтоб не задеть...  
Давайте поглядим,  
куда плывет отечественный дым,  
куда уходят люди в декабре  
и как деревья строятся в каре.

*К НАТАЛИИ*

Когда увидишься, когда отплачешься,  
то обо мне припомни, сделай милость!  
Скажи: была в своем небесном платье,  
и даже птичья кровь с него отмылась.

Скажи, что, расставаясь, не заплакала:  
еще нельзя — не все дороги пройдены.  
И расскажи, как новыми заплатами  
я расшиваю ветхий саван Родины.

Скажи ему, что я велела кланяться  
и вот еще о чем сказать просила:  
в своей стране я и сейчас изгнанница,  
но что же будет там, где не Россия?

\* \* \*

Крылья мои — колыбель, или гроб, или лодка?  
Сплю я, свернувшись в одном, сверху накрывшись  
другим.

Сонно качает меня волна за волной, набегаая,  
Господи! Благослови краткое счастье мое!

\* \* \*

Я летаю на спине  
в голубом небесном небе,  
в клюве вишенку держу.

Самолетик молодой  
пробежал неподалёку  
и за облако нырнул.

Он торопится домой,  
он везет для нас приветы  
из далеких дальних стран.

Я домой не тороплюсь —  
у меня работы много:  
голубая-голубая  
голубиная работа —  
в небе вишенку держать.

\* \* \*

Полюбил ты разлуку  
горячее любви.  
На дорожную муку  
благослови!

Как боишься нечаянно  
ты меня удержать...  
Но качается маятник,  
и пора уезжать.

Пожелай же пространства  
моим синим очам,  
одиссеевых странствий  
моим хрупким плечам.

Наши предки — варяги,  
а не грек Менелай:  
пожелай же отваги,  
а любви не желай.

Черных вишенек горстка,  
словно яд на устах.  
Тяжелей перекрестка  
не бывает креста.

Поручи меня Богу —  
без Него не снести!  
Ты меня на дорогу  
перекрести.

*СТИХОТВОРЕНИЕ, НАПИСАННОЕ  
11 СЕНТЯБРЯ 1976 ГОДА  
НА СТАНЦИИ НЕВЕЛЬ-II*

Ну и ночка досталась мне!  
Пять сотрудников при луне —  
жуть и нежить.

Молча смотрит сонный вагон,  
как выводят меня на перрон —  
в город Невель.

Отлетел поездной гудок,  
зашумел листвою городок:  
«Ах, куда ты, зачем? С ними?!»

В десять глаз поглядела смерть:  
«Отче наш» дочитать успеть  
да твое прошептать имя.

Обошлось!  
Говорят, назад  
повезут меня в Ленинград.  
Ну, прощай, городок Невель!

Мне с проломленной головой  
не лежать под твоей листвою,  
под твоим небом.

\* \* \*

Не одиночество, но просто — одиночка,  
где день и ночь горит крошечный свет.  
Еще не всё, еще дана отсрочка,  
и нет ни суетинки из сует.

Вот здесь теперь мой дом. Он желт и тесен,  
не годен ни для слов, ни для любви...  
Но задрожит в ладони желтый крестик —  
извечное «Спаси и сохрани».

В который раз друг друга мы спасаем;  
здесь ты один — и совесть, и совет.  
Да будет же твой свет неугасаем,  
да сгинет здешний негасимый свет!

Я ночью на шнурок тебя прилажу —  
гнев перестанет голову кружить;  
прильну к тебе губами и поглажу  
и научусь не выживать, а жить.

### *ТОСТ-ПОСЛАНИЕ ДРУЗЬЯМ К НОВОМУ ГОДУ*

*Я пью за военные астры...  
О. Мандельштам*

Я поднимаю кружку и пью тюремный чай  
за траурное кружево и светлую печаль.

Я пью за вашу дружбу, за веру и за честь,  
которые, как прежде, еще в России есть.

За то, что славе старой восстать пришла пора  
в художниках-гусарах и рыцарях пера.

За ваши поражения — предвестники побед,  
за лица ваших женщин, прекрасные, как бред.

За гордые могилы, за Царское Село,  
за то, что вам такими родиться повезло!

\* \* \*

Что-то мне сегодня одиноко.  
Одиночка знать себя дает?  
Чудится: судьба неподалёку,  
и никто на помощь не придет.

А придет под утро Ангел смерти,  
сонный, непричесанный, босой,  
но с освобождением в конверте  
и с простой крестьянскою косою.

Скажет он: «Окулова, с вещами!»  
Стану собираться, чуть жива.  
Суну под подушку завещанье —  
вроде тех, что делал Франсуа.

«А, пришел! — скажу. — И слава Богу  
То-то успокоилась душа.  
Ну, веди, показывай дорогу».  
И пойдем на волю не спеша.

## Жизнь Александра Зильбера

Всякий сколь угодно точный рассказ есть всегда лишь вольная вариация, одна из вариаций на тему со-бытия, из многих, одинаково достоверных. Но рассказ о детстве — случай особый: это вариация на тему вариации, это перевод с другого языка, где у нас есть некоторый запас слов, но где мы не знаем ни одной идиомы и вынуждены переводить буквально или выдумывать из головы.

И поэтому, когда читаешь книгу, где прослеживается вся жизнь героя, и переходишь от главы «Детство» к главе «Юность», — неизменно испытываешь облегчение, как будто из комнаты, где собрались одни иностранцы, перешел в другую, к соотечественникам. Открыл дверь, закрыл дверь, перелистнул страницу — и не надо метаться от одной шкалы ценностей к другой, а раскрой уши, набери в легкие воздуху — и как думаешь, так и говори, как слышишь, так и понимай.

Но что поделать, если всю свою жизнь мы только и раскручиваем ту пружину, что была заведена когда-то в детстве, — раскручиваем пружину, разматываем клубок, разворачиваем свиток...

Мы и не помнили, что там было написано, и язык почти что забыли, но вот отвернули немного, на одну строчку, разобрали, прочли — и отшатнулись в суеверном ужасе: не может быть! Не может быть, чтобы уже тогда!..



Уже в Москве, в провинциальной суете Комсомольской площади, я замечаю, наконец, что моя мама, и вообще-то не отличающаяся особой внимательностью, сегодня рассеянна, как никогда. Мы идем мимо входа в метро, я тяну ее за руку, но она проходит дальше, в зеленом платье с большими белыми цветами, окриков моих не слыша, а слушая лишь свои, всегда абсолютно серьезные, неизменно важные, несравнимо значительные — взрослые мысли... Так, понемногу, замедленные чемоданом и моим дурацким сопротивлением, мы проходим под аркой путепровода и выходим к остановке трамвая, и тут только меня осеняет, что мама не ошиблась, что она знает, куда идет.

— Мы что, не домой поедем?

— Нет, — отвечает мама таким высоким, таким ужасно обычным голосом. — Нет, не домой. — Голос ее каким-то странным курбетом переходит в праздничный регистр, на такое же удаление, но уже по другую сторону от действительно обычной интонации. — Мы поедем! С тобой! К дяде! Яше!

«К какому такому дяде Яше?! Что еще за дядя такой выискался? Нет у меня такого дяди. Тебе нужно, ты и езжай, а я — домой!...»

Нет, не надо волноваться, я не был способен на такую бестактность. Я что-то коротко промычал, что-то как бы пропел в ответ — молчать мне тоже не полагалось, это бы нарушило гармонию, — и мы сели на трамвай и поехали к дяде Яше.

Мы сошли с трамвая в незнакомом мне месте, на большой людной улице, у ворот рынка. Красноватые помидорные лужи вытекали из ворот на широкую булыжную мостовую. Мы перешли на другую сторону, там была еще поперечная улочка, тоже булыжная, грязная, и дома на ней были соответствующие, деревянные, серые, большие, в два этажа. Мы вошли в

один такой дом, прошли по длиннейшему вонючему коридору с шеренгой дверей и помойных ведер, мы шли и шли, вонь нарастала по мере нашего продвижения, и я сразу же вспомнил шестой барак и словно бы почувствовал босыми ногами мерзкую жижу на цементном полу...

В самом конце, в каком-то полутемном вонючем закоулке, рядом с вонючей уборной мы, наконец, остановились возле одной из вонючих дверей, и мама постучала.

Мы оказались внутри — я еще не понял, внутри чего, — но прежде всего почувствовал облегчение, потому что вонь явно исчезла или, по крайней мере, стала намного слабее; примешались другие запахи, тоже не Бог весть какие приятные, но это уже было вполне терпимо; затем с некоторым опозданием я услышал странный гнусавый голос, издававший нечто вроде подвывания с прихихикиванием: «Э-э-э-э, хе-хе-хе!» И только потом уже, постепенно обретая зрение, я увидел бордовые доски крашеного пола, тяжелую толстую ножку — скорее ногу или даже ножищу — стола, коричневую бахрому скатерти, сам стол, огромный, круглый, покрытый этой скатертью, и, наконец, встающего из-за стола человека.

Человек был невысок, сутул, лысоват, крючковат, короткая шея, маленькая головка, узкий лоб, слишком узкий даже для такой маленькой головы, черные мохнатые брови и крохотные свиные глазки, с кроваво-желтыми мутными белками. Кожа на лице его была розоватая, багрово-красные прожилки, точки и черточки покрывали его выпуклые сдвинутые друг к другу щеки и крылья резкого изогнутого носа.

— Э-э-э-э, хе-хе, — тянул он и хихикал, — приехали? А-а-а-а? Приехали? Приехали, приехали... Ну-у? Хе-хе... Хе-хе... Ну-у, драствуйте, драствуйте... хе-хе...

Я пожал волосатую ладонь с короткими толстыми, крепкими пальцами, немного потоптался на месте

и сел на диван, покрытый жестким тяжелым ковром. Мама тоже села рядом со мной и стала что-то говорить про электрички, расписание, жару, про то, как много народу в транспорте.

Дядя Яша, сидя за столом на прежнем своем месте, демонстративно, всем корпусом, повернулся, наклонился, направился в мою сторону, мне улыбнулся и со мной заговорил.

Я увидел в непосредственной близости от себя его мелкие мышинные зубы, совершенно коричневые, но целые, ровные и острые. Рот его, явно не привыкший улыбаться, был вытянут в кривую, напряженную щель. Во время пауз он как-то странно двигал нижней губой, взад-вперед, взад-вперед, как бы обдувая ее выходящим воздухом.

— Ну-у? — гнусавил он, глядя куда-то вбок, мимо меня. — Ну-у? Как ты отдыхал как? Хорошо отдыхал? А-а-а? Хорошо? А-а-а? В лагере хорошо было в лагере? А-а-а? Хорошо! Хе-хе... Ягоды ты собирал ягоды? Сбирал. А клубничке ты любишь клубничке? \* Сейчас, дадим тебе клубничке сейчас. Сейчас, сейчас-а-с... сейчас-сейча-ас...

Он встал, отпустил уставшие свои губы и, слегка враскачку, затрусил в другую комнату — оказалось, есть еще одна комната, — напевая все тем же гнусавым голосом (другого у него, впрочем, не было): «Сейчас, сейчас, клубни-ичке, клубни-ичке, сейчас, сейчас-а-ас...»

Пока он уходил, мама успела прижать меня к себе, обнять, поцеловать и погладить по головке.

Он вернулся с тарелкой клубники и банкой сметаны, он цепко держал короткими своими пальцами эти немислимые сокровища и мурлыкал все те же два слова, две ноты, «сейчас» и «клубничке», а я смотрел

---

\* Эти еврейские повторы произносятся слитно со всей предыдущей фразой, без малейшего намека на паузу.

и смотрел и никак не мог поверить, что эти ягоды — настоящие, что они могут когда-нибудь отделиться от тарелки, где так уютно и удобно лежат, и попасть кому-нибудь в рот — не мне даже, а вообще кому-нибудь... У меня даже слюна не текла. Не могу сказать, что я не часто ел клубнику, — я попросту не ел ее никогда.

Скатерть была отвернута, на открывшуюся желтую клеенку поставлено маленькое блюдечко. Несколько ягод, с десяток наверное, были по одной переложены из тарелки. Он делал это ложечкой, помогая себе рукой, и после каждой ягоды облизывал палец, далеко высовывая язык. «Клубничке, клубничке», — ворковал он, радостно пританцовывая, и когда перемешивал ягоды со сметаной, кривил губы от напряженного усердия. — О! Немножечко сахарок немножечко, о так! О! Кушай, кушай...

Я еще успел мельком взглянуть на маму, лицо ее было напряжено. Бедная, она ведь тоже никогда не ела клубники, разве что еще до войны, сто лет назад... Что-то похожее на совесть шевельнулось во мне и тотчас затихло. Я ничего не мог для нее сделать, я уже не владел собой...

Я ел клубнику, аккуратно вставляя ложку между двумя ягодами, стараясь не повредить, не помять, осторожно поддевая одну из них, медленно нес ко рту и долго перекачивал, обсасывал и смаковал, почти до самого конца ощущая волнуемую границу между кисловато-холодной сметаной и ароматным, плотным, сопротивляющимся мясом ягоды. Это было какое-то немыслимое наслаждение, ничего общего не имеющее с едой — так, как я привык ее понимать. Я был один на один со своим сказочным блюдцем — мама отсела к нему. У них шел скучный разговор о каких-то шкафах и буфетах, но когда у меня остались только две, самые крупные, прибереженные напоследок, и я смог более или менее справедливо распределить свое вос-

приятие между вкусом и слухом, я вдруг в один момент с необыкновенной остротой осознал все, что говорилось сейчас и раньше, и я понял, что жизнь моя — как я понимал тогда свою жизнь — кончилась.

— Он? — переспросил дядя Яша, косо мотнув головой в мою сторону, как бы боднув воображаемое препятствие. — Он? Он будет на диване. А что? Плохо на диване?.. Хорошо!

\*       \*       \*

Мы переехали не сразу, месяца два он еще ходил к нам домой, каждый раз принося пакетик карамели и свои хлебные карточки. Из этих карточек мама вырезала талоны и с этими чужими талонами посылала меня в магазин, где все меня знали и не могли заподозрить в обмане. Я нес черную тяжелую буханку и никогда не съедал по дороге довесок: знал, что мне наверняка разрешат это сделать, но предпочитал дожидаться разрешения.

Они садились за стол, накрытый белой парадной скатертью, — он, мама и все наше остальное семейство, — пили чай с карамельками и вели чинные разговоры, наполовину по-еврейски, наполовину по-русски, причем его медлительные корявые фразы с полувопросительными интонациями, повторами в конце и в начале, с многозначительным движением одной из косматых бровей и поминутным обдуванием нижней губы — его фразы воспринимались всеми с особенным вниманием и плебейским заискивающим уважением.

— Ви знаете, — обращался он к моему дяде, — почему они делают девальвация? Почему девальвация почему?

— Да! — отрывисто реагировал дядя. — Ну?! — и почти ложился на стол, выражая абсолютный, безраздельный, благодарный интерес.

— А я вам скажу. — Он откусывал карамельку, облизывал большой и указательный пальцы, отпивал чай из чашки и ставил ее на блюдец. — Я вам скажу... Я вам скажу, зачем. Потому что деньги перестали что-нибудь стоить. Ничего не стоят эти деньги! — выкрикивал он с пафосом. — Вы понимаете? Гурнышт!\* — и крепко хлопал по столу своей короткой округлой рукой и с торжеством откидывался на спинку стула.

— *Гурнышт!* — радостно повторяла мама, как бы вынося это замечательно важное слово на авансцену, на всеобщее умиленное рассмотрение.

— *Гурнышт!* — вслед за ней повторял дядя, расслаблялся и согласно кивал головой...

Если речь случайно заходила обо мне — не для обсуждения чего-либо, но в порядке вежливого перебора всех возможных тем — и ему тоже приходилось произносить какие-нибудь незначащие слова, то на лице его неизменно появлялась одна и та же кривая натянутая улыбка, должная, по-видимому, изображать ненавязчивую доброту и терпеливую снисходительность к столь мелкой и легкомысленной теме. Эту его улыбку и эти его слова мама также всячески подчеркивала и обставляла, окружала заботой и вниманием, украшала цветочками и виньетками...

Долго еще после его ухода все оставались на своих местах, обсуждая и делясь впечатлениями. Вообще-то говоря, у нас в доме было не принято вслух обсуждать по-настоящему важные вопросы, вся наша подлинная жизнь была покрыта гладкой оболочкой само-собой-разумеющести, и все потрясения войны только укрепили эту оболочку, выдвинув для нее такое оправдание, как вконец измотанные нервы и необходимость бережного отношения друг к другу.

---

\* Ничего (идиш).

Вот и теперь обо всем этом говорилось как о деле, давно решенном, под вопросом оказались лишь некоторые незначительные подробности.

Из этих бережных, не прямых разговоров я узнал, что у него очень много денег, и впервые в своей жизни услышал слово «скупой». Раньше ему неоткуда было взяться в нашем доме, теперь же оно произносилось довольно часто, каждый раз с неизменными оговорками и противопоставлениями. «Скупой, но честный. Скупой, но не злой. Скупой, но деловой. Скупой, но порядочный. Скупой, но умный. Скупой, но...»

— ...И к мальчику хорошо относится, — сказал дядя, любивший меня как родного сына, и все поспешно с ним согласились.

Перед самым нашим переездом со мной случилась истерика. Я сидел в комнате вместе со всеми, слушал обычные мирные разговоры и после очередного «скупой, но...» вдруг снова, во второй уже раз, но с еще большей силой, чем в то злосчастное клубничное воскресенье, почувствовал, как жизнь моя обрывается в пустоту. Стены комнаты закачались у меня перед глазами, меня стало подташнивать и знобить. Мама же, в этот как раз момент, начала рассказывать со смущенной улыбкой, как они с ним были на «Риголетто» и как он заснул и стал громко храпеть, и ей пришлось его разбудить, и они ушли со второго акта, хотя она так давно нигде не была, так мечтала послушать Алексея Иванова...

Дядя с тетей просто отмахнулись: что ты хочешь, человек устал, подумаешь, есть о чем говорить, — но тут уже я, весь перекошенный, со сведенными в судороге плечами, бросился к ней в ноги и стал выть в голос, сразу забыв все на свете слова, не умея произнести ни одного.

Меня долго и мучительно рвало, и когда потом, отмоченный полотенцем и отпоенный чаем, я лежал

на кровати, и моя мама сидела рядом со мной и целовала меня и гладила, и я снова вспомнил человеческий язык, — я лежал тогда и повторял почти непрерывно, оставляя лишь небольшие паузы для отдыха: «Ну, не надо, ну, не надо, ну мама, ну, не надо...»

— Да, да, — говорила мама, — успокойся. — И целовала меня и гладила. — Да, да, успокойся, все будет хорошо...

\*       \*       \*

Я очень скоро привык к огромному безалаберному дому, где в разных комнатах, в многочисленных семьях жизнь текла по различному распорядку, и потому в среднем дом всегда жил, всегда дышал, ежеминутно шевелился и всячески себя проявлял, и, значит, никогда здесь не было скучно, а всегда находилось, что послушать и на что посмотреть. Я привык даже к постоянной воні бесконечного коридора и не чувствовал ее, если она не превышала нормального уровня. Мне нравилась огромная кухня с закопченным, запутиненным потолком, тесная, несмотря на свои размеры, от снующих взад-вперед бабьих тел в засаленных халатах и сарафанах, звенящая надрывными их головами, гудящая и стреляющая примусами и керогазами. Здесь жили, что называется, «простые люди», типичные московские рабочие, все были выходцами из деревень, половина — родственники. Все они, за исключением самых молодых, были полны воспоминаниями своего крестьянского прошлого, разными лесными и полевыми историями, которые могли рассказывать до бесконечности, размеренно окая и смягчая окончания.

Поздно вечером примуса отставлялись в сторону, столы вымывались и вытирались насухо, все рассаживались — кто на стул, кто на стол — и наступал праздник...



...Женщины возбуждены, говорят напряженно-веселыми голосами, перекидываются испытанными шуточками.

— Ну, кто кричать будет? Ты, Маруся? Давай, кричи, у тебя голос громкий, вон, на мужика своего как гаркнула, так теперь и ходит глухой...

Все смеются, всем весело...

Мордатая хриплоголовая тетя Маруся пускает по столам карточки с цифрами, развязывает тесемку коричневого мешочка, ворошит его содержимое крупной, сильной рукой. Общий переполох, кто-то бежит за очками, кто-то — за семечками, кто-то — за деньгами. «Не начинай, не начинай, я сейчас, сейчас!..»

Играем в лото.

Я сижу рядом с мамой на табуретке за нашим столиком, мне тоже выдали карточку, хриплые Марусины числа косо падают на нее и отскакивают, не задерживаясь; эх, хорошо бы выиграть, но и так тоже неплохо. Я с большим удовольствием слушаю, как в краткие промежутки между выкриками успевают проскочить давно и на всякий случай заготовленные частушки, пословицы, присказки, какие-то сложные завитушки и загадулины, не имеющие, может быть, смысла, но несущие в себе загадочное и странное песенное обаяние. Пройдет еще много времени, прежде чем появится телевизор, появится, чтобы всосать в свою серую пасть весь вечерний остаток внимания, чтобы вконец раскрепостить усталого человека, избавив его от тяжелого бремени диалога, от необходимости ответа, от неизбежности авторства. Тогда-то и придет конец фольклору. Но до этого еще далеко...

Я готов сидеть так до бесконечности, но наступает время идти спать, бодрые счастливцы сгребают в ладонь медные кучки, проигравшие устало разбредаются по комнатам.

— Сам-то твой, небось, чаю не дождется! — говорит маме тетя Надя, старая дева с плохо выбритым подбородком.

— Сам-то? Да, небось... — отвечает мама, поддельваясь под и х манеру.

Мы разжигаем примус, кипятим чай и идем домой.

«Сам» — ждет не дождется. Он сидит за столом на диване. Умеренное его брюшко выгибает внутрь желто-коричневую тяжелую скатерть, округлые ступни в носках и шлепанцах скрещены под столом, колени в засаленных штанах широко раздвинуты; руки лежат на столе, голова — на руках. Он спит, похрапывая.

Мама трогает его за плечо. Начинается ежевечерняя игра.

— Что такое что? — бормочет он, открыв один глаз и обдувая нижнюю губу. — Я вздремнул немножко? А-а-а? *Гехопт а дримл?*\* А-а-а? Не-ет, я не спал. Не-ет, я не спал. Я немножко задумался, я не спал...

— Ты слышишь? — говорит мама, обращаясь ко мне. — Он не спал! Ты слышишь? Дядя Яша говорит, что он не спал! — Это она призывает меня к контакту с ним, к участию в мирном, уютном, семейном веселье. — Нет, нет, ты не спал, кто говорит! Ты не спал, ты только дремал. — Невообразимое веселье звучит в ее голосе. Ей смешно, ей очень смешно, но все же недостаточно смешно, чтобы смеяться...

Мы садимся пить чай.

— Ну как, — спрашивает он, причмокивая, — сегодня ты разбогатела сегодня?

Это не упрек, это шутка.

— Да-а-а! — отвечает она. — На газированную водичку набралось.

---

\* Прихватил немного сна.

— Ну! — Он криво улыбается, — так тебе не надо заработок не надо. Я уже могу не давать тебе деньги.

Это не упрек, это шутка.

— Да, конечно, зачем мне деньга! — говорит мама опереточным голосом, и ей опять не хватает веселья, чтобы засмеяться.

Я пью вприкуску, я захлебываюсь, я очень тороплюсь, я хочу, чтобы все это поскорее кончилось.

— Не знаю, — произносит он вдруг, как бы отвечая собственным мыслям, — не знаю... Как так можно? Ты говоришь, культурэ, ты говоришь, воспитания... Не знаю...

Он обращается вроде бы к маме, но взгляд его направлен мимо нее, красные свинячьи его глазки скошены вниз и вбок, он обдувает губу и водит рукой по столу, как бы перекатывая невидимые крошки.

— Что? Что такое? О чем ты говоришь? — вскидывается мама.

— Не знаю... Где тут культурэ, где тут воспитания?... О н думает, что так принято в обществе! О н думает! О н знает больше всех!

— Скажи же, в чем дело? — волнуется мама. Она расстроена. — Опять эти острые углы — ну зачем, ну зачем?..

— Не знаю... Все пьют чай, как люди, никто не хрумкает никто, он один должен хрумкать!

Я весь подбираюсь. У меня деревянеет рот, начинают дрожать руки.

— Перестань, — говорит мама мягко. — Он же не нарочно.

— Ты говоришь! Вчера не нарочно, позавчера не нарочно, сегодня не нарочно! Что ты говоришь что? Он думает, что я идиёт! Он думает, что он умнее всех! Он делает назло и он думает, что он умнее всех!

— Ну ладно, — просит мама, — перестань. Не будем говорить об этом.

— А что? — продолжает он, не слушая. — Что ему, плохо? Поцелуй, поцелуй его, погладь его по головкэ, дай ему пятаурочке на кино, он будет получать удовольствие, а я буду подставлять голову, чтобы он получал удовольствие. Спасибо? Спасибо от него не услышишь спасибо. Он может только тратить деньги и делать назло!

Мама в отчаянии. Все пропало, сегодня, по крайней мере, уже ничего загладить не удастся.

Я молча выхожу из комнаты, долго стою в уборной, опершись на закрытую дверь. Мне хочется плакать, мне хочется блевать, мне хочется бежать, мне хочется убить...

Когда я возвращаюсь, он сидит уже отвернувшись от стола и тут же, за столом, раздевается. Он снимает брюки, аккуратно стягивает их за концы брючин, ровненько складывает друг с другом протертые бахромчатые манжеты, неторопливо и любовно вешает сзади себя на спинку стула. Трикотажные кальсоны вялыми лиловыми складками лежат у него под животом.

Затем он поднимает правую ногу, кладет ее на колено левой и начинает снимать носок: он тянет двумя руками, одной за мысок, другой за пятку, без тени брезгливости, держа всеми пальцами, неторопливо и деловито. Сняв носок, он поднимает его прямо перед собой, встряхивает и вешает на перекладину стула. Затем, не снимая ноги, начинает вычищать между пальцами...

Я пристально слежу за всеми его движениями, я дорожу каждой мелочью, каждым штрихом его облика, каждой подробностью, питающей мою ненависть.

Ступни у него короткие, закругленные, с высоким подъемом — тридцать восьмой размер — он очень гордится, что покупает дешевую детскую обувь. Указательным пальцем правой руки он водит между пальцами ног, подносит добытое к глазам, близору-

ко рассматривает, растирает в пальцах, ссыпает на пол...

В баню он ходит раз в два месяца, но каждую неделю надевает на грязное тело чистое белье.

Вот он встает, направляясь в «спальню», лиловый мешок растянутого трикотажа повисает у него между ног, он идет, волоча шлепанцы и переваливаясь с ноги на ногу, и мурлычет себе под нос какую-то тихую, странную, безмелодийную тягомотину.

В дверях он останавливается и начинает чесаться о косяк, приседая и вращая всем телом — фантастическое зрелище, потому что при этом он продолжает мурлыкать с некоторым уже сладострастным стенанием, и обдувает губу, и сосредоточенно и прямо смотрит перед собой.

Наконец дверь закрывается, я слышу скрип кровати, и мне кажется, слышу в этом скрипе неминуемое отвращение, с которым многострадальная железная сетка должна принимать в свое лоно это кособокое вонючее тело...

«Спокойной ночи», — говорит мне мама, целует меня и уходит туда же.

Спокойной ночи. Но не спите с дядей!.. — Нет, это так хотелось бы. «Гамлета» я тогда еще не читал.

\*       \*       \*

По утрам подле самой нашей двери выстраивается длинная очередь. То есть, конечно, никакого строя тут нет, очередь образуется, составляется из разбросанных там и сям вдоль стен и закоулков коридора одиноких жильцов и небольших групп с полотенцами и мыльницами. Две уборные и два умывальника на восемнадцать семей. Шуточки, прибауточки, новости, разные разности... Здесь никто никого не стесняется, здесь все про всех известно. Про всех, кроме нас...

Вот, переминаясь с ноги на ногу, ждет своей очереди Валька Пирогова, заспанная, помятая, взъерошенная, с коротким шрамом на костлявой руке. Какой-то ухажер полоснул из ревности. Напротив нее, прямо по диагонали, рядом со своей красивой высокой женой стоит, опираясь локтем о стенку, Вовка Лукьянов. Это пьяница, плясун и музыкант, с гитарой он почти никогда не расстается, и только потом, через много лет, я понял, как хорошо он играл. Верхняя его челюсть выдается вперед, вся вылезает из-под губы и сверкает вставными зубами разного цвета: все свои ему выбили в драках.

— Ну, как? — спрашивает он Вальку. — Ничего, а? — и громко хохочет, широко открывая всю свою металлическую мозаику.

— Да ну!.. — машет рукой Валька.

— Что ж так? — кричит Вовка и снова хохочет. — Не пошло, а?

— Перестань, дурак сумасшедший, — лениво реагирует его жена.

— Да ну! — говорит Валька. — Что ты, мать мою, что ли, не знаешь?

— А че мать-то? — Вовка опять хохочет. (И как только его хватает на столько?)

— Ну как чего? Пришел он вчера ко мне прям после работы — да ты видел, — пришел и говорит: к Машке, говорит, больше ходить не буду, буду, говорит, жить с тобой. И всё. Ну, бутылка у меня припасена была, посидели чин-чинарем, стали спать ложиться...

Теперь уже слушают все присутствующие. Вальку это радует, она рассказывает с удовольствием.

— Стали спать ложиться. Только я свет погасила — тут мать, вроде бы и спала уже давно, а тут как начнет очереди выдавать! Ну, и вся любовь...

Вовка грохочет, блестит зубами, бьет чечетку и хлопает себя по ляжкам. Те, кто уже умылся,

уходят с явным сожалением, оборачиваясь и пятясь...

Однажды вечером этот самый Вовка принес большой грязный мешок с какими-то острыми обломками и, не заходя домой, прошел прямо на кухню. Он был очень возбужден, хотя, кажется, как это ни странно, — трезв. Я слонялся без дела в коридоре и сразу почувствовал интересное.

— Вот, Сашок, — сказал он, обнимая меня за плечи, — знаешь, что в этом мешке?

— Что?

— Гитара! Понял? Самая лучшая из всех гитар!

И он стал осторожно вынимать из мешка различной формы куски дерева, в которых с большим трудом можно было узнать музыкальные части.

— Знаешь, сколько я отдал за эти щепки? Ну, да ладно, х... с ним, не в этом дело. Я ее склею, понял? Эта гитара всех наших стоит вместе взятых, понял? Сделал ее австрийский мастер, еврей Циммерман, а сломал ее один наш русский мудака... Ну, х... с ним, не в этом дело. Циммерман! Так и называется — циммермановская гитара — лучшая в мире! Ей, б..., цены нет, понял? Вот так!

Гитару он клеил месяца два, я уже и следить устал за его работой, подчас не замечая никакой разницы между сегодняшним ее видом и вчерашним. Вовка мог часами легонько водить надфилем по серебряным ладам, что-то еле заметно подчищая и подпиливая, и, казалось, он уже отчаялся довести дело до конца и теперь только так, создает видимость.

Но в одно из воскресений он вышел в коридор с совершенно готовой гитарой — как-то сразу стало известно всем, что она готова.

Стали собираться слушатели. Он стоял у своей двери, в голубой майке и флотских широких брюках, в кожаных тапочках на босу ногу, огромные его руки

с татуировкой ползли и стелились вдоль этой блестящей, лаковой, серебром разлинованной штуки — здесь, в задымленном, полутемном коридоре с сопливыми потеками вдоль стен, были все условия, чтоб оттенить и подчеркнуть по контрасту ее небывалую красоту.

Он взял несколько аккордов — звук был, действительно, что надо, никогда уже больше я не слышал такого звука, — потом вдруг оборвал на полупhrase, сказал: «Не, б..., не могу...», громыхнул металлическим хохотом и ушел домой.

Потом он долго играл у себя в комнате, я сидел и слушал через стену — наши комнаты были соседними. Никогда я не слышал такой гитары и никогда — ни до, ни после — не слушал такой игры.

Странная вещь — у него совершенно отсутствовал певчий слух, он это знал и слова песен и романсов не пел, а, как стихи, — проговаривал. Но играл при этом удивительно тонко и музыкально.

В этот вечер он ушел и больше уже не возвращался. О нем рассказывали всякие забавные истории, говорили, что кто-то из блатных его друзей хотел отнять у него гитару и он изувечил этого человека и сам получил рану в живот. Он сидел в тюрьме — это было точно известно. Года через три он вернулся — худой, страшный, обритый, глядел зло и непрямо и больше не хохотал. Он напился до беспамятства, страшно избил жену и ушел рано утром — теперь уже навсегда. Опять выплыла история с гитарой, нечто совсем уже сентиментальное: рассказывали, будто бы шел он по улице, увидел в окне полуподвала гитару, вошел не думая и снял со стены. Так и попался.

\*       \*  
         \*       \*

В конце декабря появилась у меня мечта: новогодняя елка. Зачем она была мне нужна? Зачем нужна елка — не праздник елки, а именно сама елка, зеленое



дерево с украшениями — одиннадцатилетнему парню, не такому маленькому, чтобы верить в чудеса, не такому взрослому, чтобы верить в символы? Я могу задаваться этим вопросом до бесконечности, отсюда мне все равно ничего не понять.

Вот я стираю с лица морщины, разглаживаю у рта скептическую складку, смываю со лба печать тупого всезнайства. Я немного распрямляю спину — не до конца, не до конца, сутулился я и в детстве, — я снимаю с сердца тяжелый камень стыда и вины — тяжесть его неотвратно растет с каждым годом, и если когда-нибудь найдется такой анатом, который возьмет и разрежет его пополам, то на срезе, я знаю, будут толстые кольца, как у буйного, стремительно росшего дерева. Я снимаю с души этот камень и осторожно кладу его на стол, вот сюда, рядом с машинкой. Пусть полежит, я не надолго. Я прохаживаюсь взад и вперед легкой походкой беззаботного человека, нет, озабоченного, но своей заботой, заботой о себе. О, этот детский эгоцентризм, такой простительный, такой умильный, такой упоительный! Ну, а взрослому что, уже нельзя? «Себе, любимому?..» Можно и взрослому, это как повернешь...

Я прохаживаюсь взад-вперед напряженно-легкой беззаботно-озабоченной походкой, вынимаю из кармана тяжелый двухбородчатый ключ от сейфа, вставляю, поворачиваю и вхожу. Нет, не в сейф, в комнату: это у нас такой замок, чтобы трудно было подделывать.

Ну, что? Ничего, все то же. Сырость. Запах старого, прокисшего пота. Круглый стол, желтая скатерть, складками и углами. Огромный душный ковер, спускающийся со стены, покрывающий диван, лениво и приблизительно повторяющий извивы спинки и валиков.

Прямые стулья с клеенчатой обивкой, пятнистые, облезлые, холодные. Высокий буфет никакого дерева,

со сломанными латунными ручками. Шаткая точеная этажерка с моими и мамиными книгами. На этажерке — приемник, темный, овальный, глазастый, узколобый. Двухстворчатая, масляной белой краской крашеная дверь во вторую комнату. Что там? Все то же. Обшарпанный, кустарной работы кухонный шкафчик, с фарфоровым роликом вместо ручки. Кастрюли, банки, чашки. Напротив — нечто вроде туалетного столика, с трельяжем, духами и пудрами. Дальше у одной стены — шкаф, где под бельем хранятся продолговатые сберегательные книжки на предъявителя, у другой стены — кровать, огромная, железная, холодная, с панцирной сеткой, колесами и круглыми шишками. Под кроватью, в числе прочего барахла, лежат два чемодана с облигациями и стоит зеленый ночной горшок с крышкой. Уборная у нас под самым носом, но мой осторожный отчим не любит ночью отпирать дверь. Часто уже под утро я слышу поначалу пронзительный и резкий, а затем все понижающийся звон струи, бьющей об эмалированное дно, звон этот постепенно переходит в бульканье и бурление, затем, несколько раз прервавшись, окончательно умолкает. Все это сопровождается громким сопеньем, оханьем, кряхтеньем и постанываньем, каким-то обрывочным бормотом и умиленным сюсюканьем.

Долго после этого я не могу заснуть от омерзения, я лежу, оцепенев на своем душном диване, и жесткая щетина ковра впивается в мое тело.

Утром я вижу, как моя мама выносит этот проклятый горшок, несет его за скользкое неудобное ухо, придерживая другой рукой за краешек, я не могу на это смотреть, я отворачиваюсь к стене, но, отвернувшись, вижу еще острее и определенней, и стискиваю зубы, с трудом удерживая подступающий приступ тошноты...

Комнаты узки и тесны, все предметы соседствуют в них чужим, вынужденным соседством, комму-

нальная квартира в коммунальной квартире, у каждой вещи — своя жизнь, ни характер, ни происхождение не связывают ее с остальными, шире локти, тверже взгляд, чтоб, упаси Боже, не стиснули, не обидели, не заняли место...

Зачем же здесь елка? Да вот затем и елка, разве не ясно, зачем?

Я пытаюсь разыграть тогдашнее свое состояние, и, конечно же, только лишний раз убеждаюсь в невозможности чистого эксперимента, в неизбежности привнесения. «Меня угнетала серость и будничность, говорю я себе, я жаждал разнообразия и праздника». И тотчас же сам себя одергиваю. Я ведь знаю, я предупрежден: не могут быть мои тогдашние чувства тождественны сегодняшними. А ведь это именно сегодня угнетает серость и будничность, именно сегодня я жажду... нет, пожалуй, и не жажду. Для меня — сегодняшнего — это уже слишком сильно сказано. Так, может быть, в этом как раз и разница?..

— Мам, давай поставим елку?

— Елку? Куда? — у нас же места нет...

— Ну, найдем: уберем, отодвинем, переставим, — как раз угол освободится.

— Не знаю... Я не могу сама... Надо посоветоваться с дядей Яшей.

— Посоветуйся!

— Знаешь? — Попроси его сам...

— Я-а-а?!

— Да, да. И ничего тут такого. Он, что, чужой тебе человек? Надо быть поласковее, и тебе будет лучше. Ты никогда к нему не обращаешься, вот он и обижается на тебя. Он придет с работы, подойди и скажи: «Дядя Яша, можно мне поставить елочку?»

— Дядя Яша! — говорю я мокрым, пупырчатым голосом.

Он останавливается. Я поймал его в самый неудобный момент. Я стоял посреди комнаты, а он двигался вдоль, и пока он шел прямо на меня и был обращен ко мне лицом, я все никак не мог решиться, а потом, когда он уже прошел мимо, вдруг окликнул его, неожиданно для самого себя и оттого тихо и невнятно. Но он услышал. Для него это был уже совершеннейший сюрприз, ни разу еще я с ним не заговаривал. Он остановился почти мгновенно, тяжело и резко споткнувшись ногой в шлепанце, настороженно повернул одну только голову, из-за плеча, исподлобья, вбок и вниз уставил свинячьи свои глазки. Пожалуй, он был немного растерян.

— Что? Что такое? — пробормотал он так же невнятно, как я его окликнул: «шэ? шэтэкэ?».

— Дядя Яша, — продолжил я в том же регистре, выделяя из себя эти чуждые мне слова, как мочу, как слизь, ни секунды не сопровождая их в их движении по воздуху, к его маленьким круглым ушам, заросшим седыми волосами. — Можно мне поставить елочку?..

Через много лет, «в часы томительного бдения» припоминая постыднейшие куски своей жизни, я с особым сладострастием буду произносить эту «елочку», этот жалкий уменьшительный суффикс, уже тогда совершенно мне не свойственный.

— Елочке? — обрадовался он. — Где же мы поставим елочке где?

Мы стали ходить с ним по двум нашим комнатам, мы озирались по сторонам, как бы впервые увидев все это убогое барахло, мы измеряли растопыренными пальцами и прикидывали в уме, мы соревновались во взаимной предупредительности, мы почти любили друг друга...

Это можно было бы объяснить красиво. Значит, так. Пожилой уже человек — не то чтобы добрый, но и не Бог весть какой злой — женится на молодой срав-

нительно женщине с маленьким сыном. Человек этот давно не общался с детьми, очерствел и огрубел в одинокой своей неприкаянной жизни и, несмотря на нежную любовь к жене, так и не смог найти контакта с ребенком. (Похоже, не правда ли?) Дальше. В свою очередь, мальчик, впечатлительный, нервный ребенок, воспринимает эту вынужденную отчужденность как враждебность и отвечает на нее также враждебностью. Кроме всего прочего, он еще ревнует мать к этому чужому человеку (Вот!), а тот, со своей стороны, ревнует ее к сыну. Конечно, справедливость должна торжествовать, но как ей это сделать в такой безвыходной ситуации? И вот, приближается Новый год. Мальчик (нервный, впечатлительный...) слышит разговоры товарищей, видит предпраздничную суету соседей, и тоска одиночества, желание ласки и тепла выливаются для него в мечту о елке. Со всей силой детского воображения он представляет себе это зеленое душистое чудо, ему кажется, что с появлением елки изменится все течение его жизни, что она перестанет быть однообразной сменой будней, а превратится в непрерывный праздник, в сияющую волшебную сказку. И вот... он преодолевает... он идет на жестокое унижение... и неожиданно встречает... как будто тает ледяная преграда... ну, и так далее.

Так вот, по существу дела: когда я с ним заговорил, никакая елка меня уже не интересовала. Во всяком случае, ни о какой жажде или тем более мечте не могло быть и речи. Это был так, легкий бзик, кратковременный импульс, и не им я руководствовался, когда лепетал свою краткую реплику. Просто я больше не мог. Я не мог выдержать такую долгую ненависть, у меня не хватало на это ни сил, ни характера. Ненависть и злость, злость и ненависть — я сам лелеял в себе эти чувства, и они душили меня самого, не находя себе иного выхода. Нет, я не годился для такой рабо-

ты. И дело тут совсем не в возрасте. Но и не в доброте. Все дело в страхе. Я испытывал страх перед ненавистью, своей и чужой, а больше все-таки перед чужой, органическую боязнь вражды, которая была крайним случаем всеобщей, изначальной боязни недоброжелательства, свойственной мне генетически, как какая-нибудь хромосомная болезнь.

\*       \*  
          \*

Разбираясь в своих чувствах и ощущениях, я нередко поражаюсь бесконечному многообразию проявлений этой болезни, в самых неожиданных ситуациях выплывающей как главная причина и главный двигатель.

Вот я, уже взрослый, стареющий человек, сижу в такси рядом с шофером, веду с ним вялый разговор о том, о сем, о вещах мне чуждых и безразличных, о скользкой дороге, о хоккее и о ценах на автомобили, косенько, невзначай поглядываю на счетчик и чувствую, что принужденность этого разговора — не обычная, ежедневная принужденность общения с чужими людьми, нет, это еще и скрытая вражда, причины которой лежат в неминуемой противоположности интересов. С одной стороны, я, по роли своей, не могу не думать о счетчике, я просто обязан о нем думать и прикидывать в уме, сколько набьет и сколько надо дать, чтоб и не обидеть, но и чтобы не чересчур много, и не потому что мне жалко денег (хотя и это тоже), а просто нельзя же выглядеть простаком, хотя бы в глазах того же шофера. С другой стороны, он — уже по своей роли — тоже не может не думать о том, сколько я дам, и заранее примеряет на меня два противоположных отношения: снисходительно-доброжелательное — если дам много, злобно-остервенелое — если дам мало.

Я, допустим, готов дать много, но он-то ведь этого не знает, выяснится это только в самый последний момент, а пока что я должен безропотно выдерживать положенное мне число злобно-остервенелых примерок.

И даже если мы заранее договорились о плате, все равно остается эта скрытая напряженность, потому что я, например, думаю, что он, возможно, думает, что взял с меня слишком мало, теперь жалеет и ненавидит, а я, возможно, мог договориться на меньше, и, конечно, чёрт с ними, с деньгами, не в деньгах дело, а все-таки обидно, когда тебя обводят, как маленького... И даже не это, а то, что думают о тебе, как о маленьком, которого обводят. Ну, и так далее. И, в конце концов, меня так изматывает эта пятнадцатиминутная непрерывная вражда, что я долго потом прихожу в себя, и долго еще не могу себе простить, что не вышел на час раньше и не поехал на метро, как все люди, мог бы, по крайней мере, почитать книжку или подумать о разных вещах, не имеющих отношения к процессу езды...

В парикмахерской — то же самое. В магазине — нечто близкое. В ресторане — что и говорить!

Но если теперь, когда я такой взрослый и такой понимающий, я могу удержать себя в руках в подобной ситуации, коль скоро не удалось ее избежать вовсе; если теперь я сознательным усилием подавляю врожденный свой страх, заискивающим лепетом лезущий наружу, — то в детстве...

Соревнования. Бесконечной цепью соревнований представляются мне мои школьные годы. Уроки физкультуры, просто уроки, общественная работа, девочки, — не говоря уже о редких и кратких моих набегах на спортивные секции... Я не мог соревноваться. Я заранее был обречен на поражение, потому что не мог выдержать испытания противоположностью интере-

сов, этого открытого желания хорошего себе и плохого — товарищу. Здесь это не было преступлением, это не было аморально, наоборот, таковы были условия игры.

Стометровка. Что может быть безобидней? Мы выходим на старт, пятеро парней, мы все хорошо друг к другу относимся, никаких между нами нет счетов, никакой такой тяжести на душе. Но вот команда «марш!», мы срываемся с места, — и неминуемо наступает момент, когда я испытываю самую настоящую ненависть к остальным, по крайней мере к бегущим впереди. Вот бежит Юрка Смирнов, прекрасный, вообще-то говоря, парень, но как отвратительно он бежит, какие уродливые тапочки, черные с белыми шнурками, какие противные волосатые ноги, какая мерзкая манера держать на весу пальцы рук, какой твердый и безжалостный затылок!..

И страшное это чувство не исчезает бесследно, где-то оно отпечатывается, что-то меняет, и если и не приводит сразу к каким-нибудь ощутимым результатам, например к ухудшению отношений, то все же неминуемо подтачивает крохотный какой-то устойчивик, какой-то мелкий суставчик — вывихивает...

Логика последнего, скажете вы, типичный образ мысли отстающего и слабого! Что уж тут размусливать! Проигрывал, проигрывал, вечно проигрывал, вот и выработался комплекс неполноценности. Ясно, как день...

Да, насчет комплекса — это как день, какие уж тут могут быть сомнения. Но в остальном, в подробностях, которые одни только и составляют суть дела, если не отмахиваться формулой, а начать разбираться в обстоятельствах, — тут как раз оказывается все не так уж и ясно.

...Секция вольной борьбы, где я промучался полгода, из одного только самолюбия, сбегать мне хоте-



лось на второй день занятий — и далее ежедневно. Побед у меня не было, одни поражения, все уже к этому привыкли, привык, в общем-то, и я. Но однажды я положил на лопатки Славку Дубовского, моего одноклассника, который был гораздо сильнее и ловчей меня. Каким-то чудом мне удалось провести четкий и быстрый «ключ» и навалиться ему на грудь всем своим тощим костлявым телом, которое в этот момент показалось мне тяжелым и мощным. Я очень долго доворачивал его левую лопатку, и когда она коснулась ковра — я почувствовал, что по-настоящему счастлив. Мне казалось в этот момент, что сил у меня — бесконечно много, что я мог бы сейчас же, немедленно, положить на лопатки кого угодно, что борьба — это и есть мое любимое дело, ничем другим в жизни я не хотел уже заниматься... пока не взглянул на его лицо. Я взглянул — и тотчас же отвернулся, так это было страшно... «Ваше представление о счастье?» — спросили как-то Маркса...

Именно после этой победы я перестал ходить в секцию. И с Дубовским мои отношения изменились. Все оставалось в пределах корректности, но холодок непременный появился, и сохранялся он до самого конца, пока пути наши не разошлись в разные стороны. Нет, речь здесь идет не только о спорте. Соревнование — вот о чем речь. Дружеское, допустим, соревнование. Кто лучше, кто кого... Насчет «кто» — это понятно, но как же быть с тем, «кого», с тем, кто хуже? Что делать нам с этой жестокой лесенкой — лучший, похуже, еще хуже, совсем плохой... с этой демократической иерархией, установленной пусть на время, но бесспорно и однозначно? Не бесчеловечна ли тут всякая определенность? Не всегда ли бесчеловечна определенность? «Негр, занявший десятое место...» Как в том дурацком анекдоте: «Вам мало, что вы негр?»...

— Чего ты, собственно, хочешь? — спросите вы меня. — Бесконфликтности? Но ведь это равносильно смерти. Жизнь есть борьба противоположностей. В этом весь ее вкус и смысл. Это же элементарно. Подумай сам, что бы ты сказал, если бы...

Все правильно. Ничего я не хочу. Ничего мне не надо. Кончим об этом. И будь она проклята, эта диалектика!...

\* \* \*

Куда это меня занесло? Что там, собственно, у нас происходит? Да! Вот — елка! «Елочкэ». «Куда же мы поставим елочкэ куда?» Мне кажется, он тогда тоже немного устал от вражды. Чувствовать на себе постоянный, неотступный, ненавидящий взгляд — это мало кого оставит равнодушным. И все же никаких перемен не произошло. Мы походили с ним по комнате, потолкались, померяли, я действительно купил елку и поставил ее на место трельяжа, передвинутого в дальний угол, к окну — но на этом вся идиллия и кончилась. Его мирные условия были неприемлемы для меня, несмотря на всю мою приспособленческую сущность. Очередной взрыв произошел очень быстро, сразу же после Нового года. Ко мне зашел мой друг Рома, мы как раз сиделись обедать, и мама пригласила его к столу. Мы ели борщ, постелив на стол клеенку, и открылась дверь, и вошел он. Что-то ему понадобилось дома, какие-то документы... Ядовито и кроваво стрельнул он в нашу сторону, прошел к шкафу, не снимая синего прорезиненного плаща, порылся там, бормоча невнятно, и ушел молча, не ответив на мамин вопрос.

Возникла мрачная пауза, которую мама стала затем поспешно заполнять всякими гордыми, извиняющимися, примиряющими, независимыми, уничтожающими, возвышающими, шероховатыми гладкими сло-

вами. Но ничего уже нельзя было сделать. Мы нарушили. Ромке нельзя было обедать у нас. Каждый должен был есть там, где он или за него платили, то есть у себя дома.

В этот день он пришел поздно, ужинал молча, потом, как всегда, спал, сидя за столом, и мы разговаривали тихо, да и не разговаривали, по сути, а лишь обменивались тревожными сигналами, но он все спал и молчал, и только в самом конце, перед ночным уже сном, вычистив ноги и помахав носками, вдруг остановился на пути своем в спальню и застыл, своротив голову набок.

— Он думает, что я ему нанялся! — произнес он громко и внятно, и первые же звуки его скрипуче-гну-савого голоса прошили меня насквозь. Я почувствовал какой-то голубовато-белый вибрирующий холод, белым ужасом, пустым пространством, лишенным цветов и теней, наполнилось мое тело, и в глазах у меня не потемнело, а страшно так посветлело, побелело, как от яркой вспышки света. — Он думает, я ему нанялся! Я должен таскаться на работэ, я должен делать дела, подставлять головэ, я буду сидеть в тюрьмэ, а он будет жрать и спать и больше ничего! А что? Пусть приходит Ромкэ, пусть Вовкэ и Колькэ и все, и пусть сидят у меня в доме и жрут на мои деньги, им мало у себя дома — пусть жрут у меня! А что, ему жалкэ? Разве он знает, что такое деньги?

Мама пыталась что-то сказать: «Ну, ладно, ну ладно, ну, перестань...»

Он не слушал ее, продолжал каким-то менторским, размеренным тоном, это было уже в области абстракций, за пределами простой вражды и ненависти. Это звучало почти ласково.

— ...Потому что он не знает заработать рубль. Если бы он знал заработать рубль, — он бы так не делал!

Голова его была наклонена в мою сторону, глаза смотрели в пол, но так точно был выбран угол падения, что злобный взгляд этот, рикошетом, попадал прямо в меня, и я чувствовал его на себе неотступно. Нет, это было мне не по силам!

Тут существовала одна возможность, один вполне реальный выход, который я — теперешний — тщетно пытаюсь подsunуть себе — тогдашнему. Я имею в виду комичность ситуации, то, как был он смешон во время этой сцены, в лиловых своих кальсонах с пустой мотней между ног, с большим задом над обезьяньими, чуть согнутыми в коленях ногами, с круглой спиной и махонькой головкой, где не было ни лба, ни подбородка, где все пространство лица было распределено между щеками, бровями и носом, рот же существовал лишь в силу непрерывного движения... Не говоря уже о произношении, для которого у меня просто не хватает гласных, да и гласными одними тут не обойтись, надо слышать все эти его пришептывания, причмокивания, присюсюкивания, все эти тончайшие интонационные ходы, нейтрализующие русскую фразу до полного уничтожения, так что оставалось ощущение, будто он говорит на особом, одному ему известном языке, и то, что я этот язык понимал, не зная его, было чуть ли не актом телепатии.

Но нет, я не смеялся, это было для меня невозможно. Смеяться — значит проявлять независимость. Я же был всецело от него зависим, никак не мог освободиться и никаких перемен, за исключением повзроslения, ни с какой стороны не ждал...

\*       \*  
          \*

Были ли у него друзья? Вот ведь чудеса — были! Ну и кто же? Кто бы мог быть его другом? Такой же мрачный крот в прорезиненном плаще, с пальцами,

как бы созданными специально для счета денег, с влажным ртом, чтобы мусолить эти пальцы, нет, еще — чтобы бормотать смешные и нелепые еврейские числительные, похожие на детские считалки, похожие на абсурдные стишки, похожие на некие шутовские ориентиры, курам на смех расставленные там и сям в базарной толчее этого пародийного языка.

«Эйнын-цвонцик, цвейнын-цвонцик, драйнын цвонцик...» Эники, беники, ели вареники... Но ведь это и была пародия, это и была дразнилка, и считалка — тоже (считалка денег...).

Кто же это в незапамятные времена обладал таким острым слухом, чтобы в кованом строе немецкой речи различить все черты местечкового балагана?

— Вот вам язык как язык: звуки, слова, предложения. Все как следует, как настоящее, все как водится у людей. Живите, говорите, считайтесь, ругайтесь; захотите написать письмо жене — возьмите старые финикийские буковки, они тут как раз подойдут, как корове седло; пишите, пишите, не бойтесь, что бы вы там ни наврали, романа у вас не получится, стихов — тем более; а станет вам немножечко грустно, станет вам капельку невмоготу — спойте песенку, песенку вы вполне сумеете спеть, песенку и немой споет, отчего же вам не спеть — с таким замечательным языком!..

Дядя Яша не пел песенку — зато деньги он считал хорошо. Он любил это занятие, здесь он чувствовал себя мастером, профессионалом, видно было, что этот профессионализм составляет предмет его гордости. Никогда он не считал один раз, редко — два, обычно же каждая сумма пересчитывалась три-четыре раза.

Это были, как правило, его собственные деньги (так я теперь, по крайней мере, думаю), но никогда я не воспринимал их как деньги, как то самое, на что можно что-то купить. Те десятки и пятерки, что мне давали в магазин, — вот это были деньги, они были

живыми, они соответствовали, они превращались, в любой момент они могли стать чем угодно, банкой керосина или пакетом сахара, и эта бесконечная неуловимость возможностей, эта благородная неопределенность намерений, допускающая в то же время абсолютную конкретность любого воплощения, — все это придавало деньгам особую прелесть и поэзию. Те же деньги, что вечерами, заперев дверь сейфовым ключом и задвинув окна дощатыми гармошечными ставнями, сосредоточенно и упоенно пересчитывал дядя Яша, — те деньги были ничем. Все эти пачки сотенных ничего не стоили в моих глазах, я смотрел на них с полным равнодушием, у меня и в мыслях ничего такого не возникало...

Был у него друг — не такой, конечно, «чтоб поверять ему все свои тайны» (у кого это, интересно, есть такой, чтобы — поверять?), но старинный, чем-то испытанный, в чем-то верный. Нет, он не ходил в прорезиненном плаще (дался мне этот плащ) и не мусолил пальцы, хотя деньги считать, по-видимому, тоже умел. Звали его, как Ганнибала, Абрам Петрович, и это было постоянным предметом его каламбуров и окололитературных острот. Тут и без пояснений становится ясно, что, в отличие от своего приятеля — моего отчима, — был он человеком если и не начитанным, то читавшим и даже, что еще интереснее, — писавшим. Он пописывал шуточные стишки, немного стеснялся этого занятия, немного гордился, никогда не давал читать, но иногда сам, кстати и некстати, проформатывал скороговоркой две-три строфы.

Живут в пакете на портрете  
Мои откормленные дети,  
Жена прекрасная моя,  
Перед которой я свинья...

Кажется, это единственное, что я запомнил.  
Жена у него была действительно очень красивая,

полная, гладкая, черноглазая и черноволосая, с низким чуть сипловатым голосом — типичная еврейская красавица.

«Откормленные дети» — это один-единственный сын, разбитной и самодовольный парень лет тогда двадцати пяти, знавший в Москве половину мужчин и, вероятно, две трети женщин.

Они жили в самом центре города, в доме актеров Малого театра — уж не знаю, как они туда попали, — говорили на чистом русском языке, явно предпочитая его еврейскому, которым пользовались исключительно для анекдотов и крамольных суждений.

И была у них еще одна черта, которая делала их присутствие в мрачной берлоге дяди Яши совсем уже странным и неуместным. У них было чувство юмора. Это не было еще то безоговорочное чувство юмора, которое снимает все маски и упраздняет все позы, но шутку они любили и разговор предпочитали вести в ироническом ключе, даже если речь шла о вещах заведомо серьезных. И еще в них обоих был какой-то врожденный артистизм — может быть, и недаром они жили в этом самом доме — порой они здорово смахивали на эстрадную пару.

Что же связывало их с этим человеком? Трудно сказать. Ну, во-первых, Абрам Петрович и Яков Самуилович были из одного города. Много лет назад они одновременно оказались в Москве и, видно, с тех пор и держались друг за друга. Уже давно ни тому, ни другому не нужна была эта поддержка, но они были пожилыми людьми, им поздно было менять привычки, они привыкли держаться — и держались. Но существовали тут и другие обстоятельства. Оказывается, мой отчим считался вообще уважаемым человеком. «Честный, деловой, порядочный, держит слово, не продаст, не подведет, не обманет» — все эти еврейские достоинства приписывались ему безоговорочно.

Яков Самуилович Ройтман был уважаемым человеком в деловом мире и дружить с ним считалось не только не унизительно, но скорее даже почетно. Да наверно, и выгодно это было, если судить по тому, сколько людей считали себя ему обязанными.

Но что же это был за «деловой мир»?

Но разве вы не знаете? Знаете, конечно...

Впрочем, вдруг действительно не знаете, вдруг вы с луны свалились?

В таком случае я поясняю: Яков Самуилович Ройтман много лет занимал должность коммерческого директора в одной из артелей промкооперации. Он был, ко всем прочим достоинствам, еще и очень осторожным человеком, и когда его, хоть и ненадолго, но все же посадили — все поразились, так это было на него не похоже...

Но я опять не уверен, что ничего не пропустил. Осведомленному достаточно. Но достаточно ли осведомлен мой читатель?

Тут, конечно, надо быть специалистом. Надо видеть все в целом, так сказать, «обозревать», надо иметь в запасе кучу цифр и уметь обращаться с терминологией. Какой-нибудь экономист и историк свел бы все обстоятельства в столбики и таблицы, облек предпосылки и выводы в стройную афористическую форму и как дважды два доказал бы, что прав он, а не кто-нибудь там еще. Ничего этого я, конечно же, не смогу сделать по многим причинам, главная из которых — отсутствие концепции. Мне просто нечего доказывать, я и сам ни в чем не уверен. Ну, а уж терминология... Народное хозяйство, национальный продукт, доход на душу населения...

Душа населения...



Абрам Петрович и Мария Иосифовна никогда не приходили неожиданно, их визиты были запланированы заранее, на предыдущей встрече, причем, как правило, соблюдалась очередность. Если они приходили к нашим, значит в прошлый раз наши были у них. «Ну, теперь мы вас ждем. Когда вы соберетесь?» Больно было мне это слышать: меня ведь туда не брали. Но зато каким праздником для меня становился каждый их приход!

Я прислушивался в этот вечер к любому стуку за дверью, я еще издали ловил их шаги, я точно знал, что это они, это была не обычная развалистая домашняя походка идущего в уборную жильца, это были именно шаги гостей — дробный, тяжелый, шаркающий, с прочерком — направленный и неотвратимый звук. Он завершался громким стуком в дверь, я заранее рассчитывал этот момент, я настраивался в резонанс с этим стуком, и когда он действительно раздавался, сердце мое подскакивало, как мячик.

— Можно? — она входила первая, в черной котиковой шубе, дыша духами и туманами, румянощекая, полная — не толстая, а именно полная, наполненная, живая, вся какая-то красноречивая и подвижная, даже когда не двигалась и не произносила ни слова.

— А-а-а! Хе-хе-хе... — гнусавил Яков Самуилович и криво вставал со стула, чтобы снять с нее шубу, и Абрам Петрович, подавляя собственный, десятилетиями выработанный порыв, терпеливо наблюдал, как он неуклюже цепляется за гладкие блестящие отвороты, и затем сам ловким изящным движением снимал свои кожаные перчатки и драповое с черным каракулем пальто.

Я смотрел ему в рот, я знал, что он откроет его только раздевшись, скажет коротко: «Здравствуйте» — и каждому по очереди протянет белую сухую и

чистую руку. Мамину руку он всегда целовал и заметно дольше других держал в своей — и дурак я был дураком, ничего тогда не понимал...

Они рассаживались по своим уже традиционным местам — она на диване, он на стуле — а стол уже был покрыт другой, белой, обеденно-гостевой скатертью, и стояла на нем бутылка «столичной», и начинали расставляться закуски, всегда одни и те же, так что легко было сравнивать, когда что лучше удалось. Паштет из печенки, редька с луком, какой-нибудь салат, какие-нибудь дефицитные консервы, — впрочем, кажется, все они были тогда дефицитными.

Если это был праздник — все равно, пасха, *пирим*\* или Октябрьская революция — ко всем прочим прибавлялись еще и фаршированная рыба, и холодец, и пироги с мясом. Все пили водку, пили с удовольствием, но мало, бутылка была всегда одна — и на четверых, и на пятерых, и на шестерых — годам к четырнадцати мне уже тоже позволяли прикладываться...

О чем они говорили? — О том же самом — но и о другом, но и когда о том же самом, то все равно по-другому, была в них какая-то легкость и непредвзятость, и хотя (сейчас-то я это понимаю) не такие уж они были широкие люди, но и в узости их содержалась и как-то проявлялась ежесекундно возможность многого, возможность разного, вообще, возможность — как нечто противоположное нашей, моей в этом доме — решительной невозможности.

Она снисходительно и красочно рассказывала разные истории о своих соседях-артистах, наверное, это

---

\* Весенний праздник. Следует предупредить читателя, знакомого с еврейским языком, что здесь и далее приводится не литературный идиш, а тот его диалект, на котором говорят украинские евреи или выходцы с Украины. Основное его отличие — иные гласные, несколько далее уводящие речь от немецкой. Например: *гезунд* (нем.) — *гезунт* (евр. лит.) — *гезынт* (евр. укр.); *Заген* — *зоген* — *зуген* и т. д. То же и в словах, идущих от иврита: *пурим* — *пирим*.

были сплетни, но важно было то, что люди в них действовали: репетировал, вышел, убедился, оценил, спела, влюбилась, развелась, переиграла, оступилась, бросила, уехала — все эти рассказы были насыщены глаголами, каких негде мне было больше услышать.

Он тихо комментировал, никогда не форсируя голоса, ровно и спокойно, и от этих скептических замечаний рассказ только выигрывал, приобретал еще большую подвижность и живой объем. Я хохотал до слез над его каламбурами, уж не знаю, так ли они были смешны, какая разница — я хохотал...

Иногда заходил разговор о книгах — всегда ненадолго, чтобы не обидеть Ройтмана, ничего кроме газет не читавшего. «Книжке? Да-а, почему нет! Я читал книжке, по-русски и по-еврейски, как же, читал книжке... Я помогал отцу в лавке (до неприятности хрестоматийная деталь!), в школе я не ходил, но к нам ходил учитель из хедера. Да-а! Как же — ходил учитель и я читал книжке... А потом у меня стала плохая зрения потом, и я уже книжке не мог... Да-а-а, читал, а как же...»

Постепенно мы с мамой начали прибарахляться — купили книжный шкаф («Шка-а-ф? Пусть будет шкаф пусть будет! Это же мебель. Мебель — всегда мебель!...») и потихоньку заполняли его книгами.

Как-то удалось его убедить, что и книги — это тоже всегда книги, верный вклад капитала. Он так и пояснял своим деловым знакомым, как бы извиняясь за это бесполезное и нелепое имущество. Он и им это повторял, уже не как оправдание, а просто чтобы хоть что-нибудь сказать, и они ему эту глупость прощали, как впрочем и все остальное, что могло и, казалось, должно было вызвать их раздражение и насмешку, но, тем не менее, по какому-то молчаливому, раз и навсегда заключенному соглашению — не вызывало.

Мы говорили о книгах (Полевой, Эренбург, Каверин, Маршак...) и он тоже не молчал при этом, а ухитрялся что-то неразборчивое бормотать, то одобрительно, то даже вроде бы и осуждающее, что-то такое мычал все с тем же важным видом уважаемого человека — и я кипел и рвался его разоблачить — и конечно же, никогда этого не делал.

Но, несмотря на такое посильное его участие, разговор о книгах оставался в этом его доме запретным удовольствием, мы все чувствовали неловкость и вину перед ним, даже я — при моей-то ненависти! Все проговаривалось как-то наспех, в конце концов сминалось и сжевывалось, мы (они?) переходили на деловые или политические новости и вместе с сожалением испытывали и неизбежное облегчение: снималась напряженность, которой и так здесь было достаточно.

И вот о чем я действительно жалею — о том, что не могу услышать заново разговоры Абрама Петровича и Якова Самуиловича, постоянные разговоры их о политике. Я плохо в этом разбирался и мало что запомнил, а между тем именно здесь можно было бы уловить неповторимый вкус того компота, который представляло собой их немыслимое мировоззрение.

Оба они были членами партии, вполне исправными коммунистами, и партийность эта никогда не подвергалась сомнению, даже в самых интимных разговорах. Это не было маскировкой, это была вторая натура. Вторая, или может быть, третья, четвертая — кто знает, сколько их было у них в запасе?

Оба они происходили из богатых семей и хорошо помнили, что и как потеряли. Но это было само по себе, а то — само по себе, тут существовали четкие перегородки и никто не посягал на их разрушение.

Они ругали *мелиху* за строгости и дороговизну — и проклинали Трумена за то, что он «против нас». На вопросы мои о нэпе они отвечали строчками из учеб-

ника — и тут же, вспоминая собственный опыт, высказывали нечто противоположное.

Оба они «делали дела», — так сказать, обогащались за счет государства, и Абрам Петрович — не хуже Якова Самуиловича. Но вот передо мной книга, подарок тех лет, «Избранное» Лермонтова — огромный серый том, вмещающий все, как любили тогда издавать. Аккуратным, округлым, старательным почерком, ровными, разнопротяженными строчками с простейшими глагольными рифмами, таким сутулым канцелярским раешником, выполнена дарственная надпись. Абрам Петрович советует мне слушаться старших и быть достойным членом социалистического общества... Нет, воистину есть Божий умысел во всем, что ни делается в мире! Нашему бы детству — да сегодняшнюю критичность — не выжить бы нам ни-почем!...

\*       \*       \*

Книжки на предъявителя были спрятаны в шкафу под бельем, окна забраны решетками и закрыты ставнями, двери заперты сейфовым замком. Но всего этого казалось недостаточно. Наше жилье (уж не знаю, как его называть: комната? — но их было две; квартира? — но ничего кроме комнат не было...) по вечерам не оставалось без присмотра. Кто останется дома? — это был вечный вопрос, который решался всегда однозначно: дома оставался я.

Мама и он — куда они ходили? В гости. В театр.

Незадолго до своего разгрома Еврейский театр, всегда наполовину пустой, устроил вечер для «еврейской общественности». Можно представить себе лицо этой общественности, если в число ее попали такие деятели, как Абрам Петрович и Яков Самуилович!

Собрали некоторое количество эстрадных, оперных и драматических артистов, согласившихся (и не

побоявшихся) вспомнить, что они евреи, и устроили концерт — в фонд помощи театру. Помню — по рассказам — что были там Эммануил Каминка и Марк Хромченко, и Михаил Александрович, и Пантофель-Нечецкая, и еще какие-то «оказавшиеся». Вел концерт Михаил Гаркави, который всячески намекал на свою непричастность, на то, что его пригласили со стороны, упросили, чуть ли не наняли. («Нанять *гоя*»\* — есть такой популярный оборот).

Еврейская общественность прослушала еврейский концерт, отработала еврейские речи и здравицы, пощекотала свои еврейские нервы и купила по абонементу на очередной еврейский театральный сезон. Таким образом участь моя была решена. Два-три одиноких вечера в месяц в мерзкой этой квартире (все-таки — квартира?) были мне обеспечены.

И вот я сижу один в пустоте и сырости, сижу на диване и читаю книгу, тускло светит оранжевая мухоловка — у нас отдельный счетчик, и мы экономим на электричестве, — в четвертый раз я читаю «Двух капитанов», «Ромашка?! — вскрикивает Саня — Я его убью!», но больше я не могу, я устал, я хочу спать. Но спать мне нельзя. Стоит мне закрыть глаза — и из той, второй комнаты, полуприкрытой белой масляной дверью, из мягкого черного вещества, заполняющего пространство между створок, выйдет, размеренно покачиваясь и отбрасывая огромные крылатые тени, выйдет и пойдет, и захочет в зловещей истерике, и... нет, лучше об этом не думать.

Знаменитый ключ торчит в двери — считается, что это мешает грабителю отпереть дверь снаружи. Рука у меня дрожит, я открываю и выхожу в уборную. В уборную мне не надо, но не могу же я покинуть свой пост без особой причины. «В уборную» — говорю я себе и долго топчусь в коридоре до и после,

---

\* Нееврея.

прислушиваюсь к звукам, принимаю к запахам, греюсь, топчусь и тяну резину. Проходят соседи, интересуются, чего это я... Открываю дверь, ныряю обратно. Бодрыми шагами я прохожу сразу во вторую комнату, включаю там свет и возвращаюсь на диван. Теперь он сможет вылезти только из-за шкафа или из-под кровати. Я успею увидеть с большого расстояния — успею повернуть ключ и убежать. Надо только смотреть туда, в самый конец, смотреть, не отрываясь, чтобы не упустить момент. Я смотрю, смотрю, смотрю, глаза мои слезятся, я боюсь моргнуть, серый туман стелется передо мной, предательский серый туман, из-за которого как раз-то и...

Меня будит стук в дверь. Я вскакиваю, хватаюсь за ключ, отпираю — нет, я не отпираю, я толкаю дверь и она открывается — я забыл запереть. «Я тебе говорю я тебе, я больше никуда не пойду! Иди сама, иди в театр, иди в ресторан, иди, куда хочешь, а я сам останусь и буду сторожем. Он хочет, чтобы меня обокрали он хочет! Не знаю, не знаю... Ему трудно запереть на ключ! Он знает одно: прийти, нажраться и сесть с книжке... Я должен ставить головы и все отдавать вора, пусть приходят и берут! А я тебе говорю — потому что он не знает заработать рубль! Если бы он знал заработать рубль...»

«Сашенька, почему ты не спишь? Завтра в школу, разве можно так поздно? Ладно, ложись спать и не возражай! Тебе говорят, ты слушай и не спорь. Не надо, сынок. Ложись спать...»

«Нет, ты посмотри, посмотри-но сюда! Посмотри сюда, я тебе прошу! Здесь горит свет! Ему мало одной комнаты, он должен включить все лампочки, он делает ёнты, праздник он делает, как будто у меня миллион денег и я могу платить за него, сколько ему влезет!»

Так кончается мое одиночество.

.....

«О! Наконец-то!» — глаза у мамы были тревожные, красные, лицо невыспавшееся. — «А что случилось? Ты что, волновалась? Да что со мной могло...» — я осекся. Дело было не во мне. Что-то действительно произошло. В доме переполох. Яков ходит в пижаме, роется в шкафу, открывает и закрывает чемодан. «Вторник, — подумал я. — Будний день...» На меня он даже не взглянул. «Дай ему, — бросил он маме, — пусть он отвезет...» — «Он устал? — полусказала, полуспросила мама. — Пусть, может быть, чаю попьет?...» — «Нет, вы послушайте! — взвился он гнусавым фальцетом. — Нет, вы послушайте, что она говорит! Мне уже — все, мне конец, мне крышке, а он будет сидеть и жрать. Что ему, плохо? Что ему, жалко? Я буду лизать говно, а он будет пить чай. Гит! Хорошо! Погладь его по головке...» — «Ну, ладно, — сказала мама решительно-примирительным тоном. — Ну, ладно, перестань. Сейчас он поедет».

Сейчас я поеду. Я уже приехал. Теперь я поеду. Куда? «К Марии Иосифовне, — сказала мне мама, подчеркнуто твердо, так, чтобы он слышал и не очень-то на нее обижался. — Отвезешь вот этот чемодан. Не задерживайся. Туда и обратно».

Больше я не спрашивал, что случилось, не спросил и что лежит в чемодане, не спросил ни о чем и у Марии Иосифовны, а только поддакивал ей и пожимал плечами, так, как будто знаю не меньше ее, но не хочу говорить лишнее. Опять, как и прежде, все разуме-лось само собой. Молчаливый всеобщий наш договор действовал — я был не в силах его нарушить.

Всю ночь они с мамой не спали, ждали, когда придут. Пришли уже под утро, я проснулся от стука в дверь и как-то сразу понял, что просыпаться не следует. Я лежал, повернувшись к стене, старался ровно дышать, и меня не потревожили: обыск был чисто формальный, они знали, что он предупрежден. Две



соседки были понятыми, сидели молча, подавленные. Те трое ходили по комнатам, переговаривались — в общем, набралось достаточно много народу. Он держался спокойно, не суетился, не причитал, ни о чем не просил. «Одевайтесь», — сказали ему. Он оделся, обнял маму, сказал «не волнуйся» — и вышел.

Как это так получилось? Я не радовался его уходу. И не потому, что мне было жаль, это потом уже, через годы, стал я его жалеть — я не мог радоваться, потому что не должен был радоваться.

Моего отца (так говорили соседи, так говорили ребята во дворе, так говорилось у нас дома чужим, непосвященным людям, посвященным в его — не в мои — дела), моего отца постигло несчастье — нельзя же было этому радоваться. Это был естественный и бесспорный запрет — а запретов я не нарушал.

Разумеется, и свободу, которую я вдруг получил, и легкость, которая воцарилась у нас в доме, я не мог не почувствовать и не оценить — но и в этом я не давал себе воли, жизнь моя должна была отравляться мыслями о бедственном его положении — и она этими мыслями отравлялась.

Участвовало ли здесь ну хоть самую малость некое доброе начало, находило ли пищу, развивалось ли? Вряд ли. Не думаю. Ни на секунду не чувствовал я мучений Якова, никаких его страданий не мог вообразить, а только знал доподлинно, что ему плохо, а раз плохо — то не хорошо. То есть, раз человеку плохо, то не может быть от этого кому-нибудь хорошо. Мне, например. А то, что мне самому было плохо при нем, — это теперь тоже стало запретной темой, и не темой даже — а мыслью. Удивительно! Даже в сердце своем не мог я нарушить.

Впрочем, это можно истолковать по-разному. Не таковы ли, скажем, вообще истоки морали? Как там у Ницше? Стадо боится личности и защищает себя моралью. Я — стадо, он — личность. Ну, я, допу-

стим, стадо. Но он?!.. А что ж, почему бы и нет? Очень даже может быть!..

Но так или иначе, а легкость я ощущал. У себя дома я стал как у себя дома: спал спокойно, читал за обедом, паял и клеил прямо на столе (разумеется, сняв скатерть, постелив клеенку, положив фанерку)... Ко мне приходили. И девочки тоже. Это были из нашей компании, свои домашние девочки, но все равно — раньше об этом и думать было нельзя. Хотя и то справедливо, что немногим раньше я и сам не очень-то об этом думал...

Каждый месяц двадцать третьего числа мы с мамой отвозили в тюрьму передачу. Двадцать третьего принимали на букву «Р». В этот день я на всю катушку растравлял свою грусть и свое сочувствие — не для внешнего вида, а искренне, по душе. Но была эта грусть беспредметна, и сочувствие это было безлично, как в день поминовения усопших — не каких-то конкретно, а так, вообще... И вот что еще любопытно: при всей пресловутой своей впечатлительности я не запомнил ни здания тюрьмы, ни дороги к ней от метро, никого из людей, ожидавших очереди, ни самой процедуры приема. Помню только запах — колбасы и яиц. Да еще лоток перед окошком, широкий лоток, обитый белым оцинкованным железом. Надо было упереться в него животом, перегнуться и вытянуться вперед, и толкать и подсовывать пакеты и банки, и протискивать их в глубину окна, пока хватало кончиков пальцев.

Показалось мне в эти дни, что и мама тоже, не столько что-нибудь там такое, сколько честно и добросовестно выполняет свой долг. У меня же и долга перед ним никакого не было, никакой вообще между нами не было связи.

Не было — но вдруг она обнаружилась.

.....

Энергичные жены, заседавшие у нас в субботние вечера, сумели купить кого надо (уголком уха я слышал что-то о семидесяти пяти тысячах, но, возможно, это была только часть общей суммы), и вот уже моя мама ждала назначенного часа, чтобы ехать за ним, и нервно ходила по комнате, поблескивая прекрасными своими глазами, и с заметным внутренним усилием, как заглохший мотор, разогревала и поддерживала в себе давно забытую радость.

Как всегда, она здорово пережимала, и можно было опасаться, что весь ее запал иссякнет задолго до встречи, на которой и надо будет его демонстрировать.

Что касается меня, то я был не более искренен, даже, может быть, еще менее: вполне возможно, что ей-то его приезд сулил хоть какую-то радость; мне же — одни огорчения. Тем не менее я не позволял себе огорчаться, как несколько месяцев назад не позволял себе радоваться. И тоже — делал над собой усилие, стараясь припомнить все хорошее, что могло иметь к нему отношение, но, как назло, таких черт, не то чтобы приятных, но хотя бы нейтральных, набиралось в моей памяти не более двух-трех, и не то что на образ — на простенькую схему не мог я ничего наскрести. Зато всякая горькая муть поднималась со дна от усилий и крутясь, как смерч, оставляла на дне воронки совсем иную фигуру, противоположную той, что привиделась мне в моих добродетельных снах. И вот, не успевал я опомниться, как уже наслаждался реальностью этой фигуры, забыв подумать, хорошо это или плохо, любовался четкостью ее линий, чуть дрожавших под напором моей ненависти — такого странного, такого сладкого чувства, так давно я его не испытывал!..

— Был ли я к нему справедлив? — спросите вы сегодня. — Нет, — отвечу я вам сегодня же, — я не был к нему справедлив. — Так ли уж был он ужасен?

— спросите вы вслед за этим. — Нет, — отвечаю я вам, не помедлив, — нет, он не был ужасен. Жалкий сутулый еврей с крючковатым носом... Да: скупой!.. Но, уж это просто смешно, это просто нелепо, это, я бы даже сказал, унинительно — заводить сегодня всерьез разговор о скупости, и не так мы просты, чтобы во-время не понять, что скупость Якова — есть лишь внешнее проявление чего-то иного, лишь некий конкретный символ, лишь поверхностный результат, доступный простому глазу, за которым стоит целый ряд глубинных процессов, связанных с самыми тонкими...

\*       \*       \*

Гладкая прямоугольная восьмиэтажная коробка из крупных панелей в мелкую шашечку; тугие стеклянные двери туда-сюда; толпа робующих родственников; соки, компоты, свертки, букеты; мокрая, расплзающаяся бумага: полиэтиленовые мешочки были еще в новинку...

Мы прошли беспрепятственно: он считался тяжело больным, к нему был выписан пропуск. Мы поднимались в лифте на пятый этаж, мама смотрела прямо перед собой, в свое отражение на пластиковой стенке, и молчала. Я тоже — не знал, что сказать, перекладывал из руки в руку ее тяжелую черную сумку, в которой были такие же, как у всех, компоты, свертки, пакеты, никому уже не нужные, хотя тогда еще в этом не было полной определенности.

Я давно уже жил отдельно от них, две недели назад у меня родился сын, и сейчас каждый мой день до краев был заполнен заботами, насыщен подробностями и деталями той странной, напряженно-праздничной жизни, где нет мелочей, а все одинаково важно. Маленький крикливый зверек, странным образом имевший ко мне отношение, оказался в центре мира, все же остальное, и люди и предметы, играло лишь

вспомогательную роль, было лишь средством для его существования и исправного функционирования. И если раньше, когда я жил для себя и отчасти для другого, эта самая часть взаимно перекрывалась и была оттого незаметной и вроде бы как и не обязательной, — то теперь жизнь для другого становилась безоговорочной необходимостью, я уже не мог не отдавать свою часть, он не мог ее у меня не брать — от этого зависело все.

Он лежал на спинке, работал беспорядочно своими тонкими паучьими лапками с красными, подопревшими пальчиками, — и орал... Я ложился рядом с ним, рассматривал вблизи сморщенное его личико и не уставал поражаться его сходству с моим. Не может быть, — думал я часто. — Не может быть, чтобы так точно! — Я — это я, никто не может быть иной, кроме меня. Но ведь вот же, пожалуйста! Как же так? Да, да, не во всем, да, да, он будет меняться, пусть так, пусть с любыми мыслимыми оговорками — но вот я смотрю на него и вижу: это я. Как-то сразу, в несколько дней, я почувствовал, что получил, наконец, самое главное, то, чего мне еще не хватало: и смысл жизни, и бессмертие, и стабильную, верную точку опоры, ни от чего не зависящую, никаким не подвластную случайностям...

И так я был полон этими заботами и этими мыслями, что ни для чего другого не было во мне места. И вот теперь это место потребовалось, приходилось потесниться, и вот уже я стоял в лифте, вертел сумку с компотами и не очень-то понимал, где я и зачем.

«Возле третьей палаты», — сказали в справочном. Он сидел на раскладушке в коридоре, и то, что сидел, а не лежал, было еще страшнее. В лежащем человеке не так видна беспомощность, лежит себе и лежит, то ли думает, то ли спит, то ли умер уже... Здесь нет почти никаких вариантов позы: ну руку на грудь поло-

жить, ну голову вбок повернуть. У сидящего возможностей несравненно больше...

Он сидел на раскладушке, и еще издали, еще до всяких всматриваний и оценок, пронеслось у меня в голове: труп! Именно так должен был бы сидеть труп, если бы его посадили. Но уже за десяток шагов начинало слышаться его страшное астматическое дыхание, хриплый свист, автономный, отдельный, бессмысленно холостой, скользящий туда и обратно без всякого зацепления.

Он сидел, опершись на подушку, лежать он уже не мог — задыхался, грузное его тело глубоко прогибалось матрас, так что колени приходились на уровень груди. Руки были безжизненны, ногти на пальцах посинели. Простынь под ним была черна от какой-то невиданной блевотины — никто не подходил к нему, никто не убирал.

Он услышал нас, приоткрыл глаза, поймал промежутки между свистами и прошептал: «Драсти». — «Ну как?» — спросила мама, и он немного пошевелил губами и чуть-чуть качнул головой. Это должно было означать, что плохо.

Жить ему тогда оставалось два дня, и умереть он должен был не от астмы, которая мучила его уже много лет, и не от холецистита, который ему ошибочно диагностировали врачи, а от самого обычного аппендицита, который эти врачи проглядели.

«Все там будем, — сказал мне патанатом, — годом раньше, годом позже — какая разница!» — «Никакой, — ответил я ему, задыхаясь от злости. — Но вы-то наверняка предпочитаете позже». — «Ну, ну, — сказал он мирно, — ничего не поделаешь. Человек же не прозрачный, кто его знает, что у него внутри!..» — «Господи! — закричал я, — да что вам душу, что ли, предлагают лечить? Уж кишки-то можно было прощупать? Что проще — аппендицит! Просто поленились

— и нет человека!» — «Все правильно, — сказал он, отдавая мне справку о смерти (я взял ее нерешительно, сначала взглянул на его руки). — Все правильно, только — не по адресу. Мы-то ведь не лечим, это они лечат. — Он кивнул в сторону больничного корпуса. — То есть они думают, что лечат. Но мы-то, анатомы, хорошо знаем: вылечить человека невозможно. И пытаться не надо — все равно обязательно умрет. И поэтому мы не лечим, а режем то, что осталось. Уж вреда, по крайней мере, никому не приносим, смею вас уверить... Будьте здоровы, молодой человек! Не болейте!» — он широко распахнул передо мной дверь, и я вышел наверх, к похоронному автобусу, в котором уже стоял желтый, дощатый, с дверными ручками по бокам...

Но тогда он был еще жив, сидел на раскладушке, вернее, находился в сидячем положении, и мама бросилась к сестрам — за простынями, уколами, кислородными подушками...

Мы остались с ним одни — если можно так сказать: весь коридор был уставлен разнокалиберными койками, и в раму его раскладушки упиралась тумбочка соседа. Но все же мы были с ним одни, как-то это сразу почувствовалось — и он поднял веки и взглянул на меня — не вообще взглянул, а именно на меня — и губы его снова зашевелились. Я не мог ничего разобрать, сказал на всякий случай «да, да» и кивнул головой. Но ему было важно, чтобы я понял, я увидел с ужасом, как слезы выступили у него на глазах — никогда раньше я не мог бы представить его плачущим, может быть, это было от чрезмерного физического напряжения, может быть — от отчаяния, но возможно, что и от другого. Он заметно напрягся, стал дышать еще громче, но и те звуки, которые он сознательно и с таким трудом пытался издать, стали складываться в нечто определенное, и вот — «Как

там маленький? — услышал я, содрогнувшись. — Как маленький?..»

Что-то я бормотал в ответ, поспешно и благодарно, но он уже обмяк и потух и вряд ли меня слышал...

И вот, все, что я написал о нем раньше, — было ложью, хотя и правдой. Все это было ложью, так как было только частью правды. Я писал так, будто и сейчас, в момент писания, жил в том далеком времени, будто и сейчас не знал этой последней сцены, этого его последнего ко мне обращения, на которое он израсходовал свои последние силы. А ведь я уже знал, когда писал. Как же я мог?!

И теперь я должен вернуться назад и продолжить рассказ о том, как он приехал домой после полугодовой отсидки и как стало мне плохо жить на свете (а мне действительно стало плохо); как уже ежедневно повторял он, что я слишком много ем, и снашиваю обувь, и протираю одежду, и что куча денег, на меня истраченная, никогда уже не окупится, как я рвался бросить школу и уйти из дому, но жалел маму и не бросал...

И опять я буду рассказывать так, будто не знаю, что он уже умер, как не знал в то время, что он умрет (хотя как же не знал? — не думал!).

И вот есть у меня убеждение, что не надо этого делать. И как ни готов я к этому рассказу, как ясно ни чувствую я будущую его органичность, как ни соответствует он общему моему настрою — я не буду его писать вовсе и даже уточнять не стану, почему. Скажу только, что литература для нас хотя и главное, но все ж таки не единственное развлечение.

Есть и другие игрушки.

.....

Яков вернулся и все пошло по-прежнему. Дня три у нас был праздник, приезжали друзья и родственники,



поздравляли, слушали рассказы, пили и ели. «Ну, Ройтман, — говорил Абрам Петрович, — так вам и надо. Теперь вы будете ценить, как готовит ваша жена!..» — И он выразительно смотрел на маму. — «Абраща! — ловила его взгляд Мария Иосифовна, — тебе бы это все равно не помогло, тут бессильны любые тюрьмы». — «Ну, ну, дружок, не преувеличивай, я-то тебе цену знаю...» — и он демонстративно целовал ей руку. — «И все-таки, — продолжала она, — мне кажется, ты завидуешь Ройтману...»

— Не дай Бог! — вставлял Яков, ничего не понимая. — Не дай Бог! Врагу не пожелаю!

Они переглядывались и начинали смеяться, он подхватывал, мама тоже вступала, чтобы не портить компании — и так они смеялись все четверо, каждый о своем.

Но рассказы его о тюрьме производили сильное впечатление. Я убежден, что и сейчас нам только кажется, что «всем всё известно», на самом же деле — далеко не всё и далеко не всем, просто каждый возвращается в замкнутом пространстве и плохо представляет себе, что делается в соседнем слое. Но тогда, более двадцати лет назад, круг осведомленных (считая осведомителей) был уже еще во много раз, мы-то уж в него никак не попадали. И те картины, что рисовал он перед нами гнусавым своим и хромящим русско-еврейским голосом, казались чистой фантастикой. Но он никогда не врал — это было всем известно, то ли воображения у него не хватало, то ли правдивость и действительно входила в его понятие о кодексе чести, — всему, что он говорил, можно было верить на сто процентов. Все испытания — стоячие боксы, и парилку в тулупе, и стоваттную лампу в глаза, и соседей-уголовников, и битие и угрозы — все он выдержал стойко, ни в чем не сознался, это было также хорошо известно, иначе бы и не удалось его вызволить. Но самая удивительная новость, которую он со-

общил, касалась не его самого и не условий содержания в тюрьмах, а совсем, совсем иного.

«Я вам скажу одну вещь я вам скажу, — почти прошептал он, оглянувшись на дверь, — в тюрьме об этом все говорят, но вы не поверите. Этих врачей, которых посадили в январе («Да-да-да! — уже заводился мой дядя. — Не может быть!»), этих врачей, что посадили в январе, — так они невиновны!»

Я хорошо запомнил, как начинался этот страшный день. Дядя Леша Попов, Царствие ему Небесное, больной был человек, через месяц умер от лейкемии, — постучался к нам в дверь, чего раньше никогда не делал, и, не дождавшись ответа, вошел в комнату, что, тем более, было совершенно необычно. Его серые полосатые холщевые штаны были заправлены в сапоги, ремень с армейской звездой сполз под набухший, нездоровый живот, в руках он держал полуразвернутую газету.

— Читали? — спросил он без всякого предисловия. — Ваших-то разоблачили! («Кого? Что?» — вскочила со стула мама.) Ишь они что сделать-то хотели, ваши-то! всех хотели убить. Хитрые, ничего не скажешь. Ну и наши — тоже не промах, раскусили. Ну, — продолжал он невозмутимо под маминым слезами наполненным взглядом, под ее жгучими, готовыми выпрыгнуть из орбит глазами, — кое-кого они, конечно, успели. Ну, это им, конечно, зачтется. Хотя, тех-то, конечно, не вернешь. Ну, зато уж этим покажут. Теперь-то вам всё, теперь вам крышка, это уж ясное дело. Так оно всегда и выходит, сколько волка ни корми...»

— Леша, скажи, что случилось, — тихо выдавила мама.

— Да ну? Не читала еще? Ну вот, все читали, а тут... Сапожник, как говорится, — и без этого... На, почитай, потом вернешь...

Повернулся и вышел.

Сколько мы просидели над этой газетой? Сколько раз прочли от начала до конца, от середины — в обе стороны. Каждое слово — как лед за воротник.

— Господи! — стонала мама. — Что теперь с нами будет! И ведь все такие знаменитые, все обеспеченные, как сыр в масле катались. Господи, ну чего им не хватало? Из-за них, из-за таких, как они, только из-за них все наши несчастья!..

Я учился тогда во вторую смену, успел еще напереживаться дома, кое-как сделал уроки — и поплелся...

.....

Мы живем, соответствуя обстоятельствам, применяясь к требованиям момента. Мы живем, как автобусные пассажиры: пробираемся тяжело и суетливо в спрессованном слое таких же, как мы, и раздутый портфель, где в одном отделении книги и папки, а в другом — пакет гниловатой картошки, две пачки пельменей и батон за тринадцать копеек, немыслимый этот портфель буксует сзади в чьих-то ногах, на ходу различая на грубую ошупь чулки и штанины. И пока мы движемся так вперед — а мы движемся точно вперед, один из немногих случаев, когда в этом есть полная ясность, — мы меняемся неузнаваемо, мгновенное бытие формирует наше сознание, и тот, кто стоял у входа — один человек, а тот, что стоит у выхода — совершенно другой, хотя бы и с тем же портфелем...

.....

— Слушайте меня, слушайте, — говорил Яков громким шепотом, — я вам скажу, что эти *хозеры*\* теперь не успокоятся, пока не уничтожат всех *идн*\*\*. Посадят, выселят, — я знаю? — но в Москве никого

---

\* Свиньи.

\*\* Евреев.

не останется в Москве. Кейн *идн* в Москве не останется — ни одного!

— Как пить дать! — вторил ему мой дядя. — Конченные мы люди! Из Давыдкова уже выселяют. Говорят, в Биробиджане строят бараки.

— О! Бараки! — поднимал палец Яков, — что я вам говорил?

— Так нам, жидам, и надо! — вдруг сказал Абрам Петрович. — Так нам и надо!

— Почему вы говорите почему? — встрепенулся Яков с кривой улыбочкой, ожидая очередной хохмы. Но Абрам Петрович был абсолютно серьезен.

— Эти врачи — возможно, они и не виноваты. Хотя тоже еще надо проверить.

— Там проверят, — ответил ему Яков. — Можете не беспокоиться, там хорошо проверяют, лучше не надо...

— ...Может быть, врачи и не виноваты. Но сколько было действительно виноватых? Сколько было среди *идн* контрреволюционеров? Возьмите Троцкого. А Зиновьев? А Якир? Нет, так нам, жидам, и надо, всегда мы лезем в чужие дела! — и он с вызовом посмотрел на Якова.

Но Яков молчал, обдувал губу и водил, и водил ладонью по скатерти — катал и катал свои хлебные крошки...

Яков вернулся в конце февраля, а еще через несколько дней появились в газетах тревожные бюллетени. Помню, я долго не мог привыкнуть к такому значению этого слова и все представлял себе голубой хрустящий листок бумаги, который, посоветовавшись, заполняют тушью (всем — чернилами, а ему — тушью) взволнованные врачи: бюллетень — разрешение Сталину не ходить на работу...

.....

Нет, это все-таки удивительно, в каких разобщенных, в каких изолированных слоях мы живем!

Вот они, сороковые — пятидесятые. «Сороковые, роковые, та-ра-та-та, та-ра-та-та...» Но где же ежедневный политический гнет, где постоянный страх потерять последнее, где умный скептик, в тайных беседах объясняющий неразумному юнцу страшную несправедливость происходящего? Где мечты о свободе, о смерти тирана?...

Вот уж чего не помню, того не помню. И как не было у меня ни одного знакомого с телефоном и ванной, так и не знал я никого с политической статьей, а тем более — скептика, объясняющего несправедливость. Врачи — и вернувшийся Яков, вот первый конфликт подобного рода, первый огонек в моем сознании. Но и он ничего вокруг не зажег, а так — горел сам по себе.

Тот ограниченный слой, в котором я находился, видимо, не подлежал или подлежал в значительно меньшей степени, чем остальные. Здесь тоже сажали — но за взятку, за халатность, за хищение социалистической собственности. Можно подумать, что я жил в притоне. Нет, среди мирных и по-своему честных людей.

Мечты о свободе, о смерти тирана... Прямо стихи какие-то получаются. Переводные. С венгерского, например, по подстрочнику...

Нет, какие уж там мечты! Он умер сам, от особой болезни, от «чейн-стоксова дыхания» — никогда больше не слышал, ни до, ни после, ни про какого другого больного. И действительно, не мог же он дышать как все люди. Вот и проявилось у него в последний момент это дьяволово дыхание, учащенное, с клубами огня и дыма. И ведь что за название! Такой сильный русский суффикс, что начисто забивает английскую основу. Чейн-стоксово: чертово, скотово, псово...

.....

А все-таки, если взять себя крепко за грудки и допросить с пристрастием, то и обнаружится все, что должно было обнаружиться. И вечный страх — хотя бы перед школой, хотя бы перед лагерем, хотя бы перед пионерским. И если угодно, мечты о свободе, — ну хоть тайное чтение «Золотого тельца», и стихи Есенина в списках, и песни Лещенко на рентгеновских пленках. И мудрый скептик — тоже обнаружится, но для этого мало взять себя за грудки — надо еще хорошенько набить себе морду. Потому что — чем только не забивал я голову в лучшие свои годы, в то время как рядом со мной жил этот замечательный человек, и стоило лишь задать вопрос — он включался как магнитофон и всегда был к моим услугам, надо было только сидеть и слушать, и глотать и впитывать и запоминать... Но все это казалось мне старческим бредом, лишенным смысла, и я старался не задавать никаких вопросов.

Это был... Да, конечно, это был мой дед, отец погибшего моего отца, и потому я не упоминал о нем раньше, что все же он не был магнитофоном, а всего лишь живым человеком — пока был живым. Все его пленки умерли вместе с ним, я же, по глупости и сомнению, так мало переписал в свою память, что вряд ли имеет смысл воспроизводить.

Но вправду ли, так ли уж был он мудр? Господи, какая разница! Это был единственный мудрец в моей жизни, другого мне не положено, и значит никто не может занять его место, никто, кроме него самого. Ни в жизни, ни в этой книге.

И сейчас я попробую — чувствую, что обязан это сделать, — собрать по крохам то небольшое, что смогло удержаться в моей памяти вопреки брезгливому, сопротивлявшемуся моему сознанию.

Дед приехал с Украины, из-под Винницы, и поселился в нашем особняке, в маленькой, восьмиметро-

вой комнатухе, бывшей моей детской. Он приехал — а мы уехали, как раз комнатка для него и освободилась.

Впрочем, конечно же, в Москву он прибыл не с Украины прямо, а из Средней Азии, куда привезли его в сорок первом больного, почти без памяти; где-то в Житомире навсегда осталась его жена, моя бабушка, поехала к родственникам в гости, да так и застряла до прихода немцев. Как она погибла, никто не знал, но деду мерещилось, что ее закопали в землю живьем, и когда он бредил — а он часто бредил, при любой болезни: простудился ли, желудок ли прихватило — он всегда плакал и кричал: «Руки! Руки ее шевелятся! Что же вы смотрите? Руки — вот, вот они! Вот где надо копать, разве вы не видите?!» Это он кричал по-русски, или на том языке, который считал русским, обращаясь, по-видимому, к каким-то окружающим посторонним людям. Затем он замолкал на несколько минут, после чего снова начинал всхлипывать, но теперь уже разговор шел по-еврейски. Теперь дед разговаривал с Богом, жалобно и просто до фамильярности, причем, судя по всему, он слышал Бога не хуже, чем мы — его самого. «*Нейн*, — повторял он по нескольку раз, — *нейн, Готыню!..*»\* Затем следовала некоторая пауза, в течение которой Бог, по-видимому, уговаривал деда. «*Нейн, Готыню*, — ворчал дед, внимательно и терпеливо выслушав Бога, — *нейн, Готыню, их выл ныт лыбн. Фар вус, Готыню? Фар вус Ди гибст мир азелхе цурес?*»\*\* Но Бог, должно быть, продолжал настаивать и находил достаточно убедительные доводы, потому что дед начинал соглашаться и плакать. «*Ё, Готыню, Ди быст герехт. Ди быст*

---

\* Нет, Господи.

\*\* Нет, Господи, я не хочу жить. За что, Господи? За что Ты даешь мне такие несчастья?

*герехт, о! Ди быст герехт! Их бын шильдык, майн Готыню, о! Их бын шильдык!..»\**

Через несколько лет мы узнали от случайных знакомых, что бабушку действительно закопали живьем, вместе с большой группой стариков и старух. Все старательно скрывали от деда это известие — глупо, он ведь и так всё знал...

Не знаю, был ли дед праведником. Вряд ли. Может ли праведник ругаться и пить? Дед же — пил и ругался. Пил он — не так, чтобы пил, но в тумбочке у него постоянно имелась четвертинка и он принимал ложку-другую каждый раз перед едой, утром, днем и вечером. Руки у него дрожали от слабости — было ему тогда под восемьдесят — он ставил на стол гра-ненный стакан, накрывал его сверху столовой ложкой и в эту ложку, опирающуюся о края стакана, — осторожно лил из бутылки. Лишние капли не пропадали, падали в стакан. Он выпивал водку, как лекарство, не закусывая и не морщась, затем наливал вторую, выпивал, затем в эту же ложку наливал желудочный сок — им и запивал.

— Что ты смеешься? — говорил он мне строго. — Это очень полезно для аппетита. Можешь попробовать, тебе тоже полезно, ты такой худой...

Он наливал мне четверть стакана, добавив к тому, что вылилось из ложки. Стакан был грязным и мутным. Я, вообще-то, был непрочь, но не из этого бы стакана...

— Что ты смотришь? — кричал он на меня. — Что ты смотришь, так твою мать! Я его мыл, можешь не сомневаться! Ты думаешь, если дедушка старый, так он обязательно грязный, как свинья! Тебе противно пить после дедушки — так я его мыл, этот стакан, мыл теплой водой, чтоб ты знал! Можешь

---

\* Да, Господи, Ты прав. Ты прав, о, Ты прав! Я виноват, Господи мой, о, я виноват!..



пить, это полезно для аппетита. Только маме говорить не надо, ты же знаешь, женщины не читают газет и они не разбираются в медицине...

— А как же врачи? — спрашивал я, закусывая рыхлым огурцом, который тоже у него — откуда бы? — находился.

— Врачи? — переспрашивал он. — Не говори глупостей. Что знают твои врачи? Кого они вылечили, твои врачи? Особенно эти девки? Я вызываю врача, и приходит девка с прической и маникюром, и не знает, что со мной делать. Потому что бюллетень мне не нужен, а аспирин я и сам могу себе купить. И нитроглицерин у меня уже лежит на столе. Что делать этой бедной девке с таким стариком, как я? Если бы я был молодой парубок, она бы могла соорудить мне глазки и что-нибудь еще, и вышло бы, что она хоть не зря приходила. А что ей делать со мной, когда она ничего не знает и хочет поскорее уйти? Мне ее жалко, я говорю «иди, ничего мне не надо, я уже здоров...»

Врачи! У нас в городе был врач, некто Красовский, видный мужчина, у него был такой выезд, что весь город завидовал — такие были у него лошади. И он лечил весь город от всех болезней, и если он ставил диагноз, так можно было не сомневаться и не звать другого врача, и если он выписывал лекарство, то нужно было принимать именно это лекарство и не думать ни про какое другое. Такой это был врач. Всех он знал в лицо и помнил, кто чем болел и чем у него болели мама и папа, и дедушка и бабушка. Он это знал, потому что это тоже было важно для лечения... Да, да, не смейся, много ты понимаешь!..

Так пришла твоя советская власть, и сначала у него отобрали лошадей, на них стал ездить какой-то комиссар с наганом, тоже еврей, но бандит первой гильдии, а Красовский уже ходил пешком. Он был старый человек, не такой, как я сейчас, но тоже в годах,

и сколько он мог пройти за день? И сколько больных умерло, пока он шел через весь город, это я уже не считаю, потому что это капля в море, если сравнивать с тем, сколько людей тогда убивали, как мух...

— Но ведь это же контрреволюционеров, — вставлял я раздраженно. — Это же всяких бандитов и врагов революции!

— Ну да, ну да, — соглашался он. — Бандитов, ты прав. Вы же всегда правы. И кто вам не лижет задницу, тот бандит и контрреволюционер...

— Дед, перестань!

— Да, да, я уже перестал. Когда вам говорят то, что есть, и вам нечего ответить старому человеку, хоть вы и грамотные и читаете всякие книги, но когда вам нечего ответить, вы говорите: «перестань». — Вставные челюсти клацкали и плясали у него во рту, он плевался и попадал себе на бороду, мне было противно и хотелось уйти, но все же я не был настолько нагл, чтобы прервать его на полуслове. — ...Вы говорите «перестань». Ты так говоришь, и хорошо, что у тебя нет нагана. А у советской власти есть наган, и сначала она говорит «перестань», а потом стреляет тебе в лоб. И, представь, это тоже еще хорошо. Потому что она может сначала выстрелить, а потом уже сказать «перестань»...

— Ну ладно, дед, хватит, ты уж лучше расскажи про этого врача.

— Так я и рассказываю про врача, но имей терпение выслушать все по порядку. Сначала у него отобрали экипаж, и он стал ходить пешком...

— Это ты уже говорил.

— Да. Я вижу, ты очень торопишься. Ничего, твоя Катька тебя подождет. Или Валька...

— Дед!..

— Так сначала они отобрали экипаж, а потом отобрали дом. У Красовского была большая *меш-*

луха\*, свои дети и какие-то сестры и племянники, и он всех кормил и поил, у него было золотое сердце. И всех переселили в две вот такие комнаты, а остальные восемь или десять комнат — я бывал у него, но сейчас уже не помню — заняли такие байстрюки, как ты. Они изгадили весь дом и всю усадьбу, так, что противно стало проходить мимо, и они ходили с ружьями и сняли картины, которые у него висели в комнатах — я знаю, сколько они стоили? — и вынесли их на двор и стреляли в них для гимнастики, чтобы лучше потом убивать живых людей...

Я не верил ни одному его слову, я ерзал на стуле, мне хотелось уйти немедленно, и от этого постоянно-го нетерпения, от этой мысли: «уйти», гудящей в голове, мне становилось чуть ли не дурно. Но дед делал вид, что ничего не замечает. Он сидел за столом, вытянув перед собой длинные сухие жилистые руки, которые всегда казались мне грязными, хотя он мыл их довольно часто — так предписывали религиозные правила. Впрочем, это было омовение, а не мытье — на настоящее мытье у него уже не хватало сил. Я часто сливал ему над тазом и неизменно попрекал его тем, что к мытью он относится вполне формально. Конечно, — что и говорить, — опрятен он не был. Во все времена года он ходил в темных затертых брюках и заплеванном пиджаке, под которыми были грязные, когда-то белые солдатские кальсоны со штрипками и такая же рубаха. Черную бесформенную купку он не снимал даже на ночь, и только в праздники на ее месте появлялась ермолка, тогда становилось видно, что голова у него совершенно лысая, а лоб — высокий, бугристый и на удивление гладкий; все его морщины, казалось, были оттянуты к впалым щекам и костлявым скулам, покрытым негустой рыжеватой бородой. Шея,

---

\* Семья, род.

впрочем, тоже была вся в морщинах и жилах, и огромный кадык туго натягивал кожу.

Никто в доме не относился к нему всерьез, никто не испытывал к нему особой привязанности. Ухаживали за ним эпизодически: вдруг приходило кому-то в голову, что надо выполнить какой-то долг, тогда у него подметали в комнате, или перемывали его посуду, или варили ему суп. Случалось это не часто. Обычно же он сам варил себе манную кашу и ел ее прямо из кастрюльки, так что капли каши белыми сосульками застревали у него в бороде и усах; поев, он бросал ложку в кастрюлю и заливал все это водой — до следующей готовки.

Для мясной и молочной пищи посуда полагалась отдельная, и однажды, когда я в приливе редкого благородства мыл его миски и тарелки, брезгливо беря их за краешек и осторожно, двумя пальцами, проводя по ним мокрой тряпкой, я спросил его, заранее смакуя щекотливость ситуации:

— А что, дед, если я помою все твои тарелки в одной воде, и ты будешь есть рыбу из тарелки, испачканной молоком, — это ведь будет большой грех, правда?

— Так, — кивнул он, — большой грех.

— Ну, а если это грех, то Бог тебя за него накажет? И значит — какой же Он справедливый?

— Ты дурак, — сказал он спокойно. — Ты уже вымахал большой, и тебе давно пора жениться, я не знаю, куда ты смотришь и куда смотрит твоя мама: был бы жив твой папа, он бы нашел тебе хорошую невесту, а я уже старый, я редко бываю в городе, и если с кем-нибудь разговариваю — так с такими же стариками, как я. Но, между прочим, у Флейшмана есть внучка — *а файне, а шейне\**, и комната у нее отдельная...

---

\* Приятная, красивая.

— Ты же мне не ответил, дед, ты же про грех хотел сказать.

— Я хотел сказать, что тебе пора жениться, но ты еще плохо умеешь думать. Ты хочешь иметь дело с Богом, а думаешь, что это такой же слепой старик, как я, или такой же набитый дурак, как твой учитель чистописания... — Прости мне, Господи!..

— Какое чистописание? Нет у нас никакого чистописания. Ты просто не знаешь других предметов. У нас физика, математика, история...

— Э-э, брось! Все это — чистописание, чему еще они могут учить? Они уже все написали сами, и что тебе остается делать? Ты должен аккуратненько и чистенько переписать, и чтоб не было ошибочки, и чтоб не было помарочки, а если что не так, тебе поставят двойку.

— У меня, например, нет ни одной двойки...

— Ну вот, значит ты делаешь всё как надо. Но ты меня перебиваешь и не даешь мне сказать слово... Ты можешь обмануть меня, ты можешь обмануть учителя, но ты не можешь обмануть Бога. И если ты перемешаешь мои тарелки — грех падет на тебя, а не на меня — хотя, конечно, я молю Его, чтобы все твои грехи пали на мою голову... *Умейн!\**

\*       \*       \*

— ...Они стреляли в картины, — продолжал дед, торопясь высказаться и слегка придерживая меня за рукав, — такая у них была гимнастика.

Конечно, еврей не должен иметь нарисованных портретов, но Красовский держал свои картины в одних комнатах, а молился в других, и сам раввин ничего не имел против.

---

\* Аминь.

Ну так. Но потом они стали обыскивать дом и нашли пару золотых колец — сколько там они стоили? — и торбочку царских червонцев. И тогда Красовского забрали в чека, и тот самый комиссар, который ездил на его лошадях, расстрелял его из большого пистолета.

— Откуда ты знаешь, что тот самый комиссар, ты что, видел?

— О! Ты должен доказать, что твой дедушка — старый вун и ничего не понимает и ничего не помнит. Я тебе говорю — тот самый комиссар. А если другой — так тебе легче? Всё это была одна компания...

И вот они убили Красовского, других врачей они тоже убили, а кто-то умер от голода, а кто-то уехал в Америку — и всё, *ын анек!*\* А вместо этого они настроили поликлиник, и в каждой сделали сто комнат, и из одной комнаты посылают тебя в другую, и не знаешь, куда идти раньше, и лучше бы ты уже остался дома, потому что во всех комнатах сидят девки и пишут справки — больше они ничего не умеют делать. У меня уже целый шкаф этих справок, если бы я мог продать их по рублю, я бы стал богатым человеком... И если я еще, благодарение Богу, живу, хотя мне давно уже пора умирать, — так это потому, что я их не слушаю, не принимаю их таблеток, а пью простоквашу и желудочный сок, и что-нибудь для аппетита — и всё.

— Дед, — возражал я ему снисходительно, — ты забываешь, что теперь это всё бесплатно, а твой Красовский небось три шкуры драл.

— Красовский не драл три шкуры, он брал пять рублей за визит, с бедняков дешевле. Это было не мало, но это стоило того. Он работал и должен был получать хорошие деньги, а как же иначе? Но если

---

\* И конец.

твоя *мелиха* такая добрая и хочет, чтобы было бесплатно, — пожалуйста, кто же возражает, пусть бы они платили Красовскому то, что они платят девкам. Сто девок пошли бы домой и миловались с парнями и рожали детей, ну, одну, самую некрасивую, можно оставить, чтоб она выписывала справки, твоя *мелиха* так любит эти бумажки, что не может без них жить, одну девку бы оставили, а Красовскому платили столько, сколько получали не сто, нет, зачем так много? — десять девок. А сколько бы освободилось комнат? И все были бы довольны, и *мелихе* это было бы выгодно, и девки имели бы время миловаться и строить глазки, и Красовский лечил бы людей, а не лежал в яме за домом пьяницы Баскина, как какой-нибудь кусок падали... И лучше бы я отдал пять рублей уважаемому человеку и получил бы хороший совет и хорошее лекарство, чем за бесплатно — эту кучу бумажек, которыми я могу подтереть свою задницу...

— Де-е-душка, переста-а-а-нь, — тянул я.

У нас в семье было не принято, чтобы взрослый, пожилой человек употреблял эти слова. Так могли — в отсутствие взрослых — говорить дети, или не совсем еще взрослые молодые люди. Грубость деда меня шокировала, она отнимала у него остатки моего уважения и была для меня лучшим доказательством его неправоты, помимо всякой логики. Человек, употреблявший такие выражения, не мог быть прав. Не говоря уже о грамматике, о произношении, о языке, которым он изъяснялся...

Именно — не говоря. Я с первого же момента и без всяких сомнений отказался от попытки передать особенности его речи. То, как говорил мой дед, не было искажением русского языка. Нет, какой уж тут русский язык! Он изъяснялся на своем, особом наречии, состоявшем из смеси русских, украинских и еврейских слов с небольшой примесью польских оборотов — это давало ему возможность хвастать, будто

он знает пять языков: «Русский, украинский, польский, — говорил он, загибая костлявые пальцы, — еврейский и древнееврейский! Ну?.. И адрес могу написать по-английски!» — эффектно добавлял после паузы.

Каждый из этих четырех или пяти языков вносил в его речь свои грамматические формы, свою систему слово- и фразообразования. И теперь, когда я пытаюсь восстановить в памяти не самую его речь, но хотя бы ощущение этой речи, мне приходит в голову, что в чудовищной этой каше чужеродных осколков, еще сверкающих зернами изломов и никак, казалось бы, не соединимых друг с другом, — существовала тем не менее определенная закономерность, несомненная естественность, я бы даже сказал — гармония, свойственная всем живым природным явлениям. Это было чудовищно, но это был язык.

И конечно, я не запомнил ничего дословно. Сочинить же этот язык, синтезировать его за столом — невозможно, как — будем надеяться — невозможно синтезировать какое-либо живое явление.

То, что мне удастся вспомнить: общий смысл, интонацию, кое-что из слов и словечек — я и пытаюсь здесь передать.

Но если бы даже я помнил все буквально и дословно (дозвучно — правильнее было бы сказать в этом случае), или же если бы в комнате моего нищего деда действительно стоял магнитофон и я имел бы сейчас в своем распоряжении все пленки с записями его разговоров и мог бы с помощью каких-то одному Богу ведомых значков изобразить все на бумаге — даже такое чудо мало что изменило бы. Образованный читатель (какая старая, лестная, какая милая и приятная формула!), не хуже моего деда знакомый с русским, украинским, польским — не забывайте загибать пальцы! — еврейским и древнееврейским языками и умеющий, сверх того, написать адрес по-английски (интересно, чей это будет адрес?..), образованный



читатель, несмотря на всю свою образованность, не мог бы здесь понять ни единого предложения.

И пришлось бы мне тогда на полстраницы текста давать полстраницы перевода — как будто это говорит не полуграмотный старый еврей, а какая-нибудь мадам Шерер...

\*       \*       \*

— ...Подтереть свою задницу! — восклицал дед, и этого было мне достаточно, чтобы считать глупостью все, что он говорил раньше.

Но я чувствовал все же необходимость как-то ему возразить и хватался за первое, что приходило в голову.

— Пять рублей? — переспрашивал я. — Но ведь это, наверное, рублей сто на наши деньги? Где бы ты столько взял, у тебя и теперешних пяти рублей не наберется?..

Не могу сказать, чтобы дед был беден — он был нищ. У него была комната и одежда, и мебель, и посуда («нищие — и те всегда имеют что-нибудь в избытке...»), но ничего у него не было своего, купленного или сделанного для него лично, все было с чужого плеча и с чужого стола — пусть хоть с плеча и стола ближайших его родственников. Он носил заношенные штаны своих сыновей, он сидел за столом своей снохи, моей матери, на стуле другой снохи, моей тетки, ел из толстой пятнистой тарелки, которую сплавила ему его племянница, и спал на дырявом красном диване, который выбросили за ненадобностью новые соседи, въехавшие в прежнюю нашу большую комнату.

Он был нищ — и даже собирал милостыню, но весь курьез в том, что собирал он ее не для себя, а «для бедных». Существовала при синагоге специальная касса для помощи бедным членам общины, и он был кассиром этой кассы. Сам он никогда этой помощью

не пользовался и по странной инерции даже не считал себя бедным. Он получал ничтожную, чисто символическую пенсию от государства, и еще ему по капле давали родственники.

На столе у деда стояла картонная коробка из-под печенья с прорезанной ножом узкой щелью в крышке. Это была копилка для пожертвований. «Шейнк а медуе»\*, — говорил дед всякому входящему, и надо было бросить в щель монетку или, если ты такой добрый, просунуть сложенный вчетверо рубль. Эти деньги дед отвозил в синагогу, в общую кассу, и он же распределял их потом среди нуждающихся. Себя, как я уже говорил, он к таковым решительно не причислял.

Видимо, он считался честным и уважаемым человеком (что может быть выше для еврея?), потому что однажды, когда он сломал себе руку, поскользнувшись на льду у двери уборной, и долгое время не выходил из дому, — сам главный раввин оказал ему честь, навестив его, вместе с женой, и проведя с ним двадцать минут в неторопливой и достойной беседе.

Я имел честь быть свидетелем этого визита. Он произвел на меня впечатление.

В то время мы с мамой уже начали жить иной, обеспеченной жизнью, уже переехали в многолюдный дом Якова Ройтмана, уже перешли как бы в новое качество, в категорию богатых родственников.

И, хотя подлинное и притесненное мое положение никогда никем вслух не обсуждалось, более того — молчаливо предполагалось, что со мной-то все прекрасно и отлично, и что даже если и возникали какие-то трудности, то все равно, «ради мальчика это надо было сделать»; хотя все окружающие вели себя, исходя из этого именно тезиса, и начини я жаловаться, ме-

---

\* Пожертвуйте милостыню.

ня, скорее всего, просто не стали бы слушать, — несмотря на все это, отношение ко мне моих родичей не только не изменилось, но мне кажется, стало еще заботливей и теплее. Слишком они любили меня, чтобы ничего не почувствовать и не заметить.

Но и я тоже — только здесь, в пенатах, в нашей старой развалюхе, с осыпающимися стенами, в захламленном просторном дворе, с палисадничками и огородиками, с косенькими жердочками и заборчиками, сбитыми неверной рукой моего дяди, — только здесь я и чувствовал себя дома.

И много еще лет после переезда я возвращался сюда каждую субботу и чуть не со слезами (а иногда и со слезами) уезжал в воскресенье вечером. Именно так: уезжал — туда, а сюда — возвращался...

— *Шен!* — говорил Яков. — Уже! Он уже собрал свои вещи, и его уже нет. (Никаких вещей я, естественно, не собирал. Просто он пытался придать вес и значительность акту моего отъезда.) Дома ему плоха дома. Здесь его бьют палкой и не кормят и не поят. Ему надо тратить деньги на дорогу и везти гостинец, подарок везти — а как же? — он же не может без подарка! Он уже заработал кучу денег, он гнет спину с утра до вечера и ставит головэ, и рискует жизнь, и у него куча денег и он везет своему дяде подарок. А дядя — ему что, ему разве плоха? Пусть приезжает пусть. Пусть приезжает и пусть везет подарки, дядя только доволен...

Никаких подарков я тоже, конечно, не вез. В свертке, который давала мне мама, лежала какая-нибудь старая дядина же собственная рубаха, трикотажная, скользкая, с двойными коричневыми полосками. Эту рубаху я привозил маме в прошлый раз и теперь, залатанную, зашитую, с перелицованным воротом, увозил обратно. Подарки же — если можно их так назвать — я вез именно оттуда. Это была банка

кислой капусты, сочной, хрумкой, приготовленной с любовью и знанием дела; или свежие помидоры с собственного огорода, душистые, крепкие, с зеленым подсыхающим листиком; или коробка конфет, принесенная состоятельным гостем и оставленная нетронутой — «для мальчика»...

— Какие подарки? — как можно мягче говорила мама. — Где ты видишь подарки? И на дорогу он тоже не будет тратить, поедет на трех трамваях — так даже удобней — и не будет брать билет...

Она провожала меня до крыльца, совала в руку два мятых рубля и говорила нейтральным, примирительным тоном:

— Я надеюсь, ты уже привык и не обращаешь внимания. Езжай на метро, так быстрее... — и целовала меня в щеку.

Я приезжал каждую субботу и оставался ночевать, а в одно из воскресений к деду приехал раввин.

Зима в тот год была неровная, с оттепелями, такие зимы были еще редкостью, не то, что теперь, когда и морозов-то настоящих никто уже не помнит. Зима была с оттепелями, все дорожки вокруг дома обледенели — на этом гололеде и сломал дед свою руку. Я вышел из дому, крутя на пальце ключ от сарая: надо было набрать дров для дедовой печки, — и случайно взглянул в сторону калитки. Такого зрелища я еще не видел: мне навстречу с той стороны забора медленно двигалась огромная серебряная борода.

Размеры бороды были просто фантастическими, и они казались еще больше, благодаря волнам серого каракуля, такого же серебряного, но несколько более тусклого, окружавшим бороду со всех сторон и тяжело нависавшим над нею сверху. Носитель бороды имел черное, длинное — до пят — пальто, опирался на толстую черную блестящую трость, и двигался вперед медленными вращательно-колебательными движениями, подобно балансу в часах или игрушеч-

ному заводному медведю. Он был важен, толст, велик и сиятелен.

Шагах в шести позади него в том же направлении, с той же скоростью и тем же колебательным способом двигалась маленькая толстая женщина с незапоминающимся лицом: обыкновенная старая еврейка, каких миллион на тысячу.

«Почему он — впереди? — подумал я в первый момент. — Мог бы все же пропустить женщину». Но тут же я понял, что иначе и быть не могло. Такая огромная была между ними дистанция, что жалкие эти пять шагов могли служить лишь чрезвычайно скромным вещественным ее символом.

Ну, а насчет того, кто он такой, я не сомневался ни минуты. Мигом я влетел обратно в дом и ворвался в комнату деда.

— *Зейде!*\* — закричал я, почувствовав вдруг необходимость хоть что-нибудь сказать по-еврейски. — *Зейде*, раввин!

— Раввин? Что раввин? — переспросил дед. — Что ты кричишь, как сумасшедший?

Он стоял посреди комнаты в одной рубаше — пиджак его валялся на диване — и подтягивал штаны, перепоясывая их пестрой, связанной из нескольких кусков веревкой, которая служила ему вместо ремня. Штанов было две пары, одни поверх других, да еще кальсоны — все это топорщилось толстыми складками, лезло сверху одно из-под другого, и этот узел с самим собой внутри он тщетно пытался увязать одной левой рукой: правая была у него в гипсе.

— Раввин идет! — орал я. — Приехал к тебе, идет сюда!

— Ты врешь! — сказал дед, и веревка выскользнула из его руки и повисла на отвороте брючного пояса, зацепившись за него одним из толстенных своих

---

\* Дедушка.

узлов. — Ты врешь, это большой грех — так обманывать старого человека...

Но я ничего больше не добавил, он и так понял, что это правда. Тогда он сел на стул и заплакал.

— *Готыню!* — причитал он, заливаясь слезами. — *Готыню*, что же мне делать? Вот ты послал мне такую радость и такую великую честь — сам ребе приехал ко мне домой — и вот я должен принимать его в этом сарае, в этой конюшне, в этом борделе — чтоб она сгорела, эта мелиха, что довела меня до такого позора!..

Я успел завязать на нем его веревку и нацепить ему на шею относительно белую манишку, которую он надевал по праздникам, — и тут в дверь постучали и вошел раввин, неся впереди себя лаковую свою трость. Так дед и встречал его — в одной манишке, в подвязанных веревкой штанах, одну руку, сломанную, тянул для приветствия, а другой, здоровой, пытался зацепить с дивана пиджак. Я помог ему надеть его, пока раввин расстегивал свое необъятное пальто. Вошла раввинша. Дед показал мне на дверь. Выходя, я еще обернулся, взглянул в его взволнованное заплаканное лицо и подмигнул: мол, не дрейфь, дед, все будет о'кей!

— *Майн зйнык!*\* — пролепетал дед позади меня.

— *А шейнер, а клигер ингеле*\*\* — пропел раввин сочным актерским баритоном.

\*       \*  
         \*

— ...Так как же ты заплатил бы за лечение, — спрашивал я деда, — у тебя же нет ни копейки?

Дед смотрел на меня долгим и хитрым взглядом.

— Ты прав! — говорил он решительно. — Ты прав, тебе еще рано жениться! Ты говоришь такие

---

\* Мой внук.

\*\* Красивый, умный мальчик.

глупости, что я вижу: да, тебе-таки рано жениться!

— Ну, ну, ладно, ты ближе к делу...

— О! Посмотрите на этого делового человека! Он спрашивает, где бы я взял деньги, он думает, что я всегда был таким нищим, что я родился где-нибудь под забором, — так его научили в школе, и так он и думает, — что я родился под забором, а не в порядочной и уважаемой семье. Он думает, что я был всегда босой и голодный, и меня угнетали капиталисты, — так ты думаешь, а? А теперь советская власть дала мне эти хоромы, и эти наряды, и эту счастливую жизнь — чтобы твои комиссары имели такую же!

Так вот, чтоб ты знал раз и навсегда, что твой дедушка был состоятельным человеком, не богатым, нет, но хорошему врачу я мог хорошо заплатить и у меня бы еще кое-что осталось. И эти деньги я зарабатывал вот этими руками и вот этой головой (он показывал, какими руками и какой головой).

Я был экспедитором на сахарном заводе, и ко мне приезжали со всей губернии и из соседних тоже, все знали Зильбера и никто не сказал про меня плохого слова — ни русские, ни евреи, ни украинцы, ни поляки. И даже немцы — у нас были и немцы — тоже относились ко мне хорошо. Может быть, это были другие немцы?.. Не такие, что убили бабушку?.. И твоего папу?..

Он начинал трястись и всхлипывать, я не знал, что надо делать, и выжидал, глядя в пол. Он сам останавливался, подсыхал немного и продолжал:

— У меня тоже был дом, и были лошади — не такие, как у Красовского, но на них тоже можно было ездить, — и была мебель, и кое-что из золота, но твои дружки, гори они огнем, отняли все, что у меня было, и дали мне эти хоромы — спасибо твоей маме, у меня бы не было и этого — и дали мне бесплатную поликлинику, чтобы глупая девка бесплатно выписывала мне бумажки!..

Вот такие шли у нас разговоры.

Но я еще раз хотел бы предостеречь читателя от ложного впечатления, будто бы я сам стремился к общению с дедом, будто было мне с ним интересно и весело, и я просиживал у него часами, слушая тихо и внимательно и перебивая лишь для того, чтобы уточнить неясное место или задать наводящий вопрос.

Ничего подобного. Просто я был воспитанный мальчик. Я знал, что, находясь в этом доме, обязан время от времени навещать деда и выслушивать его *мансы\**, но, едва открыв дверь в его комнату, я уже мечтал о том моменте, когда выйду обратно: дед был мне в тягость. Его рассказы очень мало меня интересовали, я вполне бы мог обойтись и без них. Сидеть же в этой комнате мне было неприятно: я брезговал пить и есть, прикасаться к посуде, да и к остальным, вполне нейтральным вещам; я старался сесть подальше от него, с содроганием ожидая того неизбежного момента, когда он, в полемическом запале, начнет клацать своими пластмассовыми челюстями и плевать мне прямо в лицо.

Приезжая и уезжая, я должен был с ним целоваться, это был мучительный момент, и я заранее прилаживал лицо так, чтобы не попасть губами на его вялые влажные губы, с нависающими сверху грязными нестриженными усами...

Но, конечно, в повседневном его существовании были и забавные для меня моменты. Мне нравились все его молитвенные операции, как он надевал *твылн\*\**, серьезно, подробно и внимательно играя в эти детские, как мне казалось, игрушки, прилаживая коробочки, накручивая ремешки: как он набрасывал на голову *талес\*\*\** и сразу же становился женоподобным, плак-

---

\* Сказки.

\*\* Молитвенные коробочки с ремешками, надеваемые на лоб и левую руку.

\*\*\* Молитвенное покрывало.



сивым и жалостливым; и весь его молитвенный бор-мот, вся эта непонятная мне монотонная скороговорка с неожиданно крутыми подъемами и резкими срывами, все это состояло, казалось, из одного плача, из жалоб, просьб и выпрашиваний.

Но была уже в этом для меня и определенная музыкальность, звуковое взаимодействие частей, завершенность фраз и периодов. Это ощущение многократно усилилось, когда он попросил меня помочь ему накрутить ремешок на левую руку: из-за сломанной правой он не мог справляться один. Там был необходим строгий порядок витков, чередование широких и узких промежутков, например: два витка — пропуск, три витка — пропуск, как черные клавиши у рояля. Возможно, впрочем, что порядок здесь был совсем иной, тут важен принцип, важен ритм, неизбежно приводящий к мысли о музыке.

И действительно, все здесь если не игралось — то пелось.

Пелись молитвы, в которых и слов-то, казалось, не было, одна заунывная мелодия; пелась азбука, которой он уговаривал меня учиться, так похожая на сказочное заклинание (*«олеф, бейз, гимел, долед, — четыре буквы в неделю — разве это много? — и через два месяца ты будешь читать, как я, а потом приедут иностранцы — не всегда же будет так, как теперь, — приедут иностранцы, и ты, даст Бог, тоже поедешь в другую страну и сможешь сказать и написать, что захочешь: по-русски там не знает никто, а на идыш\* и лушн-койдеш\*\* всегда кто-нибудь найдется...»*); пелись притчи и истории из Священного писания, которые он кстати и некстати, целиком и по частям пытался втесывать в дурацкую, всеми силами сопротивляющуюся мою башку. Если я и слушал иногда — то только для

---

\* Еврейский язык (идиш), называемый еще жаргоном.

\*\* Иврит; буквально — язык молитвы.

того, чтобы вылавливать несуразности, задавать каверзные вопросы. В общем случае религиозность деда служила мне еще одним подтверждением его умственной неполноценности. К человеку, верящему в чудеса, нельзя было относиться серьезно.

Мне казалось, что все это пришло к нему со старостью, в молодости же он был таким же свободным от предрассудков и разумным человеком, как все окружающие.

Где-то она мне померещилась, эта разумность окружающих?

\*       \*       \*

Мы редко говорили с ним о Боге: он не хотел лишний раз выслушивать кощунственные мои речи, я же знал, что, хоть кол на голове теши — ничего ему не докажешь.

Но однажды, совсем уже взрослым балбесом, я влетел к нему в комнату в праздничном и воинственном настроении. Появился решающий аргумент, которым я собирался если и не уничтожить, то надолго уязвить его веру...

— Спутник, дед! — заорал я ему с порога. — Как тебе это нравится? Искусственный спутник — в Космосе!..

Тут я сразу же, вместе с читателем, испытываю легкую тошноту от банальности ситуации. Что-то такое, многократно виденное и слышанное, какие-то статейки в «Комсомольской правде», журнал «Наука и религия», институтская стенгазета, рубрика «молодой атеист»...

— Здравствуй, — сказал он, вставая со стула. — Мы не виделись целый месяц, но ты не хочешь даже сказать мне «здрассте».

Он уже с трудом передвигался, жить ему оставалось совсем немного.

— Здравствуй, — сказал я ему и притронулся рукой к его скрюченной, навсегда после перелома неподвижной ладони, и ткнулся подбородком во влажные его усы. — Ну что, что ты скажешь? Спутник запустили в Космос, на небо, и где же там твой Бог?..

— Ну, ну, — сказал дед, как обычно, делая вид, что не расслышал. — Не спеши, не спеши, сядь, посиди, расскажи, как мама?

— Что мама?! Мама ничего, нормально...

— Нормально? А голова у нее болит? Болит. Это от желудка! Она не следит за своим желудком. Да, да, можешь смеяться, все болезни идут от желудка. Скоро это откроют твои ученые, меня уже не будет на свете, ты прочтешь и скажешь: О! Старый дедушка был-таки прав! Надо было мне его слушать. Если ты не следишь за желудком — у тебя болит не один живот, у тебя болит голова, и сердце, и геморрой, и для спины и для ног это тоже имеет значение. И настроение у тебя плохое, и ты злой, как собака, и говоришь плохо и делаешь плохо...

(Я слушал молча, я все терпел ради грядущего своего торжества.)

...Но если ты следишь за желудком, пьешь на ночь простоквашу, не кушаешь ничего слишком острого или несвежего — тогда у тебя хороший анализ крови и кишечник в порядке, и голова не болит, и настроение хорошее, и ты веселый и всё у тебя хорошо получается.

Наконец он сделал паузу, и я ворвался в нее, как бандит в приоткрывшуюся дверь:

— Дед, ты же любишь отвечать на вопросы. Вот и ответь мне на мой вопрос: где Бог?

— А что такое, — встрепнулся он, — что случилось? Почему ты спрашиваешь? Бог там, где и был всегда, — на Небе!

— Так, на небе. А где небо?

— Небо? Там (он показал всей рукой, ему трудно было шевелить пальцами).

— Так, хорошо. А что такое небо?

— Не говори глупостей. Небо — это Небо. Ну, конечно, ты читал много всяких книг, и ты мне расскажешь, что это такое. Ну, что ты об этом думаешь?

— Да что же тут думать? Небо — это атмосфера, воздух, небо — это Космос, пустота, это, в общем, просто направление вверх, от центра Земли...

— Угу. Это ты в книжках прочел?

— В книжках, в книжках. Какая тебе разница? Да это в школе проходят, каждому дураку известно...

— Что ты говоришь! В советской школе?

— Нет, в немецкой... Не строй из себя дурачка.

— Я не строю дурачка. Я просто удивляюсь, что в советской школе тоже иногда говорят правильные и умные вещи.

Я только усмехнулся.

— Ты же знаешь, дед, ты уже слышал: запустили искусственный спутник. Ученые давно уже рассчитали законы движения планет, и вот спутник вращается вокруг Земли, движется по тем же законам, его так и запускали, такую давали скорость, чтобы эти законы выполнить, и значит, они верны, раз он там летает.

— Ну-ну, ну-ну... Очень хорошо, пусть летает, разве я против? Только бы не было войны...

— При чем тут война? Я еще раз тебе объясняю: спутник движется по тем же законам, что и все планеты, и значит, для их движения и существования вовсе не нужен Бог — а только законы механики.

— А-а-а! — протянул дед. — Ты опять за свое. Ты молодец, много знаешь: планеты, законы... Я не спрашиваю тебя, кто создал эти планеты и Землю и все такое. Но скажи мне, кто установил законы? Кто, кроме Бога, мог их установить?

— Да никто их не устанавливал, они были всегда.

— Ты говоришь — никто, я говорю — Бог. Ты думаешь, что ты прав, я думаю, что я прав. И никакие твои ученые, даже самые умные — нас не рассудят.

— Ну, хорошо, Бог. Но почему же никто Его не обнаружил? Ни в телескопы, ни в другие приборы... Сначала думали, что Бог сидит на высокой горе. Поднялись на все горы — нет Его нигде. Стали летать на самолетах — ничего похожего. Поднимались все выше, почти уже за атмосферу — с Богом не встретились. Теперь вышли в Космос — уж куда выше — опять ничего не видно...

— Ну, ну, — покачал он головой. — Что мне делать, если ты всегда так торопишься? Ты так торопишься, что тебе некогда выучить *лушн-койдеш* и почитать священные книги. Хорошо, не надо *лушн-койдеш*, Священное Писание есть и по-русски, я мог бы тебе достать... Но тебе некогда, ты хочешь, чтобы тебе сказали одно слово, и всё стало ясно. Всё не станет ясно от одного только слова. Хорошо, хорошо, не перебивай меня, я скажу тебе так, что ты будешь доволен.

Так вот, люди сидят внизу, на берегу моря, и не умеют подняться в гору — и Бог для них на горе. И это правда. Но проходят многие годы, может быть сотни или тысячи лет, и люди поднимаются на гору, и Бога там нет, потому что Он на небе. И это тоже правда. И проходят еще сотни лет, и люди придумывают самолет, и летят прямо на небо — и Бога там нет, потому что Он много выше — как ты говоришь? — да, в Космосе («Космес» — произносил дед), но люди полетят в Космос, и там будет то же самое. Потому что — слушай, что я тебе скажу! — потому что Бог всегда над людьми, и как высоко ни поднимется человек — Бог на пятьсот лет пути будет выше!

— Ну-у-у... — протянул я разочарованно.

— А что же? Ты рассуждаешь, как советская

власть: или то — или другое. А я говорю — и то, и другое. Всему на свете хватает места: и Богу, и спутнику, и самолету. Всему есть место в Божьем мире: и твоей *мелихе*, чтоб она провалилась, и тебе, чтоб ты был здоров еще долгие годы, и мне, чтоб я умер без всяких мучений. *Умейн!*

\*       \*       \*

Он умер без всяких мучений. Дядя зашел к нему утром, окликнул. Он не откликнулся...

Шла пасхальная неделя, и съехавшиеся к вечеру родственники радовались наперебой, как удачно все получилось, какое вышло совпадение, не всякому так повезет. И хотя никто не мог объяснить мне, какие такие привилегии полагаются умершему в пасху, — в том, что это большая удача, также никто не сомневался.

Дед лежал на полу, накрытый белой простыней. Две свечи дымили и оплывали по обе стороны от того, что должно было быть его головой. Те несколько предметов, что составляли дедову мебель, были вынесены на террасу, венские стулья и обшарпанные табуретки рядом стояли вдоль голых стен, и каждый, кто входил и садился, тут же начинал вести свой собственный счет времени, терпеливо дожидаясь момента, когда удобно будет встать и выйти.

Несколько дней назад, а казалось, вчера (заманчиво было думать, что именно вчера) — точно так же выносили мебель и расставляли стулья, и съезжались родственники, и дед был в центре внимания. Наступал первый *сейдер*\*, день, когда вся *мешпуха* собиралась вместе, и это был действительно большой праздник, праздник общего дела, день единения.

---

\* Первый, главный день пасхи.

На месте общего дела помещался общий дед: каждый из нас чувствовал в этот день свое перед ним равноправие и равное со всеми право на него. Отсюда и возникало единение, радостное растворение во всеобщем взаимном расположении, чувство, не столь уж доступное в остальные дни года.

Всю небольшую комнату занимал тогда длинный стол, составленный из собственно стола, и еще тумбочки, и еще кухонного столика, и еще какого-нибудь ящика, поставленного на-попа и прислоненного сбоку — за него усаживали самых младших. Помещались все, сколько бы ни собралось народу. Теснились, устраивались, кто как мог — но дед располагался с удобствами. Он возлежал на подушках у дальней, царской стены, и вся торцовая часть стола была предоставлена в его распоряжение.

Белая крахмальная пелерина покрывала его плечи и грудь, из рукавов праздничного коричневого пиджака высовывались чистые полосатые манжеты, поблескивали стеклянные запонки. Пиджак, впрочем, был так же зашмальцован, как и всякая другая его одежда, но надевался он только по праздникам, а потому и выглядел празднично, несмотря ни на что. Черная ермолка обтекала голову деда, голова без привычного козырька казалась на удивление маленькой и голой.

Дед был похож на капризного ребенка. Сидел в своей пелерине, как в слюнявчике, за ним ухаживали, предлагали ему кушанья, приносили, уносили...

И свечи — тоже горели. Два витых бронзовых подсвечника стояли по углам стола, две толстые свечи выпрастывали из них кривобокие жирные туловища, два язычка пламени, два пламенных дурачка, плясали и корчились в электрическом свете.

Эти подсвечники привез из Германии мой двоюродный брат, бравый штабной капитан. «Отнял у немцев», — говорили в доме, и мне мерещилась натужная рукопашная драка, такая примерно, как в

«Теркине»: я видел, как вонючий неповоротливый немец размахивает тяжелыми подсвечниками — по одному в каждой руке, — пытаюсь ударить моего бесстрашного брата. Не тут-то было!..

\*

Я думаю, что жизнь наша вовсе не непрерывна, как кажется с первого взгляда, что она не течет, «как река», но образует отдельные сгустки. И как редка жизнь в пространстве, в космосе — один крохотный островок на сколько-то там десятков световых лет, так редка она и во времени: одно мгновение жизни — на часы и дни промежутка...

Так естественно подхожу я к своей обиде, к простой и несправедливой мысли, что у всех-то людей — мгновения, сгустки и вспышки, у меня же — сплошной промежуток. Пустота, ноль, одна только видимость... Где-то я выбрал не ту дорогу, какую-то надпись не так прочел, не здесь, не у камня, а гораздо раньше, на позапрошлой развилке, давным-давно, быть может, еще до рождения...



*ЯЩИК*

Тюрьма дворца. Счастливый ящик.  
Звенит ли воздух настоящий,  
процеживаемый сквозь решётки,  
сквозь выцветшее серебро?  
Звучит ли в памяти короткий  
удар — и капля о ведро,  
приставленное к водостоку,  
споткнулась... Я не знаю слез  
больнее паузы небесной.

Музей, и ящик бесполезный,  
всё умерло — а ты возрос!  
Но редок воздух настоящий,  
смотрю насквозь его, насквозь, —  
и зренья чище и жесточе  
предутренняя область ночи,  
где зренье зреньем прервалось.  
Я вижу сердцем осязанья,  
сухими нитками холста  
не внешнее и не чужое зданье,  
а ткань шершавую — уничиженье ткани  
у губ, слагаемых в уста.

Дворец-тюрьма, дворец небесный!  
Музей и узник бестелесный,  
и только воздух, повторяя  
малейшее твое движенье,  
стоит, как Матерь Всеблагая,  
у изголовья и прощенья.

## ПОКАЯНИЕ

Пустой народ, без покаянья.  
Собрание на площади соборной.  
Беспочвенная речь. И это мы —  
пустой народ без покаянья, черный  
покой. Но траур отменен  
беспочвенною речью — так за смертью  
возможно говорить, не называя  
ни тайных, ни земных имен:  
не речь, но знак рукою... Как живая,  
душа приблизилась, покрыта сетью трещин  
ее картина.  
Недвижимое — вся она — собрание  
прямых мужчин и женщин,  
и это все на площади соборной,  
под луковкою, под Васильем,  
под небом синим  
ее прямой открытки...  
Но ты прими собрание пестрых глав!  
И ты прими, в собрании представ,  
свой подлинный, свой подноготный облик,  
свой образ пытки.  
Дым подымался под омоленную кровлю.  
Под исповедную парчу  
слагали голову. Сознание стало кровью,  
открытой устьем ко Врачу.  
Текло мгновение, — так сохраняет медь  
удара силу звуковую,  
так низкое гудение стоит  
на площади соборной... Как живую  
(о, знак рукой!) — но в пеленах грудных,  
в сетях непрожитых — и взяли и внесли,  
и звук погас для раковин моих.  
Но что колокол толпою ощутим,  
глухою стенкой, известью земли,  
ее дешевой солью?

Какая тишина, гранича с болью  
и ужасом, проникла под виски?  
Пустой народ. Подземные толчки,  
но я земли не чую под собою!  
И я, земли не чую под собою, —  
не речь, но мановение руки.  
Не речь — но руки, скрещенные на груди  
под напряженной пеленою.

\* \* \*

День вокруг. Параллельно ему  
день внутри. Если вдруг совпадение,  
то куда же я денусь?  
Тесно «в» между «н» — не войти никому,  
но когда отворится зиянье —  
где я буду, какие глаза подниму?  
что скажу в оправданье? кому?  
на прощение втайне надеясь.

Стих себя сознает, обо мне  
забывая. Чиновник живет детективом.  
День кончается гимном.  
«Т» и «д» совпадают, но только во сне  
совпадение стало счастливым:  
тьнь вокруг — это вовсе не тьма, а вдвойне  
освещенные лица, любимые лица — вчерне  
образ встречи. Сиянье черты,  
за которую сгинем.

\* \* \*

Среди сознательных предметов,  
среди колодцев тайной красоты  
свободно сердце от порабощенья  
и зрительные колбочки чисты.

Убогая хромая мебель,  
блаженная одежда в желваках,  
немые книги, мертвые газеты —  
всё созданное здесь витает в облаках.

В уродливых стенах сокрыта бездна света.  
Лишенные уюта, мы согреты  
иным теплом — о, этот жар целебен —  
вещей, напоминающих о небе.

Они молитва и надежда на прощенье —  
немая церковь мироосвященья.

\* \* \*

Сострадание издали — как наблюдение нравов.  
Боже! тень человека, везде иностранец неслышный!  
О страна, где никто не рожден,  
где все умирали.  
Редко из дому выйду — и улица всюду вплотную  
к моему — или оно не мое? —  
к телу печали.

*1978 г.*

### ИЗ ПЕРЕПИСКИ ДВУХ СВЯЩЕННИКОВ

*г. Самарканд 1/X-71 г.*

Дорогой Батюшка!

Вы, наверное, недоумеваете по поводу столь долгого отсутствия от меня сообщения о моей поездке в Дивеево, в общих чертах о которой Вам, вероятно, уже известно от Павла Ивановича.

Дело в том, что я изрядно простудился в Дивееве и, отправляясь в Самарканд, повез и свое гриппозное состояние, от которого никак не могу освободиться до сих пор. Общее недомогание и страшная головная боль заставляют меня то и дело прикладываться к подушке, так что я до сих пор даже не был в городе, хотя всё же два раза служил всенощную и литургию и два раза сослужил настоятелю храма великомуч. Георгия — о. Серафиму.

Отдыхается мне хорошо, так как меня окружает необыкновенная забота, что меня страшно стесняет, и если бы не то недомогание, которое заставляет меня больше всего сидеть дома, то отпуск мой и отдых, благодаря теплой погоде, можно было бы считать удачным.

Но на всё Воля Божия, и, если нужно чтобы в этом году я отдохнул менее, чем в прошлом году, то да будет так, как Господу изволится.

Теперь о поездке в Дивеево.

---

Из самиздатовского сборника «Надежда. Христианское Чтение», выпускаемого в «Посеве» книгой от имени издательства «Надежда». — Р е д.

Началось всё необыкновенно и чудесно, так же, как и закончилось, чудесным участием Батюшки Серафима. От начала поездки и до обратного возвращения преподобный Батюшка сам, как бы за руку, вел нас, ни на минуту не оставляя и немедленно рассеивая все недоумения и могущие произойти от них огорчения.

Мой духовный сын Анатолий, будучи у меня, с огорчением сказал о том, как бестолково прошел у него отпуск. «Мне, сказал он, хотелось куда-нибудь съездить помолиться, но вот осталась только одна неделя и теперь уже некогда ехать, да и некуда». На что я ему сказал: «Я на несколько дней еду в Дивеево, — поедem со мной». Он с радостью согласился и уехал искать Павла Ивановича. Однако утром, в день отъезда, он вдруг вновь приехал ко мне с вопросом, когда мы уезжаем. На мой вопрос, взял ли он билет и едет ли с нами, Анатолий ответил, что он хочет ехать, хотя дома неприятность, но билета у него еще нет. «Чего же ты медлишь, — сказал я ему, — ведь поезд уходит сегодня вечером, билеты у меня с Павлом Ивановичем уже в кармане, три дня как приобретены, я даже не знаю, достанешь ли ты билет». Он уехал, оставив меня в беспокойстве, достанет ли он билет, и о том, как мы и где встретимся, не разойдемся ли мы в дороге и где он нас или мы его будем искать на незнакомой нам железнодорожной станции.

Накануне моего отъезда ко мне пришла наша Сходненская Дивеевская мать Антония и, между прочим, спросила: есть ли у меня адрес? Я сказал, что Алла мне написала адрес, но, чтобы никого не затруднять встречей, я никакого извещения о своем приезде не сделал. Уходя от нас м. А., между разговором, вдруг и говорит: «Да, вы когда будете ехать на автобусе, попросите остановить на Калгановке».

Распростившись с домашними, в сопровождении Л. и К., после напутственного молебна, я уехал со Сходни и только в Москве, сидя на вокзале перед по-

садкой в поезд, который должен был вот-вот отправиться, я обнаружил, что оставил записку с адресом у себя на столе. Беспокойство, охватившее меня в связи с этим, немного рассеялось, когда, подойдя к своему вагону, я увидел Анатолия и сначала даже не обратил на это внимания, но когда в купе меня встретил П. И., тогда только я догадался спросить Анатолия: «А где же едешь ты?» — «Как где? Вот мое место». Оказывается, уехав в 11-12 часов дня от меня, Анатолий пошел в жел.дор. кассу и попросил дать ему билет. Кассирша взялась за бланк билета и вдруг спросила: «Может быть, вы возьмете купейный билет?» Он согласился. И этот билет, взятый тремя сутками позже, чем наши билеты с П. И., оказался четвертым билетом в нашем купе.

Так Преподобный сам рассеял первую причину моего беспокойства в связи с приглашением Анатолия в эту поездку.

Выехали из Москвы в проливной дождь. В такой же проливной дождь вышли мы из вагона на ст. Арзамас и, прождавши час или полтора, пока подойдет автобус, в такой же проливной дождь приехали в Дивеево. В автобусе, впереди меня сидевший мужчина спросил: «Отец, куда едешь?» — «В Дивеево», — ответил я ему. «А к кому?» — «К родственникам». — «А где живут?» Ни улицы, ни фамилии сестры А. П. я не мог вспомнить и потому назвал фамилию Д. «Что-то я не знаю такой, а где все-таки она живет-то?» — «Да на Калгановке», — вспомнил я наконец наименование места, где, по словам м. А., мы должны были сойти.

Вышли мы из автобуса на автобусной остановке. Только что кончился дождь. Куда идти? Кого искать? Кроме смутного наименования улицы, да номера дома, в моей памяти ничего не сохранилось. Поэтому решили идти на почту, узнать, есть ли здесь улицы под названием Лесная или Зеленая. Прошли довольно длинное расстояние, но почты не нашли. Идет на-

встречу какая-то старушка. «Матушка, как нам пройти на Калгановку?» — «Это Вертьяново, что ли?» — услышал я наконец знакомое слово. — «Да вот сейчас поверни на мост, это и будет». — «А что, матушка, есть там Зеленая или Лесная улицы?» — спросил я ее вновь. «Лесная или Зеленая? — задумчиво спросила она, — а кого вы ищите-то?» — «Л.....», — вспомнил я одну фамилию из записки А., которую оставил дома. «Что-то не знаю такой... Да погоди, я сейчас спрошу» — и, подозвав к себе женщину, спросила: «Ты не знаешь ли, вот ищут Л. в Вертьянове». — «А где она живет?» — спросила новая собеседница. «Да видите ли, — ответил я ей, — знаю только, что живет она в доме № ... или ... по Зеленой или по Лесной улице». — «Идемте, я как раз туда иду, но что-то не знаю такой улицы... Послушай, — обратилась она к идущему навстречу к ней мужчине, — в Вертьянове есть Зеленая или Лесная улица?» — «Лесная есть. Вот, как перейдешь мост, так сразу направо — это ж и есть Лесная». Отойдя от него, наша новая провожатая вновь спросила: «А какой дом-то, вы знаете или нет?» Я опять назвал те же номера. «Да вы к монашкам что ль едете? Они тут живут рядом в двух домах».

Как камень какой сняли с меня эти слова нашей провожатой, так как я в душе очень волновался за своих спутников, чувствуя свою вину перед ними, благодаря своей забывчивости. Узкий грязный переулок с домами двумя параллельными рядами, поднимающимися в гору, без надписи о его наименовании и с еле заметными номерами, чуть не повернул наш путь обратно, так как на мой вопрос плотнику, тесавшему бревна, — «Лесная ли это улица?» — он ответил: «Не знаю». Однако на тревогу моих спутников я сказал: «Пойдем дальше. Посмотрим, что дадут нам ... номера домов, если только эти номера имеются». Анатолию я сказал, чтобы он смотрел номера домов, так как у него зрение лучше, чем у меня и у П. И. остано-



вившись, Анатолий показал на дом, стоящий на противоположной стороне, и говорит: «Вот № ...» — «Да что ты смотришь на ту сторону. Нам нужны № ... или № ...». И не успел я сказать этих слов, как услышал голос А. П.: «Господи, да как же это вы не предупредили-то, ведь мы бы вас встретили. Да как вы и нашли-то нас?» — «Преподобный привел нас к вам», — ответил я ей и другим в домике, куда мы вошли.

Всё, что было привезено мною съедобного, было сейчас же распаковано, а в это время нам собрали поесть: пришла и Л. из дома № ..., как оказалось впоследствии, духовная дочь о. Н. из Загорска, присланная им для ухода за больными сиротами Преподобного. После обеда нас всех взяла М. (в постриге) и уложила спать в отдельной келейке, специально устроенной для (как она сказала) батюшек.

...Вечером, после ужина, за вечерним чаем я подарил им фотоснимок портрета Преподобного и показал им Вашу фотокарточку. Они все были так рады увидеть Ваш фотоснимок, очень умилились сердцем, целовали Вашу карточку, вспоминали Вас и Н. Н., вспоминали, какие Вы были оба молодые, как Вы постарели и изменились; как будто время не коснулось их самих и не оставило следов на их лицах и не согнуло некогда прямых, вероятно, фигур. В этот момент они как будто стали по-прежнему молодыми и, чувствуя себя таковыми, с детской наивностью удивлялись: «Какой же старенький стал батюшка...»

Был намечен план, по которому я должен посетить: во вторник дер. Ломасово, чтобы причастить там ..., в монастыре Матридию. Они считают ее прозорливой и блаженной; в среду мы должны были пойти на источник, а оттуда в Осиновку; а Дивеево и Козеваново оставить на четверг.

Во вторник мы трое, в сопровождении А. П. и М., отправились в Ломасово с целью закончить там всё в один день и, возвратившись обратно, на следующий

день ехать в Осиновку. Однако оказалось, что живущих в Ломасове никто не предупредил о нашем приезде, и нам пришлось там ночевать.

Едва мы успели войти в сени, как нам навстречу распахнулась дверь и послышались радостные возгласы: «Господи помилуй, Господи помилуй», причем слов разобрать было почти невозможно; их произносила стоявшая около кровати с одутловатым лицом матушка, низко кланялась, крестилась, и не успел я переступить порог комнаты, как она первая подошла под благословение. Послышались голоса: «Ишь как обрадовалась-то, а то всё лежала». Это и оказалась больная «Машенька»... Во время ее пребывания в заключении ей очень сильно давили на горло, и у нее парализовало горло, а раньше она пела в хору монастырском. Она так бурно выражала свою радость нашему приходу, что непрестанно вставала с постели, на которой сидела, всё вновь и вновь просила благословения. Если кто-нибудь из вновь приходящих (а в избу входили всё новые и новые люди) подходил под благословение, то Машенька тут же подходила, протягивая руки. Это было так необыкновенно трогательно, что и сейчас при воспоминании о ней у меня текут слезы.

Пришлось нескольким отказать в Крещении, т. к. со мной не было «мира». По этой же причине я отказал и миропомазать крещенных бабушками. Несколько женщин попросили дать им молитву с тем, чтобы утром на следующий день причаститься. Пришла женщина с просьбой причастить больную мать, а за ней вторая, с такой же просьбой. Этим просительницам я назначил время 4 часа утра, а всем остальным 8 часов с тем, чтобы первым автобусом доехать до Сатиса, а там — пешком четыре километра до источника.

Меня оставили ночевать в этом доме, а моих спутников — П. И. и Анатолия — отправили ночевать

вать в дом напротив. В половине четвертого утра в среду за мной уже пришли, и я пошел к больной. Там я причастил умирающую, и кроме нее хозяйка подняла с постели трех ребят, которых я тоже причастил. Затем она повела меня к больному мужчине; когда я его причащал, женщина мне сказала, что еще один мужчина просит причастить его мать; я пошел туда и причастил старушку, отказавшись, однако, от соборования, так как надо было торопиться, чтобы поспеть к автобусу.

Вернувшись в дом Машеньки, я застал там человек девять, в том числе и Машеньку, одетую в белый апостольник, рясу, и такую сияющую, что вся комната как будто освещалась сиянием ее лица.

После общей исповеди я причастил всех взрослых и еще двух детей, отказавши в причастии двум детям, так как они, хотя и крещены, но миропомазаны не были. Преподавши Святые Тайны Машеньке, мы увидели, что она вдруг сделалась как мертвая, ее уложили на кровать, и со скрещенными руками на груди, в беленьком апостольнике, с бледным лицом и с закрытыми глазами она действительно казалась умершей. Но это только казалось; оказывается, это бывает у нее всегда, т. к. парализованное горло не проталкивает пищу внутрь, а задерживает ее на полпути. Я очень беспокоился и потому несколько раз подходил к ней узнать, прошла ли у нее святыня. Наконец она сумела проглотить, и я успокоился. Эта Машенька замечательна вот чем: Мария Л., похоронивши старушку, для ухода за которой она была прислана сюда о. Н., взяла к себе из дер. Елизарово 95-летнюю Вареньку (в монашестве Агнию), которая осталась одна после смерти своей товарки Агриппины. Эта Варенька в монастыре была шорницей и, поселившись в дер. Елизарово после разгона монашек в доме племянника своей товарки, стала работать в колхозе и очень долго заработанным хлебом и овощами подкармливала ос-

тавшихся без крова и пищи стариц обители. Когда силы ее стали убывать, то, вместе со своей теткой Агриппиной, племянник последней стал помогать им. Так прожили они до Пасхи, а на Пасху Агриппина скончалась, и хотя племянник умершей и предложил Вареньке жить в его доме до смерти, но она почла за благоразумное принять предложение Марии Л., перейдя на жительство к ней в Дивеево.

Сама Мария имеет свою комнату в Москве, получает пенсию 100 рублей и, имея благословение о. Н., взялась за хлопоты об открытии церкви.

Смелая, энергичная, она вот уже второй год обивает пороги всех. Добилась получения положительного решения от Косыгина, но местные власти никак не разрешают открыть церковь и несколько раз грозили выслать надоедливую просительницу из Дивеева. Так вот, когда Мария начинала хлопоты, то она неоднократно спрашивала Машеньку: разрешат или нет? На что Машенька неизменно отвечала: «Трудно, трудно». В этом году она стала говорить: «Откроют, откроют!» и при этом утвердительно осеняет себя крестным знаменiem. Спрошенная мною несколько раз об этом же, она неизменно отвечала: «Откроют, откроют!», «Скоро откроют» и, кланяясь и протягивая руки для благословения, пела, еле-еле выговаривая слова своим парализованным голосом: «Господи помилуй, Господи помилуй».

Последний раз, кажется, в марте месяце, Марию вызвали в горсовет и после многих уговоров и угроз, наконец, спросили: «Ну, а какую церковь вам отдать?» На это она ответила: «А какую дадите». — «Да ведь потребуется затрата на ремонт», — сказали ей. «Это не ваша забота. Деньги наши, а материал продадите нам вы. Мы согласны, если это будет простой дом, только дайте разрешение». Такой разговор был в марте, а в конце августа Марии сообщили, что 28 сентября ее вызовут на заседание горсовета. Что будет даль-

ше и состоялся ли вызов, — не знаю. Может быть, Вам уже и известно что-нибудь об этом?

В Машеньке заметно много смирения; когда я, благословляя ее, поцеловал ее в голову, она вдруг сказала: «Нельзя, нельзя целовать голову, она грешная; тебе нельзя целовать, а вот мне можно твою голову поцеловать». На это я ей ответил: «Ну, раз тебе можно, то ты и поцелуй, только вперед перекрести меня». Она подумала, перекрестила мою голову, поцеловала и вновь сказала: «Грех мою голову целовать, а твою можно», — и вновь перекрестила меня и поцеловала в голову, запев свое «Господи помилуй», с глубокими поклонами и ежеминутным протягиванием рук для принятия благословения. Не знаю, как на моих спутников, но на меня эта Машенька произвела большое впечатление.

Забыл еще сказать, дорогой батюшка, что дорога, которая накануне, когда мы приехали в Дивеево, была совершенно непроходима, так что мы едва добрались до цели нашего путешествия, во вторник совершенно просохла, с неба лились яркие лучи солнца, ласково согревавшие нас во все дни, пока мы ходили по земле, где некогда ступали ножки преп. Батюшки Серафима.

В Ломасове мы закончили дела тогда, когда автобус, которым мы должны были доехать до Сатиса, а оттуда пешком отправиться до источника, уже ушел; поэтому мы остались завтракать, а затем, сопровождаемые словами молитвенных пожеланий, благодарными возгласами любви и просьбами приезжать к ним еще, — решили пойти до Сатиса пешком.

Я, правда, не заметил времени, когда мы вышли из Ломасова, но Анатолий и П. И. уверяют, что мы шли три часа до Сатиса, поэтому расстояние 7 км, которое считают местные жители от Ломасова до Сатиса, оказалось не менее 9 км, если не более. Нам предстояло идти еще 4 км до источника и обратно до Сатиса с тем, чтобы успеть в Осиновку к 12 часам, а

мы в 11 часов еще только дошли до Сатиса. Нужно сказать, что если бы я был один или даже с П. И., то я ничего не смог бы там сделать; Анатолий освободил меня от очень тяжелого портфеля, в котором лежали Евангелие, Крест, подрясник, требник, книга молебных пений, облачение, свечи и еще что-то. У него у самого свой портфель, кроме того бидоны для воды; у П. И. своя сумка, у Марии и А. П. свои ноши, так что если бы не их помощь, то я не смог бы пройти пешком такое большое расстояние, а если бы и прошел, то уже делать ничего бы не сумел.

Надо думать, что соизволение о помощи и причащении своих сироток Батюшки Серафима было так велико, что в самый последний момент перед сборами в дорогу он послал мне такую подмогу, как Анатолий.

Все мои спутники оказались заядлыми грибниками и потому, уже по дороге к источнику, почти полностью набили: Анатолий свой портфель, а женщины свои сумки — грибами, преимущественно опятами. Я же нагрузил их дополнительно еще шляпками красных мухоморов для растирания, которых никто в Подмосковье мне привезти не смог. Думаю, что и это не без Промысла.

Мария сказала, что она поведет нас на гору, с которой можно увидеть Саров. Наконец, мы подошли к месту, где по правую сторону протекает река Сатис, а налево от нашего пути — очень высокий, почти отвесный, поросший лесом, вероятно, бывший берег (правый) обмелевшей в настоящее время реки. Наверху тракторами валили лес, бульдозеры снимали верхний слой чернозема, а экскаваторы загружали машины желтым, золотистого цвета, песком, вероятно, для строительства в городе, а может быть, и в самом Сарове. С трудом, цепляясь за сучья и стволы сваленных деревьев, хватаясь за пни и кустарники, мы взобрались наверх и увидели искусственно насыпанный холм, возвышающийся недалеко от нас. Влезши на

этот холм и повернувшись в сторону реки, я увидел необычайно красивую картину. Когда я взбирался на эту возвышенность, я представлял, что увижу или полную картину разрушения, или, во всяком случае, не более как верхушки полуразрушенных зданий бывшего монастыря, основания которых скрыты от посторонних взоров густо поросшим лесом на левом берегу Сатиса.

Каково же было мое удивление и как-то особенно жалось сердце не то от радости, не то от сожаления, когда моему взору предстала как на ладони панорама Саровской обители. Прямо передо мной вся белая, стройная, как невеста, возвышалась колокольня, видимо, недавно отремонтированная (говорят, даже часы на ней вновь установлены и не только показывают, но и отбивают время). Налево от колокольни, также вся белая, возвышается церковь, и около нее, насколько я мог разглядеть, 2-этажное здание. Еще левее вдаль виднеются здания и среди них — храм. Всё это имеет очень опрятный вид. Вправо же от колокольни расположено здание однокупольного храма, а почти рядом с ним — другой храм, причем оба они имеют вид заброшенный, с ржавыми крышами, непокрашенные и, вероятно, используются (если только используются) под какие-нибудь хозяйственные нужды. Долго задерживаться на этом холме нам показалось небезопасным, так как механик одной машины (трактора) стал давать какие-то частые свистки, остановив машину как раз напротив нас. Мы поспешили покинуть свой наблюдательный пост и, спустившись с трудом вниз, пошли в обратный путь к ближнему источнику, вытекающему из-под правого обрывистого берега реки Сатис. Это еле заметная струйка воды, вытекающая из водосборного ящика, углубленного в землю не более, чем на 15-20 сантиметров. Вода там мутная, и потому мы только помочили себе руки и лицо и отправились на другой источник на левом бере-

гу реки. Для того, чтобы попасть к нему, нужно перейти реку вброд. Не без тревоги думал я о предстоящем переходе босиком через реку, вода в которой холодная, и как этот холод подействует на мой радикулит, когда даже ступить босой ногой на крашенный пол я не могу без того, чтобы не было осложнения. Пройдя метров 300 от первого источника, мы спустились к реке. Вижу, что первыми начали разуваться женщины. За ними сняли обувь и мы. Случайно встреченная нами на первом источнике женщина побоялась переходить реку, ну а мы, в том числе и я, засучив брюки выше колен, пустились вброд, причем вода была настолько теплой, что переход получился довольно приятным. Выйдя на берег, мы оказались на земле собственно самого Саровского монастыря, по которой 150 лет тому назад, несомненно, хаживали ножки самого Преподобного. Пройдя не более 200-250 метров по поляне, мы вновь оказались на левом обрывистом берегу той же самой реки, причем внизу бежал, журча по камешкам, очень быстрый ручей чистой, как слеза, воды. Первым делом мы наполнили нашу посуду водой, потом в сильной струе холодной, как лед, воды мы смочили голову, грудь и шею, помыли руки и ноги, пособирали «снитку» (оказавшуюся вовсе не сниткой) и пошли в обратный путь.

Пока мы проделывали водную процедуру, Мария рассказала нам следующее: «Здесь еще недавно проходила зона ограждения монастыря, удаленная от пустыньки Преподобного не более чем на 400-500 метров. Ранее на этом месте никакого источника не было. Однажды, в начале весны начальник осматривал ограждения и, проходя недалеко от вышки охраны, увидел идущего впереди себя старца с посохом, который подошел к месту, где теперь бьет источник воды, ударил посохом в землю и стал невидим. После этого ограждение зоны было отнесено в глубь территории монастыря на 40-50 метров».



Немым свидетелем того, что здесь проходила зона ограждения, оставлен столб со следами бывшей на нем колючей проволоки. Этот столб стоит в метрах 15-20 от чудесно возникшего источника.

Возвращались мы обратно в приподнятом настроении. Первой перешла реку Мария, за ней шли П. И. и Анатолий, последними переходили А. П. впереди, а за нею я, сожалея, что мы не захватили с источника камешков. Вдруг посередине реки А. П. поскользнулась, уронила бидон в реку и, склонившись, чтобы подхватить его, сама упала в воду, искупавшись во всем, в чем была одета. Мария, которая успела уже обуться, быстро вновь разулась, схватила бидон из рук растерявшейся А. П., перешла вновь реку и со словами: «Видимо, Преподобный хочет, чтобы вы захватили с собой и камешки из его источника», добежала обратно, вернувшись вскоре с полным бидоном воды и с горстью камешков со дна источника.

Нужно было скорее поспешать в Сатис на автобус до Осиновки, причем мы решили, что так как П. И. и Анатолий очень устали в пути, взяв на себя обязанности носильщиков всего груза, то они с автобусом поедут домой, а я с женщинами сойду в Осиновке, куда мы уже запаздывали часа на два, чтобы удовлетворить нужды живущих там, о чем их уже предупредили. Но спутников моих обуяла грибная лихорадка. Они никак не могли спокойно пройти мимо необыкновенно больших семейств опеночных поселений, которые так соблазнительно ожидали любителей и словно просили: «Ну, пожалуйста, не оставляйте нас расти без пользы, возьмите нас с собой». И отзывчивые сердца моих спутников не могли не отозваться, а потому набили и портфели (кроме моего, который был и без того страшно тяжелым), и сумки. Придя наконец в Сатис, мы немного подождали и поехали в Осиновку.

Время показывало 4 часа, вместо назначенного 1 часа. Подъезжая к остановке, мы увидели старушек, бредущих каждая к своему дому. Видимо, они потеряли всякую надежду на наш приезд, но, увидя нас, они быстро вернулись назад. Оказалось, у них всё было приготовлено для соборования. Как я ни устал, но отказываться было нельзя. Мария с А. П. ушли подготовить слепую, недвижимо лежащую старицу, а я начал совершать таинство. На мое счастье подошла одна певчая из деревенских (она пела в Казанской церкви) и стала мне помогать. Всё было закончено через 2 часа после начала. Здесь я пособоровал и причастил семь человек, дал молитву трем женщинам и причастил троих малышей. Нужно было торопиться на автобус. Больная старушка, к которой пошли мои спутницы, причащаться отказалась, т. к. ее никто не предупредил, и она не приготовилась. Отказавшись от чая, мы пошли к остановке. Там уже стояли люди. Простояв некоторое время, мы увидели, что они пошли, решив, что автобуса больше не будет. За ними двинулись и мы. Вдруг мимо нас промчался обогнавший нас автобус, а через некоторое время и второй. Не остановившись на наши знаки, автобус затормозил и остановился далеко впереди нас, забирая группу людей. Мы побежали, напрягая последние силы, размахивая руками, и чуть ли не криком старались обратить на себя внимание водителя. И на этот раз Преподобный помог нам, и мы через минут 15-20 вышли на остановке Дивеево. С трудом волоча ноги, добрались мы до дома. Уже было порядочно темно на улице. Войдя в полутемную комнату (электричества нет), освещенную только керосиновой лампой да пламенем нескольких восковых свечей, мы нашли там новых гостей. Иеродиакон из Загорска В., весьма власатый и брадатый, восседал за столом и кушал, на мое приветствие еле ответил. Его спутник, молодой человек (оказался дьякон А.) с женой и свояченицей подошли

под благословение. Оказалось, что приехали они на один день, чтобы сходить к источнику. Это значило, что бедная Мария должна была на следующее утро вновь идти на источник, только что вернувшись домой и проделав с нами путь не менее 17 км. Оказалось, Анатолий и П. И. успели отдохнуть часа полтора, а хозяйки в это время нажарили грибов, обильно угостив нас ими. Отправляясь спать, уговорились: четверо новых гостей, в сопровождении Марии, в 4 часа утра идут на «канавку», а оттуда едут в Сатис и идут на источник. Мы трое, в сопровождении А. П. и А. (прислана о. Н. в помощь Марии), в 5 часов пойдем на «канавку», а затем в дер. Казеваново, чтобы причастить 105-летнюю монахиню Протасию и 85-летнюю монахиню Татьяну.

Расстояние в 4 км нам показалось значительно длиннее, вероятно, потому, что «так» в русской мере всегда почти превышает ту меру, к которой прибавляется.

Это был уже четверг, назначенный мною быть крайним днем нашего пребывания на земле Преподобного, а нам предстояло, кроме Казеванова, посетить слепую певчую Казанской церкви и обслужить всех тех, к кому мы приехали. Отправившись на «канавку» в 5 часов утра, мы прошли по сохранившейся ее части, причем я успел прочитать неполную сотницу (примерно 70-80) «Богородиц», отсчитывая счет по четкам. Прошли мимо места, где были часовенки над могилами блаженных, причем нам указали на склеп с пробитым сводом, как на место погребения Блаженной Параскевы (Саровская Пашенька), используемый как место для свалки мусора и нечистот проживающими здесь людьми. Старый собор с разбитыми стеклами, проржавленной крышей используется как склад материалов. Колокольня, ободранная и обезглавленная, стоит как свидетель бесхозяйственности тех, кто берет на себя смелость именоваться истинными хо-

зьявами народного имущества. В трапезной расположен клуб. В домике Прасковьи Ивановны живут. Постояли на месте погребения первоначальницы Александры, схимонахини Марфы и Елены Васильевны *[Пропуск в оригинале. — Ред.]*... спилены, а площадь вокруг здания (даже и чугунная плита на могилке первоначальницы Александры) заасфальтирована, оставлен один очень маленький угол плиты, не покрытой асфальтом, как будто Промыслом Божиим оставленный на облегчение труда будущих поколений при поиске этих могилок, когда, согласно предсказанию Преподобного, придет время открытия святых мощей этих благодатных подвижниц времен самого Преподобного.

Не знаю, дорогой батюшка, как кто, а я во всей этой разрухе, во всем осквернении и уничтожении почувствовал такую высоту смирения и самоуничтожения самого Преподобного и его детища Дивеева во главе в действительности с дивными подвижницами, имеющими явить миру новое чудо красоты Христовой веры в явлении святых своих мощей.

Новый собор, в свое время полностью подготовленный к освящению (за исключением заготовленного, но не уложенного на место пола), представляет собою мерзость запустения! Стекла выбиты, дверей нет, входные ступени разрушены и поросли травой. Трава покрывает и желоба кровли, давно не видевшей краски. Кресты, как на новом, так и на старом соборах отсутствуют, бетонное основание пола в одном месте с какой-то целью пробито и открывает жутко зияющую глубину подвального помещения. Нечего говорить, что стерты с лица земли могилки храмосоздателя Феодора (в монашестве Серафима), его жены и дочери, а дом, где они проживали, занят под детский сад. Дом Мантурова, приобретенный у Елены Ивановны (жены Мантурова) дядей Алексея Петровича, снесен, и место пустует. Рядом стоит дом, в котором

проживал священник (не помню его фамилии, кажется, Соколов или Светлов), который имел сына — дьякона Николая, привезшего из родительского дома наш портрет Преподобного, а затем оставившего его покойной матушке Евгении, от которой он чудесным образом оказался в Вашей комнате, восполняя коллекцию драгоценных реликвий из предметов, которых касались благодатные пальчики Преподобного Батюшки Серафима.

Дорога до Казеванова, даже сокращенная, потому что часть ее мы прошли полем, как я уже сказал, показалась нам значительно длиннее 4-х км, но зато мы почти на краю деревни нашли домик, в котором проживает мать Т., встретившая нас на крыльце. Маленькая, худенькая, в стареньком платье, в рваной кацавейке и таких же башмаках, со сморщенным личиком, но с дивными глазами, с головой, покрытой какой-то шапочкой в виде капора, как обыкновенно носят старые монахини, она скорее производила впечатление маленького гнома, чем живого человека, так она мала ростом. Ей 85 лет. Оказывается, 12-летней девочкой она приведена была к матушке игумении, а та сперва из-за малого роста отказалась ее принять. Но неотступность просьбы девочки победила, и она была оставлена в монастыре. Впоследствии она получила послушание клирошанки. После закрытия монастыря ее приютила сестра, на крыльце дома которой она и встретила нас. Быстро сбегав в дом, она вернулась в апостольнике и с палкой в руке, очень быстрой походкой повела нас к 105-летней Протасии, тетка которой еще застала в живых Преподобного Серафима.

Деревня оказалась очень длинной, и, пройдя около полутора километров, мы, наконец, подошли к дому, где живет матушка Протасия. По дороге мать Татьяна сказала, что ей хочется причастить одну больную и еще глупенькую девушку, поэтому по дороге она забегала в их дома предупредить, чтобы они ничего не

ели. Войдя в дом, мы увидели мать Протасию, сидящую около стола. Около нее стояла молодая женщина и наливала чай, видимо, желая ее покормить, так как вся семья отправлялась копать картофель. Увидев нас, хозяйка отставила чай и сказала старице: «Ну уж тогда после поешь», так как объяснила, что приехал батюшка причастить Протасию. Последняя оказалась по виду довольно крепкой, крупного телосложения женщиной, сидящей в кресле, по слабости ног не имеющей возможности передвигаться самостоятельно. Безродную, в глубокой старости оставшуюся без крова и поддержки, ее приютили совершенно чужие люди и с чистым сердцем делятся с ней результатами своих трудов.

Увидев нас, мать Протасия заявила, что она причащаться не будет: «Я ждала вас вчера и готовилась, а сегодня я ничего не читала и не готовилась. Вы видите, что я живу у чужих людей, сама ем чужой хлеб, у меня ничего нет. Мне нечего вам дать, у меня ни денег нет и угостить вас мне нечем, что я могу вам дать? Я сама нищая. Вот люди покормят меня — я и сыта, а вам я ничего дать не могу. Нечего вам было и приезжать. Ни денег, ни угощения у меня нет».

Долго пришлось уговаривать мать Протасию, доказывая ей и разъясняя, что нам ничего от нее не нужно, что мы сами дадим ей денег, что вся цель нашего приезда только в том, чтобы преподать ей Святые Тайны, и никаких угощений нам не нужно. С трудом уговорили мы упрямицу согласиться с нашими доводами. В это время в избу вошел мужчина, как мне показалось, средних лет. Посмотрев на меня, он как-то нерешительно сказал: «Мне бы бабу мою причастить, умирает она у меня». Мать Татьяна на это ему ответила: «Да ведь она, чай, поела?» — «Какой там поела, — с грустью в голосе ответил он ей. — Она уже две недели ничего в рот не берет. Однако я сбегаю предупредить». И он ушел.

Помолившись, я встал на колени рядом с креслом Протасии, так как она глухая, рядом со мной на колени встала Татьяна, и я громким голосом прочитал положенное правило причащения больных и точно так же на коленях прочитал для них благодарственные молитвы, когда причастил их Святыми Тайнами. Посоветовавшись с А. П., я дал матери Протасии 20 руб., а матери Татьяне 10 руб., так как она хоть и живет с сестрой, но пенсии никакой не получает.

Отсюда мать Татьяна повела меня к «глупенькой». Оказалось: это девушка, которой на вид никак нельзя дать более 20 лет, а на самом деле ей 42 года отроду, и родилась она больной. Родители ее старались, когда были живы, лечить ее. Два раза возили ее в Киев, но успеха не имели. Теперь она живет у сестры, помогать ничего не может, так как ничего не понимает. В ожидании нашего прихода ей не давали есть, так что она «пошумела», рассказала нам ее сестра. Ни о какой исповеди и говорить не пришлось, и я причастил ее как младенца. От этой несчастной Веры (так зовут эту девушку) мы пошли к больной, о которой просила мать Татьяна. Причастивши ее, мы пошли в дом к больной, о которой просил ее муж, увидевший нас у матушки Протасии.

В избе, прямо около двери, на кровати, огороженной боковыми досками, чтобы больная не могла упасть, лежала с изможденным болезнью лицом женщина. Вслед за нами вошла женщина (соседка) с просьбой причастить больного, сказав, что он сам придет, и ушла, чтобы позвать его. Пришел хозяин дома, а вслед за ним вернулась соседка, сказав, что больной уже сам идет. В дом вошел мужчина с желтым одутловатым лицом, с опухшими руками, с палкой, на которую он опирался, еле передвигая отекающие ноги, с высоко вздымавшейся грудью от одышки и с каким-то свистом в горле. Я уже заканчивал молитву, как вновь пришли сказать, чтобы мы не уходили, так

как сейчас приведут больную. Закончив с этими двумя, я спросил мужа больной, как его имя. «Степан», — ответил он. «А по отчеству?» — вновь спросил я. «Андреевич...» — «Вот, — говорю я ему, — в каждом доме здесь у вас иконы, лампадки горят, и у тебя тоже, а Богу молишься ли?» — «Да! Как когда. Вот, заболела она, так всё на мне, батюшка, грешный я очень, батюшка: вино пью. Бог и молитву-то мою, чай, не примет». В это время больная спросила его, кто к ней позвал меня. «Так неужли кто? Я и позвал, — с какой-то ноткой не то обиды, не то гордости в голосе ответил он ей. — Я как увидел, что попы в деревню приехали, так и позвал...» И столько, дорогой батюшка, в его грубом по тону и по словам ответе своей умирающей жене было такого скрытого от внешних взоров и горя, и обиды, и самое главное — столько сострадания и любви, что и сейчас при воспоминании об этом огрубевшем внешне человеке у меня невольно текут слезы.

«Ты, батюшка, — обратился ко мне Степан Андреевич, — не думай: я хоть и очень грешный, вот видишь — вино пью, а креста с себя никогда не снимал. Вот он у меня, всегда со мной, — и он вынул из-под рубашки крестик на грязном, как и рубашка на нем, шнурочке, небольшой крестик. — Он и на войне со мной был. Я с ним никогда не расставался. Как можно быть без креста крестьянину».

Эта неожиданная речь Степана, который сам про себя говорит, что он грешный, пьет вино, который сознает себя недостойным, чтобы Бог услышал его молитву, ошеломила меня. «Вот она где, Святая-то Русь, — подумал я, — сюда бы Достоевского. Он бы, наверное, был рад увидеть в действительности нашего антихристианского общества подтверждение своего прогноза, что в толще своей, внутри себя, под грязной подчас рубахой внешности, — русский по душе и не объевропеившийся и не нахватавшийся верхушек совре-



менной «культуры», скепсиса человек в глубине своего сознания хранит свою веру, свою любовь к Богу. И пусть он живет без Церкви, потому что ее у него отняли, она закрыта, пусть за заботами дня, за суетою жизни, может быть, редко к нему приходит мысль о Боге, пусть неудачи жизни иногда вложат в его руку зеленое зелье, но внешность эта не достигает глубины его души. Там теплится уголёк веры: там хранится запас непобедимой преданности делу, за которое отдал Свою Жизнь Христос Спаситель, там, под спудом, как святыня, сохраняется любовь к Богу. Это и есть Святая Русь».

В это время привели больную, которая хоть и на костылях, но сама передвигаться не могла, ее с трудом вели двое людей. Наконец, причастив и эту несчастную, мы пошли в Дивеево, чтобы причастить одну певчую из Казанской церкви и вернуться к себе домой, где нас должны были ожидать те, которым было сказано, что они получают причастие в 11 часов дня. Было уже 11 часов, когда мы пришли к больной певчей. Оказалось, она два года как ослепла от болезни мозга, вследствие побоев мужа-пьяницы. Она обладала, говорят, изумительным голосом и по благословению матушки игуменьи как замужняя пела в приходской церкви. «Батюшка! Уж как я славил Бога-то, как я любила петь-то. Уж ни одного праздничка, ни одной-то службы я не пропускала. Вся моя жизнь была в пении духовном. Как утешались все моим пением, сколько благодарностей и от людей, и от самой матушки игуменьи внимания видела я, дорогой батюшка, но, видимо, неугодно было Господу мое пение: наказал Он меня. Замужество не принесло мне радости: болезнь истощила мои силы, и ко всему этому вот уже несколько лет я лишилась зрения, провожу остаток своих дней, не вижу солнышка и не ощущаю теплого участия от ближних, кроме сестры, в моем тяжелом положении». Во время исповеди у нее начал-

ся приступ рвоты. Вместе со слюной с большими судорогами выходила желчь, причем пришлось смочить два полотенца в этой жидкости, пока прекратились судороги и перестала рвота, — результат болезни мозга от побоев мужа, который до сих пор каждый день непробудно пьет, продавая и вытаскивая из дома всё, что только можно променять на водку.

С чувством тоски и жалости к этой несчастной женщине, счастье которой обернулось к ней спиной, с сожалением о скудности моих душевных и духовных сил, обласкав ее и утешив Святыми Тайнами, оставил я этот дом, в котором, кажется, и углы-то и стены обледенели от холода и небрежения к человеческому страданию и горю.

Придя домой с большим опозданием, мы увидели умилительную картину. Все присутствующие стояли на коленях и слушали правило ко Святому Причащению. Оказывается, собралось двадцать два человека, желающих получить Святое Причастие. Кроме взрослых, монахинь и мирских, было несколько женщин, желавших взять молитву и причастить детей! Хозяйка — мать Мария — в сенях собрала нам поесть, так как было уже три часа дня, а во рту у нас со вчерашнего вечера не было ни крошки. Наскоро подкрепив себя пищей и удовлетворив их нужды, я отпустил домой женщин с детьми и тех, кто не готовился принять Святые Тайны, и начал читать положенное правило «О еже когда прилучится причастить больного», а затем провел общую исповедь, учитывая состав собравшихся, среди которых было большинство монашескую.

На столе лежал водосвятный Крест и Евангелие и в дополнение тяжелый Крест с цепью самого Преподобного, который он носил с веригами. Подходя под разрешительную молитву, каждый из исповедников прикладывался ко всем святыням, как бы принося исповедь свою самому Батюшке Преподобному

и испрашивая у него помощи на борьбу с врагом нашего спасения.

Примечательно то, что, подходя под разрешительную молитву, почти все монахини, постриженные в мантию в недавнем прошлом, называли свои имена по пострижению в рясофор, с которым они покинули отнятый у них монастырь. Подходя же ко Святой Чаше, они стали называть свои настоящие монашеские имена, вероятно, опасаясь, не буду ли я выведывать от них время и обстоятельства пострига и кто совершил над ними это святое Тайнодействие.

Среди мирян присутствовала одна, высокого роста, очень худая женщина, назвавшая себя Евдокией. Когда дошла ее очередь принять Святые Тайны, то она внезапно пошатнулась и упала навзничь на руки подхвативших ее монахинь. Положив ее на кровать, женщины рассказали мне, что Е. замужем, имеет двух детей, часто ездит в Арзамас и часто причащается, но никогда не бывало с ней того, что случилось здесь; рассказали о ней и о том, что иногда Евдокия видит и слышит голос, чаще всего вражий, и пересказывает сказанное тому, к кому относится это видение или слова, слышанные ею, и что такое состояние у нее бывает редко. Преподав Святое Причастие всем, я подошел к Евдокии. Она встала с кровати и с необыкновенным благоговением приняла Святые Тайны и вновь села на кровать рядом с большим образом Преподобного, изображенного в «пояс». Оказывается, этот образ был написан для нового собора и изображал Преподобного Серафима во весь рост. Взяв этот образ при разгоне монастыря, хозяйка хижины вынуждена была отпилить нижнюю часть иконы, так как ввиду незначительной высоты помещения (голова почти касается потолка), она не устанавливалась.

Закончив благодарственные молитвы по Святом Причащении, которые я всегда стараюсь читать сам, и сделав отпуст, я стал давать Крест всем присут-

ствующим, подходившим ко мне. К последней, сидевшей на кровати, Евдокии я подошел с Крестом сам и, подавая Крест Евдокии, был остановлен ею. Протянув руку к иконе Преподобного, Евдокия, приложившись ко Кресту, стала громким голосом говорить, обращаясь ко мне: «Батюшка! Преподобный велит сказать мне тебе, батюшка, чтобы ты запомнил. Никому не велит говорить, только тебе одному. Это я не свои слова говорю, а он — Преподобный, — указывая рукой на икону Преподобного, сказала Евдокия, — велит мне сказать тебе; скоро, скоро здесь в Дивеево будут торжества. Теперь не годы и не месяцы, а дни и часы (произносила она слово «часы» по местному наречию) остались до открытия монастыря и явления четырех мощей: Батюшки Преподобного, Первоначальницы Александры, матушки Марфы и Блаженной Евдокеюшки, замученной и убитой безбожниками, уж как били, уж как они ее мучили-то, бедную, всю одежонку на ней изорвали, пытали ее и резали, а потом неизвестно где похоронили. Так неотпетая и лежит она в сырой земле, только и остались от нее чулочки, залитые кровью, один-то из них вот я прибрала, да и выстирала. Вот, Преподобный-то и велит мне, — вновь повторила Евдокия, — скажи ему, никому другому, а только тебе, батюшка, велит сказать Преподобный, что скоро, скоро откроются и монастырь и мощи. Это не я говорю и не свои слова, а передаю тебе то, что велит мне сказать вот он, — рукой показала вновь Евдокия на икону Преподобного. — Он велит сказать тебе, чтобы ты обязательно приехал сюда на открытие церкви и мощей».

Дорогой мой батюшка! Мне трудно передать Вам, какое волнение овладело мною при словах этой женщины. В ее голосе, в интонации этого голоса, выражавшей торжественность ее посланнической миссии и, несомненно, веру в грядущее, которое только ей было одной открыто и которое только ей и никому

другому было поручено передать мне и присутствующим. Меня охватило, с одной стороны, чувство радости, а с другой — чувство страха. Какая-то сладость разлилась в моем теле. Я ощутил такую дрожь и такое волнение в сердце от ее последних слов, что невольно поддался пафосу и торжественности ее настроения. Однако радость, охватившая всё мое существо от сознания, что сам Преподобный, устами своей посланницы, зовет меня к участию имущих быть торжеств в его детище — Дивееве — быстро сменилась страхом от сознания своей греховности и нечистоты и печалью о том, что Господь не допустит меня грешного быть участником событий, о которых так торжественно и с такой верой в истинность слышанного и передаваемого ею поведала нам Евдокия.

Печаль и страх с такой силой схватили мое сердце, что я заплакал... и сквозь слезы, сознавая свое недостойнство, чтобы сам Преподобный мог обратить свой взор на такого, как я, грешника, ответил всё же согласием приехать в Дивеево на настоятельные, неоднократные приглашения Евдокии.

Когда я, прочитав положенные молитвы по Святом Причащении и отпустив всех, подошел к сидевшей на постели Евдокии с Крестом, последняя спокойным, ровным голосом, совершенно непохожим на голос человека, еще несколько минут назад звучавший как голос пророка, обратилась ко мне с просьбой: «Ты, батюшка, уж прости меня и помолись о грешной Евдокии: а я буду молиться за тебя».

Было уже совсем темно на улице, когда мы собрались ужинать с тем, чтобы отправиться на ночлег. В это время возвратилась Мария от источника, куда она водила о. В. и его спутников. Они заехали за вещами на такси и торопились на вечерний поезд. Я договорился с шофером, чтобы в 10 часов утра на следующий день он заехал бы за нами и отвез бы в Арзамас к поезду в 12 часов.

Ранним утром следующего дня поднялись мы с тем, чтобы отслужить благодарственный молебен с освящением взятой из источника воды, двинуться в обратный путь и покинуть полюбившихся нам стариц, боголюбивые сердца которых так бережно и так благоговейно сохраняют духовные традиции и живущую в них любовь, оставленную им основателем их обители Батюшкой преп. Серафимом.

Вылив всю воду в чугунок Преподобного, в котором он варил себе пищу, я отслужил молебен. При освящении воды в первый раз я погрузил свой водосвятный Крест, второй раз, при пении тропаря «Спаси Господи люди Твоя...», я погрузил в чугунок с водой из источника Крест с веригами самого Преподобного. Закончив водоосвящение погружением водосвятного Креста и окропив присутствующих и помещения, мы стали собираться, ожидая обещанного нам такси. Было уже около 11 часов, когда, отчаявшись в верности слова, обещанного нам вчерашним водителем, Мария побежала на автобусную станцию и минут через 15 вернулась с машиной. Трогательно, со слезами на глазах, провожали нас старушки, вышедшие на улицу. С возгласами любви, с просьбами не забывать их и пожеланием нового свидания, напутствуемые крестным знаменем, которым они осеняли нас вслед удаляющейся от них машины, покинули мы гостеприимную землю и любвеобильные сердца сироток Дивеевских, которые и вне ограды удела Царицы Небесной сохраняют верность заветам молитвенника за них и за всю землю русскую, возлюбленного Избранника Божией Матери.

Мелкий частый дождь внезапно стал поливать дорогу и местность вокруг нашего пути, словно подчеркивая окончание забот, которыми оградил нас Преподобный во всё время нашего пребывания на его земле.

Дорогой мы узнали от шофера, что сегодня на Москву идет только один поезд в два часа дня. Подъ-

езжая к вокзалу, мы увидели поезд дальнего следования с названием «Татарстан». Решив, что этот поезд — из Москвы до Казани, мы с Анатолием остались сидеть в машине, а П. И. пошел в вокзал узнать о времени отправления и, если можно, то приобрести и билеты. Беспокойство от долгого отсутствия П. И. еще более увеличилось, когда, наконец, он возвратился и торопливо сказал, что поезд уже стоит, готовый к отходу на Москву. Оказалось, что состав, принятый нами за следующий из Москвы, возвращался из Казани. Наскоро захватив вещи и едва успев поставить ногу на подножку вагона, мы тронулись в путь. Узнав от П. И., что поезд в два часа дня отменен, мы еще раз поблагодарили Батюшку о. Серафима, который, как любящий отец, взяв нас за руку в день начала нашего путешествия в Москве, провел с заботой о нас по своей земле и с любовью не отпускал наших рук, пока сам не усадил нас с благословением в поезд, ни на минуту не давая возможности никакому огорчению коснуться наших сердец, проявляя и по сей день трогательную заботу о всех с верою приходящих к нему.

Слава Тебе, Господи, за то, что Ты дал нам такого Подвижника и Молитвенника.

Слава Тебе, Царица неба и земли, так явно распростершая Свой Небесный Покров над местом Твоего последнего земного жребия, что — сейчас, когда уничтожают видимость Его, тепло лучей Любви Твоей согревает тех, кто с верою посещает эти благодатные места.

Слава и Тебе, Преподобный отец наш Серафим, что до сих пор не перестаешь Ты наполнять радостью и благодарностью сердца всех любящих Бога.

Спасибо Вам, родной наш Батюшка, что своим благословением и молитвами своими Вы сопутствовали мне и моим спутникам, доставив мне необыкновенную Нечаянную Радость!

## «ДЕЛО» ЮЛИИ ВОЗНЕСЕНСКОЙ

29 июля 1977 г. в г. Воркуте состоялся суд над ссыльной ленинградской поэтессой Юлией Вознесенской (подборку ее стихотворений см. в этом номере «Граней»). Приговор — два года исправительно-трудовых работ, основание: побег с места поселения в г. Ленинград — без разрешения властей Юлия навестила заболевшего ребенка.

Сотрудники ленинградского ГБ теперь, должно быть, испытывают глубокое удовлетворение: беспокойная поэтесса наконец-то надежно изолирована, изъята из общественной жизни так же, как и ее друзья, ленинградские художники и поэты Олег Волков, Владимир Гоос<sup>1</sup>, Юлий Рыбаков, Геннадий Трифонов, Вадим Филимонов.

Чем же жрецы муз осердили строгую Фемиду?

## КОЕ-ЧТО О ПЕТЕРБУРГСКИХ ТУМАНАХ

Петербург — Петроград — Ленинград, город, освященный художественными традициями и великими именами, всегда был и остается сердцем интеллектуальной жизни России. Только ленинградское отделение Союза писателей насчитывает около тысячи человек, Союза художников — еще больше, — около трех тысяч, а уж кинематографистов и вовсе не счесть. Эти

---

<sup>1</sup> Художник Владимир Гоос в апреле 1977 г. был осужден на два года лагеря по фальсифицированному уголовному делу.



тысячи «обелеченных»<sup>2</sup> жрецов Аполлона стоят на страже чистоты официального искусства, которое в качестве высшей эстетической и моральной ценности манифестирует то, что служит (по новой советской конституции) на благо развитого социалистического общества.

Очевидно, что в это социалистическое прокрустово ложе многое не укладывается. Люди, чье дарование сочетается с высокой нравственной позицией и острым чувством гражданственности, в большинстве случаев остаются за пределами официальных организаций. Оговоримся сразу: отказ от сотрудничества с властями еще не означает оппозиции по отношению к ним. Деятели культуры, о которых идет речь, не создают программ своего движения, не вступают в борьбу и в полемику с официальной идеологией. Эти люди ведут подвижническую жизнь, пафос их деятельности заключается в свободном, не ограниченном рамками существующей тотальной системы самовыражении, в осмыслении наиболее животрепещущих проблем нашего времени, в честном служении искусству.

Плоды их работ значимы, их нельзя замалчивать и игнорировать. Поэтому можно сказать, что в Ленинграде оформилось движение независимо мыслящей творческой интеллигенции — так называемая вторая культура. Вторая культура, в отличие от первой, или официальной, государственной, не может быть ангажирована властями, она не отражает мировоззрения и не защищает интересов правящих кругов СССР.

В среде художников, литераторов, философов и теологов нонконформистов Ленинграда наиболее популярны места сторожей, кочегаров, пожарников,

---

<sup>2</sup> «Обелеченный» — нелитературный термин, который используется для обозначения представителей государственных организаций, выдающих своим членам специальные членские билеты.

техников по лифтам. Заработок нищенский — 60 рублей в месяц. Но зато, если на вверенную вам территорию не проберется вор, если не случится пожар, если не застрянет лифт между этажами, вы располагаете уединением и свободным временем.

Туманным утром, традиционным туманным утром по улице прославленного своей архитектурой и тремя революциями Ленинграда бредет, слав смену, художник или поэтесса, обдумывая извечные проблемы человеческого бытия, и в этом тумане неслышно следуют за ними тени в голубых мундирах, вернее, в голубых погонах, отмечая что-то в своих записных книжечках.

Художник ничего не замечает. Он идет дальше, а бумаги, составленные за его спиной, затем оседают в досье «Большого Дома»<sup>3</sup>, и в этих досье зарождаются «кобры»<sup>4</sup>.

Идет художник по городу, погруженный в свои мысли, идет, ничего не замечая, а за ним ползет кобра.

Туман...

Художник ничего не замечает.

## УЛИЦА ЖУКОВСКОГО, 19

Поэтесса Юлия Вознесенская — плоть от плоти, кровь от крови второй культуры. Она в центре этого культурного движения. Живая, энергичная, всегда умеющая объединить людей вокруг себя, Юля эрудирована, обаятельна и остра. Вознесенская — не только талантливая поэтесса, она не менее талантливый орга-

---

<sup>3</sup> «Большой Дом» — здание ленинградского ГБ, расположенное на Литейном проспекте, дом № 4.

<sup>4</sup> «Кобра» — профессиональный термин, рожденный, по слухам, в недрах КГБ. Он означает некое заведенное на человека «дело», которое можно пустить в ход в любое время.

низатор, человек дела, собравший вокруг себя многих представителей независимой творческой интеллигенции Ленинграда. Ее адрес — Ленинград, ул. Жуковского, д. 19, кв. 10 — известен многим. У нее «открытый дом». В нем — идеи, стихи, живопись, гостеприимство, искренность, честность. Ничего, что квартира коммунальная, соседи привыкли к толпам народа; пришедшего послушать поэта, молодого философа или посмотреть новые картины.

Юлия Вознесенская — коренная ленинградка. Училась в театральном институте на театроведческом отделении. Стихи начала писать в юности, широко печаталась в Самиздате. Немногие стихотворения, попавшие в официальные сборники, вызвали одобрение известного переводчика и искусствоведа Т. Г. Гнедич. Несколько раз Вознесенская была победительницей на устных поэтических турнирах. Но победы — в прошлом. Остро социальные стихи Вознесенской сейчас вряд ли получили бы возможность зазвучать с эстрады.

## ПОЭТИЧЕСКАЯ «ЛЕПТА»

В начале семидесятых годов в Ленинграде оформилась группа талантливых и оригинальных поэтов, стихи которых не допускались к опубликованию. В 1975 году эта группа поэтов-нонконформистов отважилась вступить в диалог с официальной издательской организацией — Лениздатом. Поэты создали сборник и назвали его «Лепта». Юлия Вознесенская входила в состав редколлегии.

В портфеле «Лепты» были произведения безвременно умерших поэтов, как, например, Роальда Мандельштама и Леонида Аронзона, а также стихи тех, чьи имена читатель, возможно, услышит впервые: это — Юрий Алексеев, Тамара Буковская, Юлия Вознесенская, Евгений Вензель, Михаил Генделев, Михаил

Еремин, Елена Игнатов, Виктор Кривулин\*, Константин Кузьминский, Борис Куприянов, Наталья Лесниченко, Алла Минченко, Александр Миронов, Владимир Нестеровский, Олег Охупкин, Евгений Рейн, Сергей Стратоновский, Петр Чейгин, Елена Шварц, Виктор Ширали, Владимир Эрль. В сборнике приняли участие и совсем молодые поэты и те, чьи стихи не могли пробиться к читателю уже лет двадцать, так как наиболее талантливых и оригинальных поэтов в СССР, как правило, не печатают.

Руководители Лениздата очень долго соображали, кому бы отдать сборник на рецензию. Думали, думали и вспомнили: есть ведь в Ленинграде профессор от литературы Н. Выходцев, он в свое время в творчестве Бориса Пастернака «разобрался», ему можно, он и в стихах молодых «разберется». И профессор «разобрался». Его рецензия скорее напоминала политический донос. Сборник напечатан не был. Лениздат он не заинтересовал, но зато сильно заинтересовал ленинградское ГБ.

Сотрудники этой организации стали постоянно вызывать к себе на «беседы» Ю. Вознесенскую. Она от «бесед» не увивала, что, по всей вероятности, было ошибкой. То, что Юлия в ГБ ничего лишнего не сказала, — несомненно. Несомненно и то, что гебисты во время этих «интеллектуальных бесед» до тонкостей изучили ее психологию. Может быть, уже тогда за ней была установлена негласная слежка, пущены в ход микрофоны и т. п., что позволило ГБ впоследствии действовать наверняка.

## ЧТО ТАКОЕ «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»

Неудача с публикацией «Лепты» не обескуражила Юлию Вознесенскую и ее друзей. Ленинградские фило-

---

\* См. его стихи в этом номере «Граней». — Ред.

софы, ученые и литераторы — неконформисты — переориентировались на Самиздат. В 1976 году в Ленинграде появилось сразу три периодических самиздатских органа: литературно-художественный альманах «Часы», журнал «37» и сборник «Художественный архив». Ю. Вознесенская входила и в редколлегию альманаха «Часы».

Позднее, вместе с художниками Игорем Синявиным и Вадимом Филимоновым и поэтом Геннадием Трифоновым, она задумала иллюстрированный поэтический сборник «Мера времени». И. Синявин составил проект-программу этого сборника. В проекте говорилось:

«В стране нет свободы творчества. В стране нет свободы печати. Литераторы не печатаются годами».

Редколлегия собирала материалы для сборника.

5 апреля 1976 года по городу разъезжал трамвай с надписью «СВОБОДУ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМ», на здании консерватории появилась надпись «СВОБОДУ АНДРЕЮ ТВЕРДОХЛЕБОВУ». Атмосфера накалялась.

30 мая 1976 г. ленинградские художники-неконформисты задумали устроить выставку своих работ на открытом воздухе. Выбрали набережную Невы у стены Петропавловской крепости. В подготовке к выставке Ю. Вознесенская принимала активное участие. Совместными усилиями КГБ и УВД выставка была разогнана.

12 июня того же года художники вновь решили организовать выставку, но и на этот раз КГБ не дремало: за активистами была установлена слежка. Игоря Синявина и Александра Орефьева «за хулиганство и сопротивление властям» посадили на пятнадцать суток. Ясным воскресным утром, в день открытия выставки, выходя из дома, Юлия Вознесенская обнаружила у дверей своей квартиры наряд милиции.

— Сегодня вам не следует выходить из дома.

— Кто дал такое распоряжение?

— Так сказано, — последовал туманный ответ.

В Уголовном кодексе РСФСР не существует такой меры пресечения, как домашний арест. Но когда надо предупредить демонстрацию евреев-отказников, или выступление в годовщину восстания декабристов на Сенатской площади, или выставку неофициальных художников — у дверей вашей квартиры столбом стоит «мент», на лестничной площадке некто в штатском читает газету, на шее у него болтается рация, а за углом или во дворе где-нибудь поблизости дежурит «незабудка» — милицейская патрульная машина «ПМГ». Вы выходите из собственной квартиры (право неприкосновенности жилища не нарушено), спускаетесь по лестнице — милиционер нервно советует вам вернуться домой, отложить до завтра все дела и покупки, не принимать у себя дома гостей. Вы не внемлете его совету, выходите на улицу. Штатский по рации вызывает «незабудку» — карета подана, лакей в милицейской форме, умильно улыбаясь, предлагает вам проследовать в отделение, где вас «для выяснения личности» продержат столько, сколько им понадобится.

...Юля не стала продолжать бессмысленный диалог, она вернулась домой, отворила окно и спустилась с четвертого этажа во двор по водосточной трубе. Затем, минуя милиционеров, она прошла дворами и через двадцать минут была уже у Петропавловской крепости.

## КОБРА В ДЕЙСТВИИ

Очевидно, в ГБ Юлию Вознесенскую считали лидером и вдохновителем культурного движения, а членов редколлегии сборника «Мера времени» — главными возмутителями спокойствия в Ленинграде. А может быть, они были наиболее беззащитными. Посему

сотрудники ГБ решили расправиться с ними, надеясь обезглавить всё ленинградское демократическое движение.

*Игорь Синявин* подал документы на выезд за границу; заниматься им представлялось нецелесообразным (сейчас живет в США).

*Вадим Филимонов* проводил лето в Коктебеле, где им занимались «симферопольские товарищи» (сейчас сидит в лагере).

*Юлию Вознесенскую* в то время еще не в чем было обвинить (сейчас находится также в лагере).

*Геннадий Трифонов*, человек своеобразных сексуальных вкусов, оказался легкой добычей. Помимо этого, ему, в прошлом — сотруднику ГБ, старые коллеги не могли простить дезертирства. Кобра подняла голову — на Г. Трифопова открыли дело по статье «Развращение несовершеннолетнего».

Дело предоставило возможность произвести ряд обысков у друзей Г. Трифопова, в частности у Юлии Вознесенской, и пополнить их досье свежими материалами.

В ночь с 3 на 4 августа на фоне строгого серого гранита Петропавловской крепости появилась громадная надпись: «ВЫ ДУШИТЕ СВОБОДУ, НО ДУША НАРОДА НЕ ЗНАЕТ ОКОВ», в другом месте — «ПАРТИЯ — ВРАГ НАРОДА» и снова — «СВОБОДУ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМ». Надписи видели тысячи ленинградцев.

Ленинградские власти усиленно поддерживают миф об особой преданности жителей «города — колыбели Октябрьской революции» революционным традициям и существующему режиму. Поэтому появление совершенно чуждых этим традициям лозунгов было воспринято как дерзкий вызов.

После двух месяцев следствия Г. Трифопова неожиданно взяли под стражу и вскоре он начал давать «показания».

«Следователь показывал мне целую тетрадь, испи-  
санную Трифоновым, — говорила месяц спустя Ю. Воз-  
несенская, — можно было подумать, что Гена писал  
мемуары». Увы, именно эти «мемуары» и предоста-  
вили сотрудникам ГБ возможность в начале сентября  
1976 года арестовать Наталью Лесниченко (Гум),  
Юлия Рыбакова и Олега Волкова. Юлию Вознесенскую  
арестовали в тот же день в поезде, следовавшем на  
Украину.

«...Когда меня брали, — рассказала Юлия, — я  
думала, что — всё: брали штатские, документов никто  
не показал. Меня высадили на какой-то платформе, и  
только тут появился первый милиционер. Я сразу  
немного успокоилась: значит, сейчас не будут убивать  
втихую, только арестовывают. Потом меня отправи-  
ли в Питер, в КПЗ. Я ехала на юг, на мне было толь-  
ко легкое платье, а на дворе уже сентябрь, ночи хо-  
лодные, да и днем не жарко. В камере было очень хо-  
лодно. Ребят на допросах шантажировали моим здо-  
ровьем, вынуждая признаться. Наташа, Волков и Ры-  
баков всё рассказали, их рассказы совпали, и следствие  
потекло...»

Через три дня Юлия Вознесенская и Наталья Лес-  
ниченко (Гум) были отпущены, подписав бумагу о  
невыезде из Ленинграда. Причина этого заключалась  
отнюдь не в гуманном отношении к женщинам, а в  
полном отсутствии прямых улик против них.

## ИХ НРАВЫ И ОБЫЧАИ

В середине сентября с Ю. Вознесенской было сня-  
то обвинение по делу № 61 (порча памятников архи-  
тектуры) в связи с отсутствием улик. Однако тут же  
ей было предъявлено новое обвинение по ст. 70 УК  
РСФСР — «Распространение заведомо ложных кле-  
ветнических измышлений, порочащих государственный  
и общественный строй Советского Союза». Через не-



сколько дней после открытия нового дела Юлию неожиданно пригласили в ОВИР. Там ей предложили подать документы на выезд в Израиль. Вознесенская обещала подумать.

Через два дня к ней на дом явился милиционер: «Вас ждут в ОВИРе с документами!»

В ОВИРе произошла такая беседа:

— Юлия Николаевна, почему вы до сих пор не приносите документы?

— Вы вызывали меня только три дня назад, я не успела собрать их. Кроме того, я — не еврейка.

— Это не имеет никакого значения! Мы выпускаем в Израиль не по признаку национальной принадлежности. Мы объединяем семьи.

— Но у меня нет ни семьи, ни родственников в Израиле, все мои родные здесь. Кроме того, у меня нет вызова!

— Не беспокойтесь, Юлия Николаевна! Ваш вызов находится у нас. Он — от ваших друзей, они хотят вас видеть и жить вместе с вами.

— Но я не могу уехать одна, я замужем!

— Не беспокойтесь! Мы можем отпустить вас с детьми без оформления развода с мужем, либо ваш муж может ехать с вами. Принесите документы.

— Когда?

— Завтра, в крайнем случае, послезавтра.

— Но я не успею собрать документы в такой короткий срок!

— Принесите те, которые у вас уже есть.

Тогда Юлия решилась выдвинуть последний свой аргумент:

— Я не могу ехать за границу. У меня подписка о невыезде. Против меня возбуждено дело по статье 70. Я должна предстать перед судом!

Инспектор ОВИРа словно только и ждал этого:

— Юлия Николаевна, неужели вы не понимаете, что если человек перестает быть гражданином СССР,

возбуждение против него дела по такой статье теряет всякий смысл.

Сознавая, что ей грозит, Юлия Вознесенская всё же отказалась уехать за границу. События, как говорится, не заставили себя ждать. На следующий день, 25 декабря, ее пригласили в прокуратуру, а оттуда отвезли в следственную тюрьму. Уже через неделю Вознесенская предстала перед судом.

### «ЗАКОН, ЧТО ДЫШЛО...»

Дело слушалось в здании городского суда на Фонтанке. Маленький зал судебных заседаний с трудом мог вместить человек тридцать. Народу собралось столько, что к толпе, ожидавшей начала суда, то и дело подходили удивленные служащие и спрашивали, кого будут судить и по какой статье. Когда Юлия в сопровождении конвоя поднималась по лестнице, друзья встретили ее аплодисментами: всем было известно, что, в знак протеста против незаконных действий властей, со дня ареста она голодает.

— Если будете так себя вести, ни один человек в зал не войдет! — раздался грубый окрик начальника конвоя.

В зал действительно удалось войти немногим: половина мест к началу заседания была занята неизвестными лицами в штатском.

Председательствовала судья Исакова, снискавшая себе сомнительную известность средневеково-жестокими приговорами по делу «самолетчиков»<sup>5</sup>. Лица «народных заседателей» Кузнецова и Юдина уже примелькались некоторым присутствующим: свидетели

---

<sup>5</sup> Речь идет об известном ленинградском деле 1970 г., когда группа людей, отчаявшихся получить разрешение на выезд из Советского Союза, пыталась организовать захват самолета. Попытка не удалась. По делу было вынесено два смертных приговора, замененных по кассации 15 годами лагерей строгого режима.

по делу не раз встречали этих заседателей в коридорах «Большого дома».

Вознесенская отказалась от участия адвоката в процессе, поскольку даже самый честный и принципиальный советский адвокат может лишь просить суд принять во внимание какие-то смягчающие обстоятельства и никогда не пойдет на полное отрицание вины в политическом процессе. Юлия Николаевна надеялась таким образом получить возможность свободно излагать свои взгляды.

Юлию Вознесенскую обвиняли в распространении антисоветской литературы. Основанием для обвинения были три документа, изъятые при обысках (на квартире Ю. Вознесенской только в течение зимы, весны и лета 1976 года было проведено шесть обысков): два рукописных и один машинописный проект так и не вышедшего альманаха «Мера времени».

Первый рукописный документ, озаглавленный «Анкета к друзьям», был составлен Игорем Синявиным. Он предлагал ее всем своим друзьям, надеясь таким образом собрать материал для книги. Некоторые вопросы анкеты касались отношения к существующему строю, как то: «Как вы относитесь к выезду за границу?», «Как вы относитесь к А. Солженицыну?» и т. д. Понятно, что ответы на такие вопросы могли заинтересовать суд не менее, чем начинающего писателя. Отметим также, что из самого характера анкеты следовало, что она нужна была только одному человеку — Синявину, а отнюдь не предназначалась для широкой огласки.

Другой рукописный документ, озаглавленный «Для прессы», представлял собой биографию, лучше сказать, исповедь Геннадия Трифонова, показаниями которого, о чем мы уже упоминали, органы воспользовались для привлечения к суду Ю. Вознесенской и, позднее, ее друзей Юлия Рыбакова и Олега Волкова. Незадолго до своего ареста Г. Трифонов продиктовал

Юлии вышеупомянутый текст с просьбой опубликовать его в случае, если его посадят. Мы не можем поручиться за достоверность всех содержащихся там сведений, однако известно, что Г. Трифонов в прошлом служил в ГБ и как будто сообщал в своей биографии некоторые сведения, порочащие эту организацию. Следует заметить, что каждая страница биографии Трифонова была им лично подписана, иначе говоря, Юлия Вознесенская выступала только в роли его секретаря.

Как свидетели, так и использованные судом документы не подтверждали состава преступления Юлии — факта распространения литературы антисоветского содержания. Но всегда следует помнить, что судопроизводство в СССР — абсолютно формальная процедура, пьеса, со всеми эпизодами, составленная и отрепетированная в вышестоящей организации, в данном случае в ленинградском ГБ. Поэтому, несмотря на крайнюю неубедительность предъявленных обвинений, суд «вынес», очевидно, определенный уже задолго до суда суровый приговор — пять лет ссылки. Заметим, что по статье 70 можно получить максимально пять лет лагеря. Заменив ей лагерь ссылкой, суд (по словам судьи) проявил гуманность по отношению к женщине, матери двух несовершеннолетних детей.

## ПИСЬМА

После суда приговоренных к ссылке обычно отпускают домой до отправки по месту назначения. Юлию отправили в тюрьму и поместили там в камеру с несколькими уголовниками. Неизвестно, кто распространил среди них слух, что если они задушат «политическую», им сократят сроки. Однажды ночью несколько сокамерниц Вознесенской попытались задушить ее подушкой. К счастью, проходивший в это время мимо камеры тюремный врач услышал шум и заставил охрану войти в камеру. Покушение подорва-

ло и так уже ослабленное двухнедельной голодовкой здоровье Юлии Вознесенской, — ее пришлось перевести в тюремную больницу. Но, несмотря на тяжелое состояние (на шее Юлии еще долго были видны синяки и кровоподтеки), она не отменила голодовку и продолжала ее еще почти в течение месяца. Только на 56-й день, после того как у Юлии развилась тяжелая форма псориаза и врачи отказывались ее лечить, она решила прекратить ее.

Через несколько дней еще очень слабая и больная Юлия Вознесенская была отправлена в Воркуту. Очевидно, такая спешка была связана с предстоящим судом над Ю. Рыбаковым и О. Волковым. Властям, по всей вероятности, не хотелось, чтобы она выступала в качестве свидетеля на суде.

В Воркуте Вознесенская оказалась буквально брошенной на произвол судьбы: ей не предоставили ни комнаты, ни работы, ни средств к существованию. После нескольких дней скитаний по городу в поисках жилья и работы, Юлия получила известие о болезни ее младшего сына. Идя на большой риск, она села в поезд и вернулась в Ленинград. Конечно, за ней следили. Через три дня на квартиру ее подруги Натальи Лесниченко, где лежал больной ребенок, явились милиционеры и лица в штатском. Н. Лесниченко отказалась отворить дверь. Дверь взломали и вошли в квартиру. На глазах у больного ребенка Вознесенскую арестовали и затем вновь отправили в Воркуту, где ей вновь предстояло предстать перед судом за «побег с места ссылки». Но здоровье ее настолько ухудшилось, что суд приходилось откладывать несколько раз. Он состоялся только через 5 месяцев — 29 июля 1977 г. Смягчающие «вину» обстоятельства — болезнь ребенка — не были приняты во внимание. Суд приговорил Юлию Вознесенскую к двум годам лагеря.

*21 янв. 1978 г.*

Владимир ЧЕРНЯВСКИЙ

## ОБРЕЧЕННЫЙ БЕССМЕРТЬЮ

*Сологуб и его роман «Мелкий бес»*

*Человек человеку дьявол.*

*Ф. Сологуб*

*...Передонов обречен бессмертием.*

*Е. Замятин*

### 1

Прошло семьдесят лет со дня выхода в свет полного издания романа «Мелкий бес» (1907) и полвека со дня смерти его автора, Федора Кузьмича Тетерникова — Федора Сологуба (1863—1927). И автор, и роман заслуживают того, чтобы взглянуть на них в исторической перспективе...

Обращаясь в мае 1921 года к Ленину с напрасной просьбой разрешить ему выехать за границу, Сологуб подчеркнуто назвал себя сыном портного и прачки. Добавив, что четверть века тянул лямку преподавателя городского училища, он с гордостью указал на двадцать томов своих художественных произведений<sup>1</sup>. Едва ли вождь читал все эти сочинения, но с «Мелким бесом» явно был знаком. Не упомяни он в одной из своих статей по школьному вопросу о *передоновщине*, вряд ли роман выпустили бы в советское время (да и

то всего двумя изданиями, причем второе, кемеровское, 1958 года, было осуждено «советской общественностью»). Для Ленина была, конечно, худшей, архивредной позицией простодушно наивная ссылка Сологуба на то, что за границей он-де не собирается заниматься политикой, ибо никогда ни в каких партиях не состоял. Ильич наверняка знал об отношении «беспартийного» Сологуба к контактам деятелей культуры с советской властью. Вскоре после большевистского переворота, на собрании так называемого Временного комитета Союза деятелей искусств, Сологуб громогласно заявил:

«Мы ничего не желаем отнимать у народа, как думает Луначарский, ибо Луначарский — не народ, а только «господин в пиджаке», от которого нужно оберегать искусство — достояние всего народа».

В проекте наиболее резкой, сологубовской, резолюции, принятой собранием почти единогласно, говорилось, что Союз «объявляет себя единственным органом, который имеет право на управление художественной жизнью страны»<sup>3</sup>. У многих еще свежо было в памяти и то, что Сологуб называл Октябрьскую революцию «обезьяной Великой французской революции». Вряд ли забыто было и другое его высказывание — о «примазавшемся к революции сброду» (из статьи «Государственное младенчество», опубликованной еще в августе 1917 года). Всё это не могло не изолировать Сологуба, превратив писателя во внутреннего эмигранта. Творческая изоляция (то, что с трудом удалось издать, прошло, в сущности, незамеченным) усугублялась личной трагедией — самоубийством жены писателя, А. Н. Чеботаревской. Новому времени чужды и не нужны были и он сам, и его «старые» песни, которые он всё больше писал «в стол». К 1920 году относятся следующие строки (согласно приписке Сологуба, сочиненные им в Совдепе):

Муза, как ты истомилась  
Созерцаньем диких рож!  
Как покорно приучилась  
Ждать в приемных у вельмож!

Утешаешься куреньем,  
Шутишь шутки, сердце сжав,  
Запасись еще терпеньем, —  
Всякий путь для музыки прав<sup>4</sup>.

Ряд стихов пореволюционного периода, не включенных в сборник Сологуба, вышедший в 1975 году в Большой серии «Библиотеки поэта», приводится в короткой статье Н. В. «Стихи из архива Ф. Сологуба» («Грани», № 101). Среди них и стихотворение «Забыла ты полет орлиный...» (март 1918), с трагедийно патетической концовкой:

Пускай умру, убит грозою,  
Но никогда, Россия-мать,  
Тебя, гонимую судьбою,  
Не стану злобно проклинять.

Среди них и стихи 1926 года о городе Петра:

Людьми весь город обмурашен,  
Которые скопились здесь,  
Иду в него, но он мне страшен,  
И отвратителен он весь.

Бесстыдно он опролетарен,  
Полуразрушен, грязен, груб.  
В веках жестокий век подарен  
Тебе, плененный Сологуб!

Но всё ж ликуй: вот Навьи чары,  
Тяжелых снов\* больной угар, —  
Ты эти предсказал кошмары,  
Где Передонов — комиссар!

---

\* «Навьи чары», «Тяжелые сны» — романы Сологуба. — В. Ч.



Со справедливым недоумением приводя фразу из предисловия к упомянутому сборнику стихов Сологуба («...в целом поэзия Сологуба этих лет обнаруживает признаки исторической истерзанности»), Н. В. столь же справедливо заключает, что Сологуб «обнаруживает в своих стихах этого периода «признаки исторической истерзанности» бесчеловечного «эксперимента» с Россией уже к исходу первого десятилетия» революции...

Трагедия Сологуба-художника обострялась тем, что он постоянно и тщетно искал в Альдонсе Дульцинею, постоянно и тщетно стремился «преобразить» «низкий», тварный мир. Еще в дореволюционном своем романе «Творимая легенда» (первая часть трилогии «Навыи чары») он писал:

«Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я — поэт. Косней во тьме, тусклая, бытовая, или бушуй яростным пожаром, — над тобою, жизнь, я, поэт, воздвигну творимую мною легенду об очаровательном и прекрасном».

Эти программные строки о «возвышающем обмане» многое разъясняют в жизни и творчестве Сологуба.

При всей нелюбви к давно скомпрометированным «измам», нельзя не учитывать, что Сологуб (как всякий подлинный художник не вмещающийся ни в какой «изм») по рождению своему символист. Наряду с Анненским, Бальмонтом, Брюсовым, Гиппиус, Мережковским, Минским, он как поэт принадлежал к поколению так называемых старших символистов, которые выступили в литературе в начале восьмидесятых годов прошлого столетия. В сологубовских произведениях тех лет сказались настроения глубокого пессимизма и мистицизма, характерных и для *предтеч* — западных, преимущественно французских, символистов «конца века». Говоря в своей статье об И. Анненском («Возрождение», окт. 1965) о присущей символистам

*элитности* (совокупность дарования, утонченности и необходимости для немногих), В. Н. Ильин справедливо причисляет к элитным поэтам и Сологуба. Он говорит о его духовном родстве с такими элитными поэтами Франции, как Бодлер, Эредиа, Рембо, Верлен. Не случайно, блестящий переводчик, Сологуб подарил читателю и «русского» Верлена.

«Дорогой Федор Кузьмич, — писал Сологубу его младший брат А. Блок (2.12.1907). — За надпись на книге Верлена и за книгу спасибо Вам от всей моей печальной души. Вы знаете ли, что последнее стихотворение (второй вариант: «Синева небес над кровлей») попало мне очень давно и было для меня одним из первых откровений новой поэзии»<sup>5</sup>.

В августе 1908 года, в рецензии на только что вышедшую книгу стихов Сологуба «Пламенный круг», Блок также отмечал (не пользуясь этим термином) элитность сологубовской поэзии.

«Менее всего, — писал он, — известны публике и критике стихи Сологуба. Может быть, они так и останутся достоянием немногих, но истинных почитателей, разделяя судьбу поэзии Тютчева и Баратынского». Блок подчеркивал, что в нынешней литературе не знает «ничего более цельного, чем творчество Сологуба», который «давно уже стал художником совершенным и, может быть, не имеющим себе равного в современности».

Особенно он выделял стихотворение «Нюрнбергский палач» (с обрамляющими четверостишиями «Кто знает, сколько скуки / В искусстве палача! / Не брать бы вовсе в руки / Тяжелого меча»), которое, по его словам, «может стать «классическим», как роман «Мелкий бес»<sup>6</sup>...

## 2

Подлинная известность пришла к Сологубу именно лишь после появления в 1907 году полного текста этого романа, который к началу первой мировой вой-

ны выдержал семь (!) изданий. Этот роман, прочитанный, по словам Блока, «всею образованной Россией», — не только крупнейшее достижение Сологуба, но и одна из вершин русской и мировой литературы.

В этой единственной в своем роде книге Сологуб предстает перед нами законным наследником лучших традиций реалистической сатиры, гротеска и фантастики, своеобразно преломленных сквозь призму его собственного художественного темперамента и метода. В этой связи, мне кажется, «Мелкого беса» плодотворней рассматривать именно в плане развития гоголевско-щедринско-чеховских традиций, нежели в плане сравнения с опытом французского символистского романа (конкретно, с романом Ж.-К. Гюисманса «Наоборот»), как то сделала, например, в своей интересной монографии о Сологубе Г. Селегень («Прехитрая вязь», США, 1968). При всем том следует подчеркнуть, что Сологуб не просто развивает чьи-то традиции, — с Сологуба, как заметил Е. Замятин, «начинается новая глава русской прозы»<sup>7</sup>...

В основу жизненного материала романа легли многолетние впечатления автора от его пребывания в глухом городишке, где он преподавал математику.

«Я не был поставлен в необходимость сочинять и выдумывать из себя; все анекдотическое, бытовое и психологическое в моем романе основано на очень точных наблюдениях..., — писал Сологуб в предисловии ко второму изданию «Мелкого беса» (январь 1908). — Этот роман — зеркало, сделанное искусно. Я шлифовал его долго, работая над ним усердно. Ровна поверхность моего зеркала и чист его состав. Многократно измеренное и тщательно проверенное, оно не имеет никакой кривизны. Уродливое и прекрасное отражаются в нем одинаково точно»<sup>8</sup>.

Когда появилась книга, критики стали в тупик, пораженные ее новизной. Спор о ней не утих до сих пор: одни причисляли (и причисляют) роман к быто-

вым, другие — к символистским, третьи, как, например, Блок, — к сатирическим произведениям: «...автор его — законный наследник Гоголя, ... последний сатирик дореволюционной России»<sup>9</sup>. Такая разноголосица мнений уже сама по себе свидетельствует о необычности и живучести «Мелкого беса», которой он, думается, обязан не столько бесспорным языковым (вообще — стилевым) находкам, сколько образу главного героя — Передонова. В чем же причина нестарения этого персонажа, рожденного семьдесят лет назад, в чем и поныне актуальный смысл этого нарицательного образа?..

Стендаль как-то заметил: «Только то пригодно для описания, что останется интересным и после того, как история вынесет свой приговор». И вот, хотя история и вынесла свой «приговор», хотя канула в Лету дореволюционная российская жизнь, по-прежнему осталось интересным то, о чем писал Сологуб. Ибо он, как всякий настоящий художник слова, писал не о событиях, которые проходят, а о явлениях, о *сущностях*, которые остаются. Ибо он, по собственным словам, стремился

«...отобразить жизнь в ее целом, не с внешней только ее стороны, не со стороны частных ее проявлений, а образным путем символов, изобразить по существу то, что, кроясь за случайными, разрозненными явлениями, образует связь с Вечностью, со вселенским мировым процессом»<sup>10</sup>.

Основной сюжет книги несложен.

Учитель словесности в гимназии заштатного города Сапожка Ардальон Борисович Передонов сожительствует со своей родственницей Варварой. Его цель — заполучить благодаря Варваре (на коей он обещает в благодарность жениться) инспекторское место. Для этого Варвара, в свою очередь, должна действовать через некую княгиню Волчанскую, «гарантийного» письма от которой и ждет Передонов. Варвара с чу-

жой помощью это письмо подделывает, но обман, опять же с чужой помощью, раскрывается, что служит одной из главных причин передоновского сумасшествия...

Есть в книге и побочный, «пасторальный», сюжет — «любовная игра» между одной из несостоявшихся невест Передонова, Людмилой Рутиловой, и гимназистом Сашей Пыльниковым. По замыслу, этот эротический эпизод призван был увести читателя в «иные» миры (дань символизму!), но на деле (автор хотел сказать одно, а «сказалось» другое!) показал, по верному замечанию критика А. Горнфельда, образчики «отвратительно исковерканной жизни»<sup>11</sup>. И Людмилочка (как ее ласково называет Саша), и он сам — оба они косвенно тоже повинны в безумии Передонова. (Он был почему-то уверен, что Саша — переодетая барышня, и донес на него директору, который даже велел втайне освидетельствовать мальчика!)

Как мы видим, материал книги — идиотизм и дремучая пошлость провинциального существования, но благодаря гротескно-сатирической форме изложения, своеобразной *карнавальности* (травести — переодевание Саши в женское платье, костюмированный бал в городском клубе, герои, двоящиеся в воображении Передонова на людей и животных, и т. п.) материал этот реализуется в сюжете таким образом, что создается ощущение фантасмагории, метафизического кошмара.

Как же представлен в романе Передонов?

Перед нами традиционный для классической русской литературы тип маленького человека, однако этот маленький человек временами страшен. Гоголевский Акакий Акакиевич грезил о шинели, Передонов грезит об инспекторском месте, но на этом сходство, пожалуй, и кончается. Башмачкин — ветошка, о которую всякий может вытереть ноги, и мы ему глубоко сочувствуем. Передонов же сам не прочь вытереть

ноги о других — разумеется, нижестоящих. Передонов «вышел» не столько из гоголевской «Шинели», сколько из щедринского «Города Глупова» (Органчик) или из чеховского «Унтера Пришибеева». В собственных мечтах он видит себя «его превосходительством», действительным статским советником: «Шапки долой! В отставку подавайте! Вон!»

Передонова нередко сравнивают с Беликовым (не случайно рассказ Чехова упомянут в романе!), говоря, что «человек в футляре» — его прямой литературный предтеча. Мне кажется однако, что сходство этих персонажей скорее внешнее, нежели внутреннее. Беликов с его патологическим «как бы чего не вышло» не столько страшен, сколько жалок, он не столько способен пугать, сколько сам запуган. К тому же этот «антропос», влюбленный в греческий язык, слишком воспитан, чтобы плевать на обои (дабы насолить хозяйке) или в лицо своей сожительнице, или ругаться площадными словами, как это запросто делает его «коллега» Передонов. (Речь его так и пестрит словечками и выражениями типа *рожи, рыла, хари, морды, накопить, жрать, лаяться; шиш с маслом; на-т-ко выкуси; чего мелешь; женюсь, а Варьку вон* и т. д. и т. п.). «Мракобес» Беликов, подобно Передонову живущий с закрытыми ставнями и пуще всего боящийся сквозняков и простуды, — всё же не чета ему. Беликовых было куда больше, Передоновы же только появлялись, и великая заслуга Сологуба в том, что он их увидел и изобразил. Передонов — это уже пришедший «грядущий хам», предсказанный Мережковским. Просто удивительно, насколько Сологуб опередил современных ему писателей, словно заглянув в будущий «коммунальный мир», где Передоновы обернулись комиссарами, учителями словесности, домоуправами, и прочее, и прочее. Горьковский «воинствующий мещанин» Клим Самгин, при всей своей «рафинированности» — только бледная копия Передонова,

так сказать, жиденский, разбавленный бульон в сравнении с эссенцией. К тому же, прообраз будущего коммунального антигероя — Передонов намного опередил Самгина, предварив, вкупе с Варварой, своим приятелем Павлом Володиным и иже с ними, коммунальных персонажей (хулиганов, кляузников, мелких пакостников, косноязычных и невежественных) Зоценко с Ильфом и Петровым (вспомните Воронью слободку, Васисуалия и Варвару!) и даже — в известной мере — войновичевского Алтынника...

При всей своей традиционности, Передонов близок к антигероям нынешней модернистской литературы, если понимать под модернизмом не принадлежность к той или иной школе, а угол зрения, видение жизни как абсурда и трагического тупика, а человека — как одинокую беспомощную жертву отчуждения и самоотчуждения. («Всей своей прозой, — точно отметил Е. Замятин, — Сологуб круто сворачивает с наезженных путей натурализма — бытового, языкового, психологического»<sup>12</sup>). Задолго до Кафки, Джойса, Набокова, Камю Сологуб выявил *страх, ненависть и тоску* как движущие силы человека-полуавтомата, одновременно жертвы и палача.

«В глазах у него (у пляшущего Передонова. — В. Ч.) не было никакого выражения, и только жадный огонь мертвого мерцал в его глазах. Очки прыгали на носу механически как на неживом».

Критика верно подметила эти три ипостаси характера Передонова, причем следует добавить, что тоска его — не символ томления по горным мирам, а знак омертвления, бездуховности, синоним смерти.

Гонимый, словно амоком, страхом перед каким-то мистическим разоблачением и наказанием («...вот тут... в городе болтают всякие пустяки, — еще, может быть... помешают моему назначению, а я ничего такого»), он, подобно сегодняшним Передоновым, стремится опередить «врага», *обстучать его*.

«...Наскажет чего и не было (размышляет он о своей бывшей прислуге, ушедшей работать к жандарму. — В. Ч.), а жандармский наматает на ус, пожалуй, и в министерство напишет».

И он первый бежит к жандарму, и «стучит» — на обывателей, на гимназистов, на учителей. «Стучит» и директору гимназии, и инспектору народных училищ: «У нас учительница одна в красной рубаше ходит». И все они — надо отдать им должное, — как правило, понимают, с кем имеют дело, понимают, что Передонов «того». Нетрудно представить себе, каковы были бы последствия подобных доносов тридцатью годами позднее...

Страх перед неведомыми соглядатаями превращался постепенно в манию преследования, сводил Передонова с ума, принимая жуткие, гротескные формы:

«...Он запирался в спальне, дверь загромождал вещами, — стул на стол, — старательно заграждался крестами и чураньем и садился писать доносы на всех, кого только вспомнит. Писал доносы не только на людей, но и на карточных дам» (с. 342). Передонову уже казалось, что игральные карты за ним подсматривают: «Передонов был уверен, что за дверью стоит и ждет валет и что у валета есть какая-то сила и власть, вроде как у городского: может куда-то отвести, в какой-то страшный участок» (с. 343). И однажды Передонов решил... ослепить карты, выколоть им глаза. «— Да зачем ты это? — с громким хохотом спрашивал Рутитов. — Что им глаза? — угрюмо сказал Передонов, — им не надо смотреть (...). Пиковая дама даже зубами скрипела, очевидно, злобясь на то, что ее ослепили» (своеобразная вариация на пушкинскую тему!).

Но и это не помогло. По ночам ему мерещились карточные фигуры. Однажды на вопрос пробудившейся от его крика Варвары он пробормотал: «— Пиковая дама всё ко мне лезет, в тиковом капоте»...

И взял он как-то всю колоду, да и швырнул в огонь, в печь:



«Карты коробились, перегибались, двигались, словно хотели выскочить из печки... и вдруг, в ярком и злом смятии искр поднялась из огня княгиня (та самая! — В. Ч.), маленькая, пепельно-серая женщина, вся осыпанная потухающими огоньками: она пронзительно вопила тонким голосом, шипела и плевала на огонь.

Передонов повалился навзничь и завыл от ужаса. Мрак обнял его, щекотал и смеялся воркующими голосами» (с. 349).

Подозрительно и многозначительно подмигивают Передонову не только игральные карты, но и портреты. Подмигнул Мицкевич — и он отправил Мицкевича в сортир, а на стену повесил Пушкина: «Всё-таки Пушкин — придворный человек» — пойди угадай, кто сегодня начальству угодней... А сколько недавних Передоновых помешалось на подобном страхе, — только никто уж не смеялся над ними, как над беднягой Передоновым; даже «собаки хохотали над ним, люди облаивали его»...

Передонову кажется, что все в сговоре против него, что Варвара, к примеру, хочет его отравить, резать или выйти за него обманом замуж, а потом донести, чтобы от него отделаться: «Будешь пенсию получать, а меня в Петропавловке на мельнице смеют». Все в этом мерзком городе, где люди «злые, скверные», думает он, против него, подсматривают, подслушивают. Вот обои неспроста плохо приклеены: за ними наверняка прячется соглядатай. И он берет шило и протыкает обои. Проткнув, он торжествующе завыл и заплясал: «Гнил и вонял за обоями заколотый соглядатай» — клоп... А Варвара еще нарочно подливает масла в огонь и, чтобы подразнить его, говорит за дверью разными голосами, а на его тоскливые вопросы с всегдашней наглой ухмылкой отвечает, что ему всё это кажется.

«Не всё же кажется, — тоскливо бормотал Передонов, — есть же и правда на свете.

Да, ведь и Передонов стремился к истине, по общему

закону всякой сознательной жизни, и это стремление томило его... Он не мог найти для себя истины, и запутался, и погибал» (с. 346).

(О, как характерно это лирическое отступление для великой русской литературы, которая и в таких, как Передонов, видела образ Божий!..)

Парадоксально, но факт: Передонов вызывает подчас больше симпатии, чем иные благообразные господа, населяющие страницы романа, — все эти рутиловы, грушины, вершины, преполовенские, хрипачи и т. п. По крайней мере, он «трогательно» откровенен в своей примитивности, в своем неверии и суеверии, в своем хамстве и пакостничестве, в своем страхе перед людьми и перед жизнью. Когда он в ужасе приседает перед нацеленным на него кием, всерьез полагая, что его решили убить, или когда он всерьез отвечает Рутилу на его возглас «Ведь ты же — свинья!» — «Врешь, какой же у меня пятачок, у меня человечья харя», его реакция и сама лексика (стык несовместимых, казалось бы, понятий) вызывают улыбку. Обезоруживают и его «магические заклинания»: «Чур меня, чур, чур, чур! Заговор на заговорщика, злomu языку сохнуть, черному глазу лопнуть! Ему карачун, меня чур-перечур» (с. 275). Обезоруживает, производя поистине оглушительный комический эффект, его домо-строевская трактовка на уроке стихов Пушкина:

Встает заря во мгле холодной,  
На нивах шум работ умолк,  
С своей волчицею голодной  
Выходит на дорогу волк.

«Постойте, — сказал Передонов, — это надо хорошенько понять. Тут аллегория скрывается. Волки попарно ходят: волк с волчихой голодной. Волк — сытый, а она голодная. Жена всегда после мужа должна есть. Жена во всем должна подчиняться мужу» (сс. 363-364)...

«Мелкий бес» — одна из самых загадочных, самых фантастических книг русской и мировой литературы, но фантастичность ее — не лобовая, не поверхностная; «роман Сологуба — прехитрая вязь, такая же тонкая и хитрая, как сама жизнь»<sup>13</sup>. В предисловии к отдельному изданию «Упыря» А. К. Толстого (1900) В. С. Соловьев остроумно заметил:

«...что представление жизни как чего-то простого, рассудительного и прозрачного прежде всего противоречит действительности, оно *не реально* (...) И вот отличительный признак *подлинно* фантастического: оно никогда не является, так сказать, в обнаженном виде. Его явления никогда не должны вызывать принудительной веры в мистический смысл жизненных происшествий, а скорее должны указывать, *намекать* на него» (выделено Соловьевым. — В. Ч.)<sup>14</sup>.

Это глубокое наблюдение подтверждается всеми подлинно художественными произведениями, в коих, в той или иной степени, присутствует мистико-фантастический элемент, будь то произведения Эдгара По, Гофмана, Гоголя или Стивенсона. В «Мелком бесе» мистико-фантастический элемент также присутствует в скрытом виде, сообщая роману Сологуба истинную, а не нарочитую таинственность и метафизическую глубину. Читателю самому предоставляется судить, отчего сходит с ума Передонов: под влиянием ли отчаяния от несбывшейся мечты или под воздействием *недотыкомки* — фантастического существа, порождения больного сознания Передонова и воплощения кошмара, скуки и серости бытия (как бы сниженный, опошленный вариант гаршинского «красного цветка» — этого символа мирового зла). Не случайно роман назван «Мелкий бес»: это именно мелкий бес житейского страха, мерзости, пошлости<sup>15</sup>.

Недотыкомка — эта счастливая словесная находка Сологуба — производное, вероятно, от «недотыка», «недотка» (обл. «недоруха», «незамайка», то, до чего нельзя дотронуться. См. т. 2 Толкового словаря Да-

ля), на что уже обратила внимание критика. Думается, однако, что это слово-понятие произведено и от *тыкаться понапрасну, тыкаться да не дотыкаться*. Это сама неприкаянная душа Передонова, подобно слепому кутенку, тычется во все стороны и всё не туда, и нет ей покоя; не поймешь, то ли Передонова мучит и кружит мелкий бес-недотыкомка, то ли он сам мелкий бес, а недотыкомка — лишь фантом его расщепленного сознания. Перед нами не «сам великий Сатана», а «мелкий бес из самых нечиновных» — своеобразное фантастическое развитие темы лермонтовской «Сказки для детей» (на что справедливо указал О. Цехновицер в предисловии к цитируемому нами изданию «Мелкого беса» 1933 года), темы, отразившейся и в названии романа...

Сологуб замыслил «Мелкого беса» в 1892 году и затратил на него десять лет (в первом, сокращенном, варианте роман был опубликован в 1902 году). К 1899 году относится ключевое для понимания идеи романа стихотворение (пример нередкого взаимодействия поэзии и прозы в творчестве одного и того же художника). Это — стихотворение о недотыкомке, рожденное в процессе кристаллизации замысла книги (причем некоторые слова и выражения из него прямо или с небольшими изменениями вошли в роман, характеризующее появление недотыкомки):

Недотыкомка серая  
Все вокруг меня вьется да вертится. —  
То не лихо ль со мною очертится  
Во единый погибельный круг?

Недотыкомка серая  
Истомила коварной улыбкою,  
Истомила присядкою зыбкою, —  
Помоги мне, таинственный друг!

Недотыкомку серую  
Отгони ты волшебными чарами,

Или наотмашь, что ли, ударами,  
Или словом заветным каким.

Недотыкомку серую  
Хоть со мной умертви ты, ехидную,  
Чтоб она хоть в тоску панихидную  
Не ругалась над прахом моим. (1 октября 1899)<sup>16</sup>

С клинической точностью нарисована в романе картина обесчеловечивания человека, полного распада под влиянием «вонючей недотыкомки» — этого материализовавшегося мрака души. Говоря языком медицины, симптомы нарастающего безумия Передонова, как бы сфокусированные в «синдроме недотыкомки», прослежены с момента первого ее появления.

«Одно странное обстоятельство смутило его (Передонова. — В. Ч.). Откуда-то прибежала маленькая тварь неопределенных очертаний — маленькая, серая, юркая недотыкомка. Она посмеивалась и дрожала и вертелась вокруг Передонова. Когда же он протягивал к ней руку, она быстро ускользала, убегала за дверь или под шкаф, а через минуту появлялась снова, и дрожала, и дразнилась — серая, безликая, юркая» (с. 185).

Когда недотыкомка «зашипела тихо-тихо, сжалась в малый комок и укатилась за дверь», Передонов стал искать ее — в страхе и томлении. И она стала являться вновь и вновь:

«...бегала под стульями и по углам, и повизгивала. Она была грязная, вонючая, противная и страшная... И вот живет она ему на страх и на погибель, волшебная, многовидная, — следит за ним, обманывает, смеется, — то по полу катается, то прикинется тряпкою, лентою, веткою, тучкою, собачкою, столбом пыли на улице, и везде ползет и бежит... измаяла, истомила его зыбкою своею пляскою» (с. 276).

Однажды, когда она снова исчезла, Передонов решил с отчаяния, что спряталась она в кармане Варвариного платья, и с горя и со злости изрезал всё платье. На вопли Варвары он отвечал хмуро и тоскливо:

«— Чего лаешься, дура! Ты, может, чёрта в кармане носишь...» (с. 187): А однажды, когда недотыкомка «из-под стола хрюкала» и смеялась,

«Передонов не вытерпел ее злобного, нахально-визгливого смеха. Он принес из кухни топор и разрубил стол, под которым недотыкомка пряталась. Недотыкомка пискнула жалобно и злобно, метнулась из-под стола и укатилась... Не надолго...» (с. 343).

В одном из финальных эпизодов книги, на костюмированном балу в городском клубе, недотыкомка вновь явилась ему, внушив (во избавление от себя!) безумную разрушительную мысль о поджоге:

«...пламенная недотыкомка, прыгая по люстрам, смеялась и навязчиво подсказывала Передонову, что надо зажечь спичку и напустить ее, недотыкомку огненную, но не свободную, на эти тусклые, грязные стены, и тогда, насытятся истреблением, пожрав это здание, где совершаются такие страшные и непонятные дела, она оставит Передонова в покое. И не мог Передонов противиться ее настойчивому внушению» (с. 400).

Но не только недотыкомка томила и сводила с ума Передонова, который, заболев манией преследования, «начал считать себя тайным преступником», который «со студенческих лет состоит под полицейским надзором».

И тут появляется на сцене новое лицо — Кот, точно сошедший со страниц сказок, оккультных историй или животного эпоса. Сологубовский кот (или чёрт, прикинувшийся котом) — объективация передоновского бреда, но от него тянется нить к булгаковскому коту, который после гофмановского Мура и сам по себе «субъект»... Страницы с участием кота — жемчужины комизма, редкие в русской литературе...

Как-то, узнав, что кот исчез из дому, Передонов не на шутку испугался. Ему привиделось, что кот

«...отправился, может быть, к жандармскому и там вымурлычит всё, что знает о Передонове, и о том, куда и зачем

Передонов ходил по ночам, — всё откроет да еще и при-  
мяукает, чего и не было» (с. 271).

В другой раз, в день свадьбы (Варвара добила-  
таки своего!), собираясь в церковь, он решил поме-  
тить себя, дабы его приятель Володин, позарясь на  
«обещанное» инспекторское место, «не мог подменить  
его собою». Для этой цели он на разных участках  
тела намалевал чернилами букву «П». Затем он решил  
надеть корсет, чтобы, «если невзначай согнешься», за  
старика не приняли, но Варвара отговорила, льстиво  
заявив, что он еще мужчина в соку. И тут, словно в  
подтверждение, кот чихнул под кроватью. Передонов  
усмотрел в этом чиханье подвох, злую хитрость: «На-  
чихает тут чего не надо»... Кот с каждым днем ста-  
новился ему подозрительней и страшней, Передонов  
чурался от него, но не верил в успех: «Сильное элект-  
ричество у этого кота в шерсти, вот в чем беда». И он  
решил... остричь кота. Сделал ошейник из носового  
платка, привязал веревку и повел кота в парикмахер-  
скую. И тут между ним и парикмахером произошел  
уникальный диалог:

«— Хозяин, кота побрей, да поглаже».

— Извините, господин, мы такими делами не занима-  
емся! И даже не приходилось видеть бритых котов. Это,  
должно быть, самая последняя мода, до нас еще не дошла.

Передонов слушал его в тупом недоумении. Он крикнул:

— «Скажи — не умею, шарлатан» (с. 323)...\*

После этой неудачи Передонов совсем приуныл:  
он был уверен, что кот соглядатайствует, следя за  
ним

---

\* Ср. с знаменитым стихотворным гротеском Маяковского  
(1913 г.):

Вошел к парикмахеру, сказал — спокойный:

«Будьте добры, причешите мне уши»...

Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,

лицо вытянулось, как у груши... — Прим. автора.

«...широко-зелеными глазами. Иногда он подмигивал, иногда страшно мяукал. Видно было сразу, что он хочет подловить в чем-то Передонова, да только не может и потому злится» (с. 341).

Под конец недотыкомка и кот — все словно соединились, чтобы извести Передонова:

«Во всем чары да чудеса мерещились Передонову, галлюцинации его ужасали, исторгая из его груди безумный вой и визг. Недотыкомка являлась ему то кровавою, то пламенною, она стонала и редела... рев ее ломил голову Передонову нестерпимую болью. Кот вырастал до страшных размеров, стучал сапогами и прикидывался рыжим рослым усачом» (с. 370).

А вот Павлушка Володин, приятель Передонова, явно оборачивался бараном, баран же прикидывался Павлушкой — так Передонов, по обыкновению, пренебрежительно-уменьшительно именовал Володина («Чего лягаешься, Павлушка!», «еще боднешь, пожалуй», «барану и сны бараньи», — говорил он ему). Баран — одновременно кротость и глупость.

«Баран стоял на перекрестке и тупо смотрел на Передонова. Этот баран был так похож на Володина, что Передонов испугался. Он думал, что, может быть, Володин оборачивается бараном, чтобы следить» (с. 271).

Наука, конечно, еще не дошла до этого, хотя, кто его знает, говорят, «в Париже завелись волшебники да маги».

Баран заблеял — и опять же напомнил ему Павлушку, когда тот смеялся. И курчав он был, как Павлушка. И обречен был на заклятие, подобно ему. В состоянии полного психического расстройства Передонов зарезал «барана»-Павлушку. Он вдруг «показался ему страшным, угрожающим. Надо было защищаться. Передонов быстро выхватил нож, бросился на Володина и резанул его по горлу» (с. 415). И в этот миг подошел к последней черте: он «сидел понуро и бормотал что-то несвязное и бессмысленное».



Этой строкой завершается роман Сологуба.

3

Однажды, слушая, как Передонов толкует о будущем мире, где будут работать не люди, а машины, Володин злорадно сказал, что его-то, Передонова, всё равно уже не будет, на что последний хмуро ответил:

«— Это тебя не будет, а я доживу.

— Дай вам Бог, — весело сказал Володин, — двести лет прожить да триста на карачках проползать».

И Передонов — дожил, по крайней мере, до наших времен, в чем, увы, не сомневался Сологуб. В одной из неопубликованных статей он с горечью писал:

«Я не принадлежал никогда к классу господствовавших в России и не имею никакой личной причины сожалеть о конце старого строя жизни. Но я в этот конец не верю. Не потому, что мне нравится то, что было, а просто потому, что в новинах наших старина слышится мне наша. Я поверил бы в издыхание старого мира, если бы изменилась не только форма правления, но и форма мироощущения, не только строй внешней жизни, но и строй души. А этого как раз и нет нигде и ни в ком»<sup>17</sup>.

С этими мыслями Сологуба перекликается сказанное о «Мелком бесе» Е. Замятиным.

«Прочтите «Мелкого беса» и вы увидите, что Передонов обречен бессмертью, обречен вечно бродить по свету, писать доносы и «всех значительных в городе лиц уверять в своей благонадежности». «Мещанин — как плесень. Одно мгновение казалось, что он дотла сожжен революцией, но вот он уже снова, ухмыляясь, вылезает из-под теплого еще пепла — трусливый, ограниченный, тупой, самоуверенный, всезнающий. И нужно, чтобы над ним снова просвистел свист сатиры, нужен новый «Мелкий бес»...<sup>18</sup>

Дождемся ли?.. Для ответа на этот вопрос хоте-

лось бы привести отрывок из письма ближайшего друга Федора Сологуба в последние годы его жизни — Р. В. Иванова-Разумника. Это письмо, датированное 7.12.1927 года, адресовано А. Белому и носит характер живого свидетельства о тяжелых предсмертных днях, кончине и похоронах писателя.

Письмо это недавно впервые опубликовано новым русским журналом «Глагол», выходящим в США. Вот отрывок:

«Две недели тому назад Федор Кузьмич дал мне пять тетрадей последних стихов (1925-1927), чтобы Варвара Николаевна (жена Иванова-Разумника. — В. Ч.) переписала отмеченные им, а я попытался бы устроить в каком-нибудь издательстве сборник его стихов. Я и устроил — сегодня, на похоронах; теперь — легко, когда человек умер; а вот при жизни... — да что говорить!

Вот последнее его стихотворение, которым кончается последняя тетрадь; написано 17(30) июля 1927 года.

Подыши еще немного  
Тяжким воздухом земным,  
Бедный, слабый воин Бога,  
Странно-зыблемый, как дым.

Что Творцу твои страданья!  
Кратче мига — сотни лет.  
Вот одно воспоминанье,  
Вот и памяти уж нет.

Страсти те же, что и ныне...  
Кто-то любит пламя зорь...  
Приближаясь к кончине,  
Ты с Творцом твоим не спорь.

Бедный, слабый воин Бога,  
Весь истаявший, как дым.  
Подыши еще немного  
Тяжким воздухом земным.

Ну, вот, милый Борис Николаевич, написал Вам — и полегчало. Простите. Мало нас, ох, как мало остается; а новые поколения когда еще доживут и доработаются до

своего Сологуба. Сологуба, как и Блока, надо заслужить; а это — работа поколений»<sup>19</sup>.

Лучше не скажешь...

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Цитируется по книге: Федор Сологуб. Мелкий бес. 1966, с. 5. Далее — ссылки на это же издание.

<sup>2</sup> Цитируется по книге: «Новое о Маяковском». Литературное наследство, т. 65. М., 1958, с. 566.

<sup>3</sup> Там же, с. 569.

<sup>4</sup> «Мелкий бес», с. 8.

<sup>5</sup> А. Блок. Собр. соч., т. 8. М.-Л., с. 219. Далее — ссылки на это же издание.

<sup>6</sup> Там же, т. 5, сс. 285-288.

<sup>7</sup> Евгений Замятин. «Лица». Международное Литературное Содружество, 1967, с. 36. Далее — ссылки на это же издание.

<sup>8</sup> «Мелкий бес», с. 32. Ср. с рассуждением Стендаля о романе как зеркале на большой дороге («Красное и черное»): «В нем отражаются то лазурное небо, то грязь, лужи, ухабы... Обвиняйте лучше дорогу с ухабами или дорожную инспекцию».

<sup>9</sup> А. Блок, т. 5, с. 285.

<sup>10</sup> Краткая Литературная Энциклопедия, т. 6, с. 838.

<sup>11</sup> А. Блок, т. 5, с. 126.

<sup>12</sup> Евгений Замятин. «Лица», с. 36.

<sup>13</sup> А. Блок, т. 5, с. 125.

<sup>14</sup> Собр. соч. В. С. Соловьева, т. IX. Брюссель, 1966, сс. 376-377.

<sup>15</sup> Блок, например, так и считал, что «Мелкий бес» — это рассказ о том, «во что обращается человек под влиянием «недотыкомки», и о том, как легки души и тела тех, кто избежал ее влияния». Т. 5, с. 125.

<sup>16</sup> Федор Сологуб. Стихотворения. Малая серия «Библиотеки поэта», 1939, с. 167.

<sup>17</sup> «Мелкий бес», с. 9.

<sup>18</sup> Евгений Замятин. «Лица», с. 35.

<sup>19</sup> «Глагол» № 1, «Ардис», США, 1977, сс. 197-198.

## МИСТИЧЕСКИЙ ПЛАН РОМАНА «БЕСЫ»

### *Опыт лингва-стилистического анализа*

Большинство исследователей Достоевского соглашаются на том, что, помимо основного житейского сюжета, в романе «Бесы» существует мистический план, повествующий об инфильтрации темных сил — бесов — в жизнь людей и их разрушительной деятельности.

Присутствие бесов, их вполне реальное вмешательство в дела действующих лиц романа чуткий читатель ощущает инстинктивно. Постепенно, по мере развития сюжета, его охватывает ощущение мрака, смешанное с каким-то непонятным чувством тревоги и страха, доходящим до физического изнеможения. Отдавая дань ощущению как самому верному критерию восприятия искусства, автор предлагаемого здесь анализа имеет своей целью связать некоторые лингвистические явления с творческими задачами Достоевского, намечая, таким образом, еще один возможный путь изучения его художественного мастерства.

Указанием на существование мистического плана служат оба эпиграфа, поэтому, прежде всего, мы постараемся выявить элементы художественного воплощения эпиграфов в тексте романа.

Художественный образ первого эпиграфа — метель, бесовская вакханалия, сбившая с дороги запоздавшего путника. В романе «Бесы» читатель то и дело сталкивается с ситуациями, которые можно называть житейскими метелями. Целые страницы текста повествуют о непонятном, странном брожении в об-

ществе, о хаотической запутанности мыслей и идей, о странных людях, шныряющих повсюду и насаждающих беспорядок, смятение и недоразумение.

На странице 22\* мы читаем:

«Тогда было время особенное: наступило что-то новое, очень уж непохожее на прежнюю тишину и что-то очень уж странное, но всегда ощущаемое...»

Прежней тишине противопоставляется нечто шумное или сумбурное — и при этом «странное», что именно, — до конца не объяснено, — но подбор слов и синтаксический строй многих предложений указывает на присутствие какой-то незримой враждебной силы. Лингвистический анализ стр. 22-26 дает следующие результаты.

Текст изобилует безличными, неопределенно-личными предложениями, а также и такими личными предложениями, субъект которых подразумевает неопределенную группу лиц: «литераторы, которых к ней привели во множестве», «лица, управляющие литераторами», «две-три прежние литературные знаменитости», «сброд новых людей, среди которых было много мошенников, но и много честных и привлекательных лиц, несмотря на некоторые всё-таки удивительные оттенки», и т. д. Описывая действия этих людей и окружающую обстановку, Достоевский пользуется особым словарем: часто встречаются неопределенные местоимения и наречия: что-то, кто-то, почему-то и т. д., а также и такие прилагательные и словосочетания, которые вносят сгущение беспорядка и тревоги: «непонятный», «отвратительный», «унизительный», «неистовые», «истерическое», «высокомерный взгляд», «сумбур стал отвратительнее», «стал еще высокомернее», «унизительные натяжки», «тщеславие до невозможности», «являлись пьяные», «горди-

---

\* Текст цитируется по изданию романа «Бесы» М., 1957 г. Собрание сочинений, т. 7. — С. У.

лись до странности», «бранились, вменяя себе это в честь», «до невероятности высок», «маневрируя около них», «льнули ко всему этому новому сброду», «позорно заискивали», «неистовые рукоплескания», «коллективный протест», «смотрели с презрением и нескрываемою насмешкой», «принимала их с жадностью и с истерическим нетерпением», «хлынуло еще больше народу», «посыпались в глаза обвинения», «скандал непозволительный», «бесцеремонность обвинений» и многие другие.

Кроме того, на странице 25 мы находим предложение, которое как бы дает физическое ощущение метели.

«Говорили об уничтожении цензуры и буквы ъ, о замене русских букв латинскими, о вчерашней ссылке такого-то, о каком-то скандале в Пассаже, о полезности раздробления России по народностям с вольною федеративною связью, об уничтожении армии и флота, о восстановлении Польши по Днепр, о крестьянской реформе и прокламациях, об уничтожении наследства, семейства, детей и священников, о правах женщины, о доме Краевского, которого никто и никогда не мог простить господину Краевскому, и пр., и пр.».

В нем 70 слов; оно содержит семь однотипных дополнений с предлогом *О*, что создает нагнетательную интонацию, своего рода словесные вихри, которые вызывают у читателя если не головокружение, то нервное напряжение.

Начало второй метели — легкий, веселый снежок — блестяще изображен в пятой главе второй части:

«Странное было тогда настроение умов: особенно в дамском обществе началось какое-то легкомыслие и нельзя сказать, чтобы мало-помалу. *Как бы по ветру* (курсив здесь и во всех дальнейших цитатах мой. — С. У.) было пущено несколько чрезвычайно развязных понятий».

Не приводя дальнейшей цитаты целиком, обратим внимание на следующие ее фрагменты, посте-

пенно нагнетающие уже ощущаемую читателем атмосферу хаоса:

«Наступило что-то развеселое, легкое, не скажу, чтобы всегда приятное... произошло даже несколько скандальных случаев... все тогда хохотали и тешились, а останавливать было некому... образовался тогда как-то сам собою довольно обширный кружок... даже вошло в правило делать разные шалости — действительно иногда довольно развязные... искали приключений, даже нарочно подсочиняли и составляли их сами, единственно для веселого анекдота... они мало чем брезгали».

Метель разыгрывается. Шутки переходят в «нестерпимую шалость» с книгоношей и «безобразное и возмутительное кощунство» в местном храме.

В дальнейшем жертвами метели, заблудившимися в вихре событий, стали шигулинские рабочие. Бес, который «их водит и кружит по сторонам», — это Петр Степанович Верховенский.

Прекрасно разбираясь в обстановке и играя на человеческих слабостях, он мастерски умножает и раздувает все мельчайшие недоразумения. Беспокойство, дурные предчувствия, иррациональность в поведении людей растет — метель крепчает:

«...непомерно веселит русского человека всякая общественная скандальная суматоха. Правда, было у нас нечто и весьма посерьезнее одной лишь жажды скандала: было *всеобщее раздражение*, что-то неумоимо злобное, казалось всем всё надоело ужасно. Воцарился какой-то *всеобщий сбивчивый цинизм*, цинизм через силу, как бы с натуги...» (стр. 480).

Заметим, что Достоевский пользуется теми же лингвистическими средствами, что и в отрывках, цитированных выше. Неопределенные местоимения и абстрактные подлежащие как бы снова указывают на присутствие необъяснимой, но ясно ощутимой злой силы, увлекающей в свои сети множество жертв.

В абстрактной атмосфере зла материализуются бесы в человеческом образе:

«В смутное время колебания и перехода всегда и везде появляются разные людишки. Я не про тех так называемых «передовых» говорю, которые всегда спешат прежде всех (главная забота) и хотя очень часто с глупейшею, но всё же с определенной более или менее целью. Нет, я говорю лишь про сволочь. Во всякое переходное время подымается эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и уже не только безо всякой цели, но даже не имея и признака мысли, а лишь выражая собою изо всех сил беспокойство и нетерпение. Между тем, эта сволочь, сама не зная того, почти всегда *подпадает под команду той малой кучки «передовых», которые действуют с определенной целью, и та направляет весь этот сор куда ей угодно»* (стр. 481).

Эта цитата особенно интересна тем, что Достоевский как бы дает в ней схему иерархии бесов, действующих в романе. Бесы мелкие — legion слабых и подлых людишек (столичное общество, население губернского города), бесы крупные, — руководящие ими, действующие сознательно и методически (Петр Верховенский, Липутин, Толкаченко).

И снова мы находим предложение, структура которого как бы символизирует стихию снежных вихрей:

«Какие-то Лямшины, Телятниковы, помещики Тентетниковы, доморощенные сопляки Радищевы, скорбно, но надменно улыбающиеся жидишки, хохотуны заезжие путешественники, поэты с направлением из столицы, поэты взамен направления и таланта в поддевках и смазных сапогах, майоры и полковники, смеющиеся над бессмысленностью своего звания и за лишний рубль готовые тотчас же снять свою шпагу и улизнуть в писаря на железную дорогу; генералы, перебежавшие в адвокаты; развитые посредники, развивающиеся купчики, бесчисленные семинаристы, женщины, изображающие собою женский вопрос, — всё это вдруг у нас взяло полный верх, и над кем же? Над клубом, над почтенными сановниками, над генералами на деревянных ногах, над строжайшим и неприступнейшим дамским обществом».



На этот раз в нем около 80 слов, но формально оно простое. Оно содержит 15 подлежащих разного типа — и простых, и сопровождаемых атрибутивными словосочетаниями и причастными оборотами — и только одно сказуемое при обобщающем *всё* в конце предложения. Пока читатель добирается до этого «*всё*», он захлебывается от недостатка воздуха. Но и конец предложения не несет ожидаемой разрешительной интонации — там стоит вопросительный знак, вследствие чего только следующее предложение, которое наконец отвечает на вопрос, интонационно замыкает весь период.

В конце этой же страницы описывается предполагаемый бал — новая приближающаяся метель. Элементы ее — в виде слухов — представлены очень сложно сплетенным предложением из 64 слов, а разрешительная интонация опять отодвигается к следующему предложению, которое поэтому и читается слитно с первым. Метель, самая длительная и жестокая житейская метель в романе разыгрывается очень скоро — это не что иное, как злополучный праздник в пользу гувернанток, «со своими почти нелепыми событиями и с страшною развязкой». Все описываемые здесь события несут печать нервной напряженности, которая передается читателю. Присмотревшись к лексике этих страниц, мы обнаруживаем массу слов — проводников этого состояния. Огромный процент глаголов передает беспорядочное движение и шум:

«Я отказываюсь описывать последовавшую сцену. В-первых, раздался *неистовый* аплодисмент. *Аплодировали* не все, какая-нибудь пятая доля зала, но *аплодировали неистово*. Вся остальная публика *хлынула* к выходу, но так как *аплодировавшая* часть публики всё *теснилась* вперед к эстраде, то и произошло *всеобщее замешательство*. Дамы *вскрикивали*, некоторые девицы *заплакали* и просились домой. Лембке, стоя у своего места, *дико и часто озирался* кругом. Юлия Михайловна *совсем потерялась* — в первый раз во вре-

мя своего у нас поприща. Что же до Степана Трофимовича, то в первое мгновение он, казалось, буквально был *раздавлен* словами семинариста; но вдруг поднял обе руки, *как бы распростирая* их над публикой, и *завопил...*» (стр. 508).

Другой ряд слов передает мрачность обстановки и атмосферу зла, отравившую людей:

«Тут много было и хохоту, *сиплого, дикого* и себе на уме. Все *страшно* тоже критиковали бал, а Юлию Михайловну *ругали* безо всякой церемонии. Вообще болтовня была *беспорядочная, отрывистая, хмельная* и *беспокойная*, так что *трудно было сообразиться* и что-нибудь вывести. Тут же в буфете приютился и просто *веселый* люд, даже было несколько дам из таких, которых уже *ничем не удивишь* и не *испугаешь*, прелюбезных и *развеселых*, большею частию всё офицерских жен, с своими мужьями. Они устроились на отдельных столиках компаниями и *чрезвычайно весело* пили чай. Буфет обратился в *теплое пристанище* чуть не для половины съехавшейся публики. И однако, через несколько времени *вся эта масса* должна была *нахлынуть* в залу; *страшно* было и подумать» (стр. 526).

Вспомним, что зло носилось в воздухе уже ранее. Мы наблюдали его материализацию: им отравился приезжий юноша-самоубийца.

Подводя итог нашим наблюдениям, мы можем сказать, что художественный образ первого эпитафия — бесовская метель — проектируется автором на весь роман. Бесы мутят человеческие души, действительно «дуют и плюют» на них и сбивают их с пути: о чем говорит невероятное количество жертв. По сути в романе *нет ни одного действующего лица*, которое так или иначе не стало бы жертвой житейской метели. Кроме одного — верховного беса — Петра Степановича Верховенского, который «улизнул за границу». В факте его исчезновения таится угроза всему человечеству: зло не уничтожено до конца, оно может вернуться за новой добычей.

Евангельский эпизод, взятый Достоевским как второй эпиграф, повествует о бесноватом, из которого вышли бесы, и он, исцеленный, сел «у ног Иисусовых». Есть данные предположить, что человек этот — Степан Трофимович Верховенский. На это указывают следующие обстоятельства: роман начинается и заканчивается главами, посвященными Степану Трофимовичу. Название первой *«Несколько подробностей из биографии многочтимого Степана Трофимовича Верховенского»*. Название последней *«Последнее странствие Степана Трофимовича»*. Его жизнь является как бы *осью романа*. Все события совершаются вокруг него. Сам он активного участия в развитии главных интриг не принимает. *Объектом его внимания* на протяжении всего романа остается *его собственная персона*. К проблемам других людей он почти совершенно безучастен. Эгоцентризм, доходящий до самолюбования, тщеславие, болезненное самолюбие — *вот его главные качества*, кстати перечисленные автором в самом начале романа.

В первых двух главах, являющихся экспозицией романа, упоминаются (только некоторые из них появляются) все главные действующие лица, и все они так или иначе связаны со Степаном Трофимовичем. Он *отец* Петра Верховенского, *воспитатель* Ставрогина, Шатова, Лизы и Даши, *друг* матери Ставрогина, *просветитель* молодежи в Петербурге, там, помимо прочих (имя им легион), он знал Виргинского и Лебядкина, он — *центр кружка* «прогрессивной молодежи» (куда входят Липутин, Лямшин) в губернском городе, где разворачивается действие романа. Он всем своего рода *духовный отец*. «Он ко всем нам относился по-отечески», — говорит рассказчик (тоже *друг и утешитель* Степана Трофимовича, стр. 34).

Степан Трофимович никому не делал зла, но он также и не делал активного добра. По натуре он честен и благороден, но живет на чужой счет и даже про-

игрывает чужие деньги в карты. Он не атеист — он верит в Бога, это отмечено автором, но вот как он сам говорит о своей вере:

«Я верю в Бога как в существо себя лишь во мне сознающее».

Его вера абстрактная, имеющая эстетическое начало, и мне кажется, что именно такая вера названа в Апокалипсисе *«теплой»*.

Недаром в конце романа умирающий Степан Трофимович, выслушав этот отрывок из Апокалипсиса, приходит в страшное волнение, по-видимому, сознавая, что эти слова относятся к нему.

Только перед смертью он чувствует касание благодати, духовное просветление. Его смерть — это единственная светлая смерть в романе (их всего 12). Смерть без смерти, воскресение духа.

В метафизическом плане жизнь Степана Трофимовича можно представить так: не будучи сам активным злом, он — рассадник зла, возникшего в результате его прохладной веры, его отвлеченного умствования. Его идеи породили активное зло — бесов, которые вошли в свиней, т. е. в людей с низменными инстинктами или людей слабых, и частично или целиком захватили их души. В Петре — это воплощение было полным, в Ставрогине — полным по временам.

Бесы помельче — Липутин, Лямшин, Виргинская, Эркель, Толкаченко и другие — это люди, творящие зло или сознательно и радостно или равнодушно.

Частично бесы захватили множество других людей. Фактически почти все действующие лица романа хотя бы на короткое время проявляют признаки одержимости, а всякая одержимость — это результат влияния темной силы.

Вернемся к Степану Трофимовичу Верховенскому. Исторгнув бесов, он сам переживает следующую эво-

люцию: сначала духовный вакуум, апатия, смешанная с удивлением при виде опошления своих чистых высших идей:

«...вы представить не можете, какая грусть и злость охватывает всю вашу душу, когда великую идею, вами давно уже и свято чтимую, подхватят неумелые и вытащат к таким же дуракам, как и сами, на улицу, и вы вдруг встречаете ее уже на толкучем, неузнаваемую, в грязи, поставленную нелепо, углом, без пропорции, без гармонии, игрушкой у глупых ребят!» (стр. 27).

Затем наступает медленное перерождение, прозрение. Параллельно с процессом духовного перерождения протекает процесс его физического умирания, и оба процесса заканчиваются одновременно: физической смертью и духовным воскресением. Последние дни перед смертью Степан Трофимович «сидит у ног Иисусовых» — тот исцеленный одержимый, о котором говорится в эпиграфе.

Выше мы отметили, что читателя «Бесов» преследует ощущение мрака. И действительно, мрак, вполне реальная темнота, служит в романе символом активности темных сил. Правда, действие романа протекает осенью, но это не оправдывает того факта, что в романе нет ни одного солнечного дня. Есть два «ясных, но холодных ветренных дня»: тот день, когда Марья Тимофеевна приезжает в собор, и день шпигулинского бунта.

Дождь, ветер и мрак сопровождают буквально все ключевые эпизоды романа и становятся особенно зловещими в те моменты, когда бесы целиком овладевают своими жертвами.

Встречам Ставрогина с его двойниками посвящены две главы «Ночь» и «Ночь (продолжение)». Вот какова эта ночь:

Он «молча вышел в темный, как погреб, отсыревший и мокрый старый сад. Ветер шумел и качал вершинами полу-

обнаженных деревьев, узенькие песочные дорожки были топки и скользки» (стр. 244).

На то, что Ставрогин был в эту ночь полностью во власти темной силы, указывают многие детали. Еще у себя в кабинете он заснул; заснул сидя,

«и так неподвижно; даже дыхания почти нельзя было заметить. Лицо было бледное и суровое, но совсем как бы застывшее, недвижимое; брови немного сдвинуты и нахмурены; решительно он походил на бездушную восковую фигуру» (стр. 243).

В таком состоянии его видит мать, «ее объят страх», и она удалилась «с новым тяжелым ощущением и новою тоской». Портрет спящего Ставрогина — это личина злого духа, которую он не мог контролировать, будучи спящим.

Проснувшись, он «по-прежнему не шевелясь присидел еще минут десять, как бы упорно и любопытно всматриваясь в какой-то поразивший его предмет в комнате». Предмет этот, судя по черновику, должен был быть чërтом, который посещал Ставрогина.

Этот чërт, злой дух, незримо сопровождает Ставрогина во время его походов той ночью, и утверждать это можно не столь слушая его, сколь наблюдая за его поведением и за выражениями его лица.

Можно начать с того, что ребенок, увидев его, «припал к старухе и закатился долгим детским плачем». Разговаривая с Кирилловым, он разговаривает «с осторожностью» и после «некоторого молчания», «после минутного молчания», «после долгого трехминутного задумчивого молчания» ... «нахмуренно и брезгливо следит за ним», «нахмуренно бормочет, ... усмехается...». С Шатовым он говорит «спокойным тоном», но «приглядываясь к нему с любопытством». Далее, в процессе разговора, он говорит «довольно холодно, с видом человека, исполняющего только обязанность»... «с прежним равнодушием, даже вяло»...

иногда говорит серьезно, иногда усмехается,... улыбается... улыбается брезгливой светской улыбкой... и так же, как с Кирилловым, говорит с Шатовым: «нахмуренно и осторожно», «с усиленным и особливым вниманием следит за Шатовым», «сурово смотрит на него». Задетый словами Шатова, наконец, за живое, «он побледнел и глаза его вспыхнули», и потом, «бледнея всё больше и больше...», «усмехнулся через силу», и хотя он заканчивает разговор снова серьезно и спокойно, как бы овладев собой, но, выйдя от Шатова, некоторое время действует бессознательно: «он был занят совсем другим и с удивлением осмотрелся, когда вдруг, очнувшись от глубокого раздумья, увидел себя чуть ли не на середине нашего длинного плашкотного моста».

Следующая сцена происходит в такой темноте, что Николай Всеволодович «должен был нагнуться», чтобы рассмотреть лицо своего неожиданного собеседника — Федьки.

С ним он разговаривает лаконично и строго, затем грозно гонит его прочь. Так же «сухо и кратко» он говорит с Лебядкиным, у которого «озноб пробежал» от его строгого вида. Дьявольская личина становится ясно видимой опять, когда он с порога рассматривает Марию Тимофеевну:

«Неподвижно и пронзительным взглядом безмолвно и упорно всматривался в ее лицо. Может быть, этот взгляд был излишне суров, может быть, в нем выразилось отвращение, даже злорадное наслаждение ее испугом» (стр. 288).

Марья Тимофеевна реагирует так же, как и упомянутый выше ребенок — пугается его вида и плачет. И даже потом, несмотря на его ласковые слова, она боится его, продолжая чувствовать присутствие злой силы. Именно тот факт, что она, несомненно, чувствует в нем дьявола, приводит его постепенно в бешенство. Сначала он еще сдерживается, но в конце пере-

стает владеть собой, и «неутомимая злоба» охватывает его, хотя «минутами ему хотелось захохотать громко, бешено»... Его бешенство выливается на Федьку при их новой встрече на мосту: «со всею накопившейся злобой, изо всей силы ударил его об мост». Вся сцена между ними — это полная материализация демонического зла.

«— Режь еще, обкради еще», — говорит Ставрогин Федьке, и, вероятно, это — не слова, а яростное шипение — ш-щ-дъ-щ, разрешительным аккордом к которому является громкий сатанинский хохот.

Нить мистического плана протягивается и в следующую главу «Поединок», и материальным продолжением его является мгла и зловещий шум ветра:

«Вчерашний дождь перестал совсем, но было мокро, сыро и ветрено. Низкие, мутные разорванные облака быстро неслись по холодному небу («мутно небо, ночь мутна» — у Пушкина. — С. У.); деревья густо и перекатно шумели вершинами и скрипели на корнях своих; очень было грустное утро» (стр. 299).

Сама сцена поединка — это еще один пример активного вмешательства нечистой силы. Обнаружить это можно, следя за поведением Ставрогина и за ходом дуэли. Исходная позиция противников была в десяти шагах от барьера, следовательно расстояние между ними было  $10 + 10 + 12$  (барьер) = 32 шага. Первый раз Гаганов выстрелил, приблизившись к барьеру на пять-шесть шагов, причем можно предположить, что и Ставрогин тоже сделал не менее пяти шагов, следовательно в момент выстрела между противниками было 22 шага. Трудно предположить, что Гаганов, гвардейский офицер и охотник, хоть и в взволнованном состоянии, мог промахнуться с такого расстояния, но доказательств, что этого не могло случиться, конечно, нет. Второй выстрел был сделан, очевидно, при таких же обстоятельствах, поэтому он не описан автором (кстати, отметим, что все моменты материа-



лизации нечистой силы в романе описаны не рассказчиком, а вездесущим автором). В третий раз Гаганов дошел до самого барьера и с барьера, *с двенадцати шагов* стал прицеливаться. Этот промах трудно объяснить даже фактом, что руки Гаганова дрожали. Обратим внимание на поведение Ставрогина: он *«как будто не понимал»*, что говорил ему Кириллов. *«С удивлением* рассматривал свою шляпу», и только позже, когда он как бы пришел в себя, *«лицо его выражало злобу»*.

Характерно, что в «Бесах» одним из постоянных признаков одержимости являются короткие периоды безучастности, погруженности человека в другую сферу, которую я для краткости назову «вакуумом». В описанных выше сценах, в кабинете Ставрогина и на мосту, автор отмечает это состояние. Отмечается оно и у убийц Шатова в сцене убийства — одной из самых мрачных сцен романа. Происходит она почти в абсолютной темноте:

«Тут начинался старый заказной лес. Огромные вековые сосны мрачными неясными пятнами обозначались во мраке. Мрак был такой, что в двух шагах почти нельзя было рассмотреть друг друга» (стр. 621).

В этой обстановке совершается страшное бессмысленное злодеяние, которым руководил дьявол во плоти — Петр Верховенский — и который (лишь он один) с начала до конца действует хладнокровно и методически. Как ведут себя другие члены пятерки?

«Все столпились и смотрят на труп и *ничего не делают...*»

«Толкаченко и Эркель, *опомнившись*, побежали за камнями...»

«Затем все они в продолжении всей этой, может быть десятиминутной, возни с трупом *как бы потеряли часть своего сознания*. Они сгруппировались кругом и вместо всякого беспокойства и тревоги, *ощущали как бы лишь одно удивление*. Лямшин стоял впереди, у самого трупа. Виргинский — сзади его выглядывал из-за его плеча с *каким-то осо-*

*бым и как бы посторонним любопытством...* Виргинский вдруг задрожал мелкой дрожью, всплеснул руками и горестно воскликнул во весь голос... Лямшин... ему не дал закончить: *вдруг* изо всей силы обхватил он и сжал его сзади и завизжал *каким-то* невероятным визгом... закричал нечеловеческим голосом. Всё крепче и крепче с судорожным порывом, сжимая сзади руками Виргинского, он визжал без умолку и без перерыва, выпучив на всех глаза и чрезвычайно раскрыв свой рот... Виргинский до того испугался, что сам закричал, как безумный, и *в каком-то остервенении*, до того злобном, что от Виргинского и предположить нельзя было, начал дергаться из рук Лямшина, царапая и колотя его... Лямшин, *вдруг* увидев Петра Степановича, завопил опять...» (стр. 628-629).

Обратим внимание на лингвистические элементы этого отрывка. Те же неопределенные местоимения и наречия с «как бы» и несколько раз повторяющееся наречие «*вдруг*», символизирующее стихийность перемен внутреннего состояния действующих лиц. Припад-ка одержимости не было у Эркеля, Толкаченко и Липутина; не говорит ли это о том, что их натуры более бескомпромиссно подчинились власти дьявола? Благоприятной почвой этому была «мелкая рассудочная, вечно жаждущая подчинения чужой воле натура» Эркеля, беспринципность и краснбайство Толкаченко и низкие инстинкты Липутина — человека без совести, человека с личиной подлого гаденького беса, наслаждающегося причиняемым им злом.

Темные силы торжествуют в сцене самоубийства Кириллова. Читатель фактически становится свидетелем захвата его души дьяволом. Одержимый своей страшной идеей, Кириллов в начале сцены находится в состоянии крайней депрессии:

«Кириллов как бы обрадовался его (Петра. — С. У.) приходу; видно было, что он ужасно долго и с *болезненным нетерпением* его ожидал. Лицо его было бледнее обыкновенного, взгляд черных глаз *тяжелый* и неподвижный».

«— Я думал, не придете, — *тяжело* проговорил он...»

Кириллов как бы сознает власть дьявола над собой: «со злым отвращением глядел на него неподвижно, словно не в силах оторваться»; но он еще способен сопротивляться и потому говорит с Петром дерзко и вызывающе, дразнит и оскорбляет его, злобно смеется. В то же время отмечается его состояние «вакуума»:

«стал ходить взад и вперед по комнате», ...«но Кириллов давно уже не слушал. Он опять в задумчивости шагал по комнате», «...утих и опять зашагал», «угрюмо шагал по комнате», «не слышал его замечания, шагая по комнате» (стр. 638-642).

Ходьба по комнате — это поведение человека, погруженного мыслью в иную сферу.

Когда Кириллов останавливается, то он как бы возвращается к действительности, и его состояние в эти моменты каждый раз меняется:

«твердо остановился», «снова остановился», «заревел, сделав страшное недвусмысленное движение», «с лихорадочным восторгом указал на образ», «остановился, неподвижным иступленным взглядом смотря перед собой».

С этой последней остановки состояние его начинает быть похожим на бред:

«вскричал восторженно», «лицо его было неестественно бледно, взгляд нестерпимо тяжелый. Он был как в горячке», «*вдруг* совсем неожиданно крикнул Кириллов в решительном вдохновении», «трясся как в лихорадке», «выпуча глаза, слушал и как бы старался сообразить, но, кажется, он перестал понимать», «пробормотал», «почти заревел от восторга».

На фоне этого поведения его слова должны восприниматься как сумасшедший бред — *вся* его декларация, а не только такие явные безумные возгласы, как:

«Диктуй, пока мне смешно. Не боюсь мыслей высокомерных рабов!.. Сам увидишь, что всё тайное станет явным... А ты будешь раздавлен... Верую. Верую». «Всему

миру? Браво! И чтобы не надо раскаяния. Стой! Я хочу рожу с высунутым языком...», «Я хочу изругать...», «Браво...» и т. д.

Последние минуты перед самоубийством Кириллов ведет себя уже совсем как буйно помешанный (бесноватый):

Уже не он, человек Кириллов, а «*что-то* заревело и бросилось»; на лице его была «зверская ярость».

Это «*что-то*» является ключом для всей остальной сцены — последних судорог безумного мятущегося существа, потерявшего человеческий облик.

Думается, что этим «*что-то*» Достоевский снимает ответственность человека Кириллова за его самоубийство и, следовательно, освобождает душу его от смертного греха.

Результатом бесовского наваждения можно считать и убийство Лизы. Описывая толпу, стоящую у дома Лебядкиных в конце второй главы (стр. 154), рассказчик отмечает худошавого парня:

«Он был не пьян, но в противоположность мрачно стоявшей толпе, был как бы вне себя. Он всё обращался к народу, хотя я и не помню слов его. Всё что он говорил связного, было не длиннее, как: Братцы, что же это! Да неужто так и будет — и при этом размахивал руками» (стр. 541).

В конце третьей главы, перед появлением Лизы, рассказчик еще раз описывает толпу и снова упоминает мещанина. Этот-то мещанин и убивает Лизу. Вмешательство темной силы кажется и здесь вполне очевидным. Дьявол вселился в мещанина, и мещанин действовал бессознательно (состояние «вакуума»), а когда очнулся, то не знал, как всё случилось.

В припадках Ставрогина, описанных рассказчиком в экспозиции романа (стр. 48), каждый раз отмечается состояние «вакуума». Первый припадок протекает в четырех фазах:

1) «*вдруг* подошел к Петру Павловичу, неожиданно крепко ухватил его за нос»; «он в самое мгновение операции *был почти задумчив*, точно как бы с ума сошел».

2) «Второе мгновение, когда он всё наверно понимал, он улыбался злобно и весело без малейшего раскаяния».

3) «Николай Всеволодович повертывался вокруг себя и с *любопытством* приглядываясь к восклицавшим лицам».

4) «*вдруг* как будто задумался опять, нахмурился, твердо подошел к оскорбленному Петру Павловичу и скороговоркой, с видимой досадой пробормотал: «Вы, конечно, извините...» и т. д.

Метафизическая схема этого момента одержимости такова.

1) Бес входит в душу, и человек уже действует под его руководством, но еще машинально.

2) Бес захватывает душу целиком, и человек уже сознательно, радостно творит зло.

3) Бес отступает; — то же состояние, что и в первой фазе.

4) Возвращение сознания и раскаяние. (Может быть, неискреннее, но человек уже достаточно владеет собой, чтобы камуфлировать свое бесовство).

Второй припадок — на вечере у Липутина (стр. 51) — протекает в двух фазах:

1-я фаза: «*вдруг* при всех гостях охватил ее за талию и поцеловал в губы».

2-я фаза: «Смутился и пробормотал: «Не сердись»».

Этот припадок протекал проще, может быть, потому, что бес сластолюбия, захвативший Ставрогина, менее силен, чем бес разрушительной злобы к людям, и весь процесс одержимости протекает короче.

Третий припадок (стр. 53-54):

1) «был бледен... сидел потупившись. Слушал, сдвинув брови, как будто преодолевая боль».

2) «*вдруг* как бы что-то хитрое и насмешливое про-

мелькнуло в его взгляде ...*вдруг* прихватил зубами и довольно крепко стиснул верхнюю часть уха».

3) «В два часа пополуночи арестант, дотоле удивительно спокойный и даже заснувший, *вдруг* зашумел, стал неистово бить кулаками в дверь, с *неистовой силой* оторвал от оконца в дверях железную решетку, разбил стекло и изрезал себе руки... был в сильнейшей белой горячке».

На этот раз дьявол целиком входит в душу и целиком захватывает ее, что проявляется в буйном припадке одержимости (как в Евангелии).

Отметим, что во всех приведенных эпизодах характерным лингвистическим средством снова выступает наречие «вдруг», указывающее на стихийную природу поступков Ставрогина, чем и является одержимость. (К мистическому плану относится и реакция Липутина на второй припадок Ставрогина: согласно пословице «Рыбак рыбака видит издалека», один бес узнает другого.)

Абсолютно по той же схеме проходит припадок одержимости офицера, укусившего своего начальника (стр. 369).

Особый интерес вызывает глава седьмая второй части романа, озаглавленная «У наших».

Эта глава традиционно считается наиболее памфлетной главой романа, злой карикатурой на анархистов. Однако ее можно рассматривать и в метафизическом плане, и тогда собрание «наших» интерпретируется как своего рода бесовский шабаш, сборище бесов разных мастей и рангов. Эту главу легко можно ассоциировать со сном Татьяны:

И что же видит?... за столом  
Сидят чудовища кругом:  
Один в рогах, с собачьей мордой,  
Другой с петушьей головой,  
Здесь ведьма с козьей бородой,  
Здесь остов чопорный и гордый,

Там карла с хвостиком, а вот  
Полужуравль и полукот.

Еще страшней, еще чуднее:  
Вот рак верхом на пауке,  
Вот череп на гусиной шее  
Вертится в красном колпаке,  
Вот мельница вприсядку пляшет  
И крыльями трещит и машет;  
Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,  
Людская молвь и конский топ!

На именины Виргинского собрались, конечно,  
люди.

«...Гости, — говорит автор, — имели какой-то случай-  
ный и экстренный вид. (...) Видимо все чего-то ждали, а в  
ожидании вели хотя и громкие, но как бы посторонние  
речи».

Собрались они в гостиной с грязными обоями, за  
столом, покрытым нечистой скатертью. Гости состав-  
ляют целую галерею бесовских личин. Некоторые  
портреты даны здесь, некоторые были представлены  
читателю раньше.

1) *Сестра хозяина* — «Безбровая и белобрысая,  
существо молчаливое и ядовитое».

2) *Шигалев* — «человек такой мрачности и нахму-  
ренности и пасмурности... как будто ждал разрушения  
мира. Уши неестественной величины, длинные широ-  
кие толстые, как-то особенно врозь торчавшие. Он  
произвел на меня впечатление зловещее» (стр. 145).

3) *Девушка-нигилистка* — «сытенькая и плотнень-  
кая как шарик, с очень красными щеками, (...) с (...)   
нетерпеливо прыгающими глазами».

4) *Липутин* — невзрачная, чуть ли не подленькая  
фигурка, с вороватыми востренькими глазами.

5) *Преподаватель гимназии* — «очень ядовитый и  
замечательно тщеславный человек».

6) «*Праздношатающийся семинарист*» — «крупный парень, с развязною, но в то же время недоверчивой манерой, с бессменно обличительною улыбкой».

7) *Толкаченко* — «странная личность» (в «дурном платье»), с «прищуренно-хитрым видом».

8) «*Гимназист*» — «горячий и взъерошенный мальчик лет восемнадцати, сидевший с мрачным видом оскорбленного в своем достоинстве (...) человека».

9) *Кириллов* — «с его бледным лицом грязноватого оттенка и черными глазами без блеску» (стр. 96).

10) *Шатов* — мрачно молчавший, смотревший в землю.

11) *Верховенский* — с личиной черта, да еще с грязными длинными ногтями.

12) «*Остальные гости*» — «или представляли собою тип придавленного до желчи благородного самолюбия, или тип первого благороднейшего порыва пылкой молодости».

Сборище, как и во сне Татьяны, необыкновенно шумное, глагол «кричать» употребляется автором 32 раза, причем на последней странице — 11 раз, т. е. более половины всех употребляемых глаголов. Вместо глаголов «сказал», «спросил», «ответил» употребляются их необычные синонимы или глаголы, обозначающие жесты и движения, причем многие из них более применимы к животным: отрезал (2 раза), дернулся, рванулся (2 раза), привскочил, закривился, остервенился, вскочил, выпучил глаза, отрубила (3 раза), задержался на стуле, раздражительно налетел на приманку, зевнул во весь рот, потянулся зевая, резко оборвал, проворчал (3 раза), брякнул (2 раза), пропищал, загалдели, хлопнул (лай, хохот, свист и «хлоп» — в «Евгении Онегине»).

Онегин, во сне Татьяны, встает из-за стола «взорами сверкая» и идет к дверям. Ставрогин тоже первый встает из-за стола и идет к двери, и когда он от-



вечает на восклицания всполошившихся гостей, «глаза его сверкают».

Глава эта — не исключение. Подобный ряд слов и словосочетаний применяется Достоевским в характеристиках речи, жестов и движений самых отвратительных бесов, прежде всего, конечно, Петра Верховенского.

Для иллюстрации достаточно привести сцену его первого появления. Сначала, вслед за описанием его наружности, Достоевский дает общую характеристику его речи:

«Говорит он скоро, торопливо, но в то же время самоуверенно, и не лезет за словом в карман. Его мысли спокойны, несмотря на торопливый вид, отчетливы и окончательны, — и это особенно выдается. Выговор у него удивительно ясен; слова его сыплются, как ровные, крупные зернушки, всегда подобранные и всегда готовые к вашим услугам. Сначала это вам и нравится, но потом станет противно, и именно от этого слишком уже ясного выговора...» (стр. 191).

В дальнейшем, вместо простых глаголов «сказал», «спросил», «ответил», «подошел», «сел», автор всегда употребляет самые различные, часто очень странные глаголы: «влетел», «мигом очутился», «сыпал как бисером», «торопливо бормотал», «горячился», «отчаянно убеждал с большими жестами», «мельком сгоряча крикнул», «очень вертелся по комнате», «сыпал бисером», «поспешно подтвердил», «посыпался бисер», «встреппенулся, мигом сдвинул кресло и очутился», «нетерпеливо шевелился», «отрывисто пробормотал», «оживился вдруг», «совершенно оживился», «лицо передернулось какой-то злобной судорогой», «тонко поглядел», «пронзительно поглядел».

То же самое можно заметить в сцене между Ставрогиным и Петром Верховенским в кабинете Ставрогина (стр. 230-242) — («Затрещал», «завертелся», «затараторил неистово», «жестикულიровал», «вскинулся»

и т. д. — вместо «сказал»), в сцене со Ставрогиным на пути с собрания, в сцене со Степаном Трофимовичем и т. д.

Одних этих глаголов достаточно, чтобы получить отвратительный и вполне реальный образ чërта.

Кроме всего этого, в тексте романа можно отметить невероятное разнообразие дьявольских личин — странных или злобных улыбок:

«Улыбался злобно и весело»... «скверная улыбка»... «кривилась нехорошая улыбка»... «злобная раздражительная улыбка»... «злобная искривленная улыбка»... «какая-то странная улыбка, подозрительная и неприятная»... «улыбка высокомерного торжества и в то же время какого-то недоверчивого изумления»... «плотоядно улыбнулся»... «подло и ветрено улыбнулся»... «тупая улыбка»... «гадкая улыбка».

Большинство из них принадлежит Ставрогину, Петру Верховенскому. Несколько — Кармазинову, Лямшину, Варваре Петровне. У остальных у всех есть, по крайней мере, по одной. Нет у Даши и у Маврикия Николаевича.

Есть личины и без улыбок:

«Желтое лицо ее почти посинело»... «Губы были сжаты и вздрагивали по краям»... «Липутин с неистовым наслаждением смотрел на них»... «злобно огрызнулся»... «он (Шигалев. — С. У.) смотрел так, как будто ждал разрушения мира»... «брезгливое презрение выразилось в лице его»... «лицо его передернулось какой-то злобной судорогой»...

Печать одержимости разного вида и разной степени — при внимательном чтении — можно заметить почти у всех действующих лиц.

Например, в их физических портретах или вообще нет описания глаз или отмечается их непривлекательное качество: «маленькие кровавые, иногда довольно хитрые глаза» у Лебядкина, «острые, вороватенькие глаза» у Липутина, «острый глаз» у Петра Верховенского, «остренькие умные маленькие глазки» у Кармазинова, «смелые очи» у Виргинской.

Нет глаз — у Степана Трофимовича, у Шигалева, у Лямшина, у Толкаченко, у обоих Лембке.

У Шатова глаза опущены вниз, и это отмечается несколько раз. Это может символизировать то, что Шатов сознательно отгораживается от злых сил или не хочет, чтобы люди заглянули в его душу.

У Кириллова — черные глаза без блеску («зеркало души», находящейся во власти тьмы и потому не излучающей свет).

Иногда весь портрет одного из бесов формируется постепенно из отдельных штрихов, выраженных специальной лексикой.

*О Липутине:* «злая веселость»... «скрючился» (3 раза)... «со злобой привскочил»... «вострые глаза любопытно шныряли»... «и потирая руки в восторге»... «наблюдал с неистовым наслаждением»... «злобно огрызнулся»... «раздражительно всполыхнул»... «язвительно заметил»... «покривился с той же сахарной улыбкой»... «ядовито подхватил»... «ехидно улыбался»... «завизжал от восторга»... «злоба прорвалась» и многие другие (всего около 30).

*О Лямшине:* «со злобной радостью»... «завизжал от восторга»... «злобно вернул»...

В других случаях эти штрихи дополняют подробный физический портрет, который сам по себе не содержит никаких указаний на одержимость, и таким образом фиксирует моменты одержимости.

*О Лизе:* «в глазах засверкали ненависть и презрение»... «в лице было какое-то судорожное движение, как будто она дотронулась до какого-то гада»... «криво улыбнулась»... «ненавистно на него поглядела».

Наиболее интересным является портрет Кармазинова, очень подробный — и наружность, и костюм. Этот портрет исполнен злого сарказма. Интересны лексические, даже скорее морфологические средства его подачи. 22 слова с уменьшительными суффиксами: «чистенькие розовенькие ушки», «седенькие локончи-

ки», «запоночки», «перстенок», «ботиночки с пуговицами» и т. д. Те атрибуты наружности и портрета, которые таких суффиксов не имеют, просто не могут их иметь — «мясистый нос», «тонкие длинные губы», «плащ», «лорнет», «весь его костюм».

У Ставрогина два портрета. Первый — личина блистательного демона. Второй — очень странный, скорее привлекательный. Рассказчик отмечает, что в его лице «светилась новая мысль». Означает ли это, что бес отступал от него временами, или эта привлекательность, как и ласковый и тихий голос, была только утонченной личиной беса? (Можно предположить, что этот портрет относился еще к первоначальному замыслу автора — привести Ставрогина к раскаянию. Тогда понятно выражение «светилась новая мысль».)

В метафизическом плане романа эманация бесовства Ставрогина воплощается в других людях, проявляясь в их одержимости идеей (Кириллов, Шатов), в безудержной страсти (Лиза), в моральном разложении (Лебядкин), в душевной болезни (Марья Тимофеевна), в преступности (Федька).

Все они умирают. Не возвращаются ли все населявшие их бесы к своему источнику — Ставрогину, чтобы овладеть им навечно: понудить его совершить самый страшный грех — самоубийство?

Может быть, и обстановка его смерти — высоко на чердаке — символизирует скалу, с которой бросились свиньи в Евангельском эпизоде...

## ПРОТИВ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО РОМАНА

Поэзия и высокие формы театра (Софокл, Шекспир) — вневременны. Они идут из глубин, недоступных философии и богословию, которые есть только комментарии, тогда как шедевры художественного творчества принадлежат к области подлинно духовной, расположенной за пределами нам доступного. Поэзия — бред, сродни пророческому, магическое заклинание, вещание пифии, то есть воплощение в слове сверхчувственных духовных явлений. Священные книги — основа великих культур. Их предельно сжатый синтетический текст почти всегда непревзойденно поэтичен. И Тао Те Кинг, и Упанишады, и Библия, и Коран, и Пополо Вух — шедевры мировой поэзии.

Конечно, их значение неизмеримо поэзию перерастает, но она — неизменное их свойство. Священная книга — зерно, прообраз свойственного данной культуре стиля, источник заложенных в ней сил, предел, дальше которого ей не дано распространиться. Но без поэзии — нет священных книг.

Поэт не властен ни над своим словом, ни над его содержанием. Он творит, повинаясь велению ему самому непонятных сил. Это известно всякому, кто близко общался с поэтами или сам серьезно писал стихи.

Публицистика вообще (и реалистический роман в частности) — явление прямо противоположного порядка. Правда, без некоторой иррациональной зарядки и она была бы невозможна, как и любое другое твор-

чество. Но в основном она — плод сознательного усилия и почти всегда — средство для достижения иной цели.

Понятно, почему лица, преследующие определенные политические цели, продолжают поощрять роман. Хотя некоторые романы Арагона, Астуриаса или Мартина Андерсена-Нексе не лишены местами художественной ценности, сомнительно, применимо ли к ним обозначение «литература», испокон века предназначенное лишь для чистого, бескорыстного творчества.

Защищая реалистический роман, революционные круги лишний раз подчеркивают свою отсталость, реакционность и несозвучность нашей эпохе. Гитлеровцы тоже стояли за реализм и против фантастики, с той только разницей, что они предпочитали описание деревни описанию города. И те и другие стесняют свободное развитие культуры упрямым цеплянием за специфически буржуазную проблематику. Ведь пафос революции — не в преодолении мещанства высшими началами, а в распространении его на тех, кто им пока не затронут. Пафос всякого социализма — в зависти. «Капиталист» плох не тем, что заботится исключительно о материальных благах, забывая о высоком назначении человека, в том числе и своем, а тем, что материально ему живется лучше, чем «пролетарию», что он носит костюм из лучшего сукна, пьет лучшее вино или ездит в лучшем автомобиле. Всё остальное — лишь меняющаяся в зависимости от обстоятельств демагогия. Поэтому неудивительно, что именно буржуазия оказывается последним оплотом не только буржуазного по преимуществу литературного жанра — реалистического романа, — но и буржуазной по происхождению, по содержанию и по психологии марксистской доктрины.

Если в первой половине XIX века еще встречались повести не тенденциозные, бывшие не средством, а са-

моцелью, и потому остававшиеся в пределах искусства, подобно китайским повестям эпохи Мин, как, например, «Духовидец» Шиллера, повести Стендаля или сестер Бронте, то вскоре, по признанию самих авторов (Бальзак, Золя), роман занялся систематическим изображением тех или иных, рассматриваемых с естественно-научной точки зрения, «общественных» явлений, прозрачной политической параболой, «изобличающей» несправедливости общественного устройства. Личность отошла на второй план, а вместо нее выступили наружу поиски «типичного», т. е. общего, стадного, массового, количественного. Центром интереса был уже не Иванов имярек такой-то, со своей собственной неповторимой личностью и судьбой, а Иванов — характерный представитель данной среды, например, кельнеров или инженеров, среди которых часто попадаются вот такие Ивановы, как этот, «обобщающий» свойства многих.

Бесконечные перипетии влюбленных, составляющие испокон века ткань большинства занимательных романов, но которые никто не принимал всерьез и не ставил в один ряд с «Царем Эдипом» или «Божественной комедией» — лишь приманка для уловления возможно большего количества читательских душ. В XIX веке от любовной интриги осталась лишь канва для разработки социально-политической теоремы, показывающей, какие лица, идеи, обычаи или порядки содействуют или препятствуют конечному соединению возлюбленных в законном браке. Большинство романов были «левые» (Диккенс, Жорж Занд, Тургенев, Анатолий Франс, Золя, Джек Лондон), но были романы и «правые» — «Война и мир», произведения Адальберта Штифтера, Поля Бурже, что в сущности дела не меняет, но показывает невыносимое, в конечном итоге, внутреннее однообразие и убожество по-слоновьи разросшегося жанра.

К началу XX века количество романов достигло таких чудовищных размеров, что оно грозило раздавить своей тяжестью последние остатки живого творчества. Сочинительство романов стало весьма доходной и отнюдь не утомительной профессией.

В сравнении с идиллическими XVIII и XIX столетиями интенсивность исторических переживаний нашей эпохи превысила способность человека к усвоению. Непрерывное, длящееся десятилетиями *fortissimo*, страшные, приписываемые Сталину, слова: смерть одного человека — может быть, и трагедия; миллион смертей — только статистика, и многое другое тому подобное притупили нашу чувствительность. Политика наводнила обыденную жизнь и окрасила собою все наши помыслы, посеяла рознь в семьях, наводнила всё, проламывая любые преграды и просачиваясь во все щели, подобно наводнению из пушкинского «Медного всадника», бывшего, весьма вероятно, пророческой аллегорией нашей эпохи. Такая ситуация грозит окончательным притуплением нашей способности реагировать на что бы то ни было, кроме удовлетворения элементарнейших биологических потребностей. Поэтому мелкая публицистическая злоба дня XIX века, касавшаяся главным образом подробностей частичного улучшения материальных или правовых условий жизни тех или иных групп населения, потеряла для нас всякую остроту и даже всякий смысл.

Вместе с этим исчезает для нас и значение подавляющего большинства инспирированных подобными целями буржуазных романов, продолжающих прозябать где-то на задворках Культуры. Напрасно стали бы мы искать в произведениях современных реалистических романистов, поддерживаемых и выдвигаемых, как правило, компартией и ее попутчиками, отзвук грандиозных переживаемых нами событий. Они утомительно повторяют зады об «эксплуатации рабочих капиталистами» или о том, что «хорошо быть генера-



лом», насилуя и всамделишную правду и свой собственный, и без того не чересчур звучный, голос.

Как бы ни были невежественны и ограничены руководители КПСС, нам трудно себе представить, чтобы они действительно не отдавали себе отчета в бессмыслице и в бесплодии соцреализма, делающего «производство» партийных сочинителей всеобщим посмешищем. Пусть мне укажут хоть один роман или пьесу, написанные в СССР по соцреалистическим рецептам, которые в переводе на иностранные языки хоть сколько-нибудь заинтересовали самую неприхотливую публику.

И так продолжается десятилетиями.

Более правдоподобным объяснением упорного нежелания советских заправил отменить явно себя не оправдавший и даже для их целей скорее вредный соцреализм может оказаться старание заглушить подлинный голос действительности в тамошней литературе.

По редким проблескам, проскользнувшим, несмотря на бдительность советской цензуры и полицейского контроля, по некоторым стихотворениям Мандельштама («Я с дымящей лучиной вхожу...»), Клюева («Львиный хлеб») или по живописи Михаила Шемякина видно, что будь искусство в СССР хоть сколько-нибудь свободно, получилась бы такая кошмарная картина, что советские вельможи предпочитают «сыграть вничью»: пусть лучше не будет никакой литературы — одни только сурковы, корнейчуки да тихоновы, — чем чтобы мир ощутил реальный житейский ужас, царящий на «родине всех трудящихся».

Но несмотря на это, зло, бушующее в СССР, разливается по всему земному шару и накладывает отпечаток безумия и отчаяния на художественное творчество и свободного мира. Тень, отбрасываемая советской угрозой на всех и каждого, привела к небывалому росту апокалипсических настроений в психике всего человечества.

И пусть нам не говорят, что это, дескать, «погибающий капитализм» приходит в отчаяние: как известно, творят литературу и искусство не «капиталисты», а художники и писатели, чаще всего люди бедные и оппозиционно настроенные (а с упорной независимостью их духа советская власть знакома по собственному, горькому для нее, опыту), тогда как «капиталисты», наоборот, вперегонки помогают коммунистическим правителям и экономически, и технически, и даже политически настолько, что без их помощи сомнительно, удержалась ли бы КПСС у власти.

Впрочем, западная, инспирированная компартией литература, хотя и располагает неограниченными материальными средствами и пользуется ничем не ограниченной свободой, не намного превосходит по качеству советский соцреализм.

Поэтому отклик на действительно происходящее в нашу эпоху надо искать не у Шолохова или у Кочетова и даже не у ныне модных новоиспеченных латиноамериканских романистов, а у таких поэтов, как Трахль или Кавафис, Болеслав Лесьмян или Георгий Иванов, у Кафки, а в живописи, например, у Сутина или у Сальвадора Дали; в зловеще уродливых веревочных лицах пикассовских женщин; в творчестве немецких экспрессионистов или американских битников больше реального воздуха нашей эпохи, чем в смехотворной халтуре соцреалистов по обе стороны железного занавеса.

Продолжая преследовать свои традиционно левые политические цели, реалистический роман ограничивает сюжетные возможности и фальсифицирует проблематику современности. Потерявши голову, о волосах не плачут. Продолжать долбить о материальных затруднениях рабочих, когда самое их бытие стоит под вопросом по милости их мнимых заступников из компартий, когда все человечество стоит под угрозой ничем не ограниченного произвола кучки психически

неуравновешенных фанатиков и бессовестных властолюбцев, для которых справедливость и добро лишь смехотворные «буржуазные» предрассудки, — по меньшей мере анахронизм.

Недавно одной неглупой и вполне культурной даме я показывал афоризмы Г. Х. Лихтенберга, оставившие ее равнодушной. Тогда, прочитав ей вслух особенно яркий афоризм, я спросил ее, неужели и он ей не нравится?

На это она мне ответила:

— Если бы я встретила такую мысль на странице читаемого мною романа, тогда она, наверное, мне понравилась бы...

Современный читатель по рутине так привык мыслить в категориях романа, что вся остальная литература для него — лишь разрозненные части недоделанных романов. Но не знаю, стал бы кто-нибудь хвалить стихотворение, в котором на двадцать строк — только одна хорошая, а остальные — посредственные. На каждом шагу встречаются люди, даже литературно не безграмотные, с пеной у рта защищающие романы в пятьсот-шестьсот страниц то за удачный портрет одного из действующих лиц, то за захватывающий эпизод или диалог, то за случайно попавшие в них пейзаж или мысль, редко превышающие размерами две-три страницы.

Вопреки предвидениям Маркса, XX век весьма повысил благосостояние рабочих, но зато чрезвычайно снизил материальные возможности интеллигенции. Часто недостаточный и необеспеченный кусок хлеба достается ей ценой огромной затраты времени и сил. Даже если современная интеллигенция обладала бы досугами и возможностями своих дедов, и то времени бы не хватило на серьезное ознакомление с действительно ценным в области литературы. В таких условиях абсурдно требовать от культурного человека, чтобы он тратил драгоценное и дорогой ценой достаемое

ему время на глотание дешевой словесной размазни в надежде отыскать, подобно крыловскому петуху, жемчужное зерно в навозной куче.

Не разумнее ли требовать от автора этого жемчужного зерна в чистом виде, то есть сжатости и строгости к себе и отказа от хорошо оплачиваемой, но бессмысленной болтовни? Увы, в подавляющем большинстве реалистических романов не только жемчужного, но и ячменного зерна не отыскать!

Необходимо размежевать занимательное чтение для развлечения скучающих, хотя и претендующих на «занятие литературой», от единого на потребу, настоящего творчества.

Ибо, кроме левых политиканов, роман защищают только снобы, не способные на более серьезное занятие, но желающие прослыть образованными. Если отбросить все громкие слова и казуистические ухищрения, роман привлекает:

- 1) доступностью для любого лентяя и невежды;
- 2) занимательностью, т. е. праздным желанием узнать, «что будет дальше», удовлетворением вульгарнейшего любопытства на уровне газетных сенсационных сообщений о «кошмарных» преступлениях, приятно возбуждающих садистические наклонности некоторых лиц. К литературе всё это не имеет никакого отношения.

Весьма характерна судьба «романических биографий», бывших в большой моде в двадцатых и в тридцатых годах нашего века. У рядового читателя не хватает ни терпения, ни интереса для трезвого и точного изложения хода жизни исторической личности, каким бы талантливым оно ни было. Он привык к беллетристической мякине — к сентиментальным разглагольствованиям о любовных похождениях и к многословным, но поверхностным рассуждениям о всяких происшествиях, пусть даже искажающих фактическую достоверность. Особенно прославились по этой части

ныне прочно забытые литературные пустоцветы вроде Стефана Цвейга, Андре Моруа и вызывающе бездарного халтурщика Эмиля Людвига, тиражи которого и не снились достойной этого имени литературе. России в этом отношении повезло. У нас отличился высококультурный, наделенный безукоризненным вкусом Юрий Тынянов, блестящий стилист, автор классического «Кюхли», лишь слегка испорченного обязательной тенденциозностью. Но это исключение лишь подтверждает правило.

Попытки выгородить роман причислением к нему таких произведений, как эпопеи Гомера или «Парсифаль» Вольфрама фон Эшенбаха, — явно нелепы. Самый факт пользования стихом, притом чрезвычайно высокого качества, явно стоящим в центре внимания автора, сильная религиозная окраска — указывают на пропасть, отделяющую эти шедевры от занимательных романов эпохи буржуазного позитивизма.

Хотя и с обычным в таких случаях опозданием, закат реалистического бытописательства, вытесняемого самой жизнью, неизбежно дойдет в конце концов до сознания широких кругов читателей. Поэтому, может быть, пора подвести итоги этого исторически обреченного литературного жанра. За всё время существования романа можно назвать не больше двадцати действительно замечательных произведений, художественных целиком, а не только в каких-то частностях.

Прежде всего, надо указать на еще мало известные на Западе китайские классические романы, среди которых выделяются: грандиозная историческая фреска «Повесть о трех царствах». Ло Пена, «Чин-Пинг Мей», напоминающий современные ему испанские плутовские романы, «Путешествие на запад» У Чэн-эна — фантастическое описание паломничества к буддистским святыням Индии, изобилующее глубокомысленными параболami и насыщенное значительным духовным опытом, и уже упомянутый нами «Сон

в красном тереме» Цао Сю-кина — картина падения и гибели знатного рода, полная трагизма неотвратимой судьбы и глубокой поэзии, не уступающая Прусту по утонченности любовной психологии.

В Англии надо отметить «Том Джонс» Генри Фильдинга, «Гордость и предубеждение» Джейн Остен, «Мрачный ветер вершин» Эмили Бронте и, пожалуй, «Холодный дом» Диккенса. В Америке — «Моби Дик» Мельвилля, в Скандинавии — Гамсуна, во Франции — «Опасные связи» Лакло и «Пармскую обитель» Стендаля, в Польше — «Мужики» Реймонта, у нас — Достоевского (если только он романист в обычном смысле слова, что весьма сомнительно), «В лесах» Мельникова-Печерского, «Мелкий бес» Сологуба. Мало что к этому списку можно еще прибавить...

Остановимся подробнее на русской литературе, особенно славящейся романами. Не в «Капитанской дочке» сила Пушкина, да это и не совсем роман. «Герой нашего времени» — опять-таки не роман, а то, что принято называть «*Rahmenerzählung*». В «Мертвых душах» на самом деле хороши только первые шесть глав, сохранившиеся в окончательном виде. Об остальном мы можем только гадать. Тургенев писал романы больше для снискания популярности в революционных кругах, а лучшее у него — короткие рассказы. И у Лескова романы слабее рассказов. Бунин, Пришвин, Паустовский — великолепные пейзажисты, не особенно усердно гонявшиеся за формой романа. Без Октябрьского переворота реалистический роман давно был бы сдан в архив — ведь коммунистам, несмотря на все запугивания и поощрения, так и не удалось добиться появления ни одного сколько-нибудь приличного реалистического романа за всё свое более чем полувековое владычество.

Самым веским аргументом против всякой попытки поколебать авторитет реалистического романа обычно бывает Лев Толстой. До сих пор никто еще

не решился высказаться неодобрительно о «Войне и мире» или об «Анне Карениной». Любая критика этих увесистых монументов вызывает к себе априорную неприязнь, как попытка посягнуть на мировое значение русской литературы. Но романы Толстого, быстро и легко приобретя мировую славу, остаются странно неприкосновенными, как лишь по привычке почитаемые кумиры, к которым питают одно условное почтение, незаметно переходящее в скуку и равнодушие. Если новые поколения не найдут в них для себя ничего неожиданного, то близок день, когда это преклонение рухнет, как разъеденная червоточинной мебель. Уже теперь читают романы Толстого не ведущие культуру круги, а всё более широкая публика, ищущая в них лестное для самолюбия развлечение.

Переоценка творчества Толстого неизбежна, а потому и своевременна. Чем позже она придет, тем резче будет осуждение, могущее привести к отрицанию и на самом деле ценного. Его поздние повести, как «Смерть Ивана Ильича», «Хозяин и работник» или «Хаджи Мурат» — воистину прекрасны и от времени не тускнеют. Кроме того, недостаточно оценен Толстой — автор парабол, которых он написал в старости немало. «Суратская кофейня», «Ассаргадон», «Труд, смерть и болезнь», «Три вопроса», «Карма», народные рассказы, вроде «Чем люди живы?», «Ильяс», «Где любовь, там и Бог», «Три сына» и другие параболы из «Круга чтения» и лучшая, наибольшая по размерам — «Фальшивый купон», может быть, вершина всего им написанного. Упомянутой частью творчества Толстого принято пренебрегать. Нам это кажется неверным. Лучший Толстой — именно тут, тут и наибольшая глубина его мысли, его серьезности и предельная сжатость и простота его стиля, исходящая из глубоко русской, независимой от Запада традиции. Слог этих повестей прекрасен, не говоря уже о чрезвычайно значительных, как правило, сюжетах, даже

если они и взяты из других источников. Нельзя забывать и его драматических шедевров, как «Власть тьмы», «Живой труп» и др.

Романы падают мертвым грузом на эту лучшую часть толстовского наследия, заслоняя ее в глазах читателя и даже некоторых критиков. Как и у Кафки, пренебрегают лучшим, кажущимся на первый взгляд скромным, ради массивного, количественно подавляющего, но неудачного.

Это даже не вопрос личного вкуса. Романы Толстого быстро стареют и отдаляются от нас. Он в них чересчур самоуверен, благополучен, здоров, обеспечен. Его романы не выстраданы, они — переливающийся через край избыток жизненной силы. Неприятности, конечно, приключаются и с героями «Войны и мира», но главное — не они, а непрерывно, за каждой строчкой звенящее торжество привольной барской жизни руководящей верхушки тогдашнего русского общества. Неприятности, вроде непривлекательной наружности княжны Марьи, или неумения Пьера Безухова справиться со своими хозяйственными делами, остаются на поверхности, как несущественное. Надо всем царит торжество, как неумело скрываемая улыбка шутника перед лицом *чужого* горя.

Но всё это раздражающее великолепие лишено настоящей красоты. «Запахи», «краски», «звуки», «влечения», о которых восторженно говорят некоторые критики и которые воспринимаются читателем, чрезвычайно редки у Л. Толстого. Недостаточно «запах», «краску» или «звук» назвать для того, чтобы они явились. Вызвать духа может только чародей. Державин, Пушкин, Гоголь, иногда даже Тургенев, такими чародеями были. На призывы же Толстого — а он почти ничем иным и не занимался — духи откликаются исключительно редко, например, в знаменитом, часто цитируемом описании березовой рощи, через которую князь Андрей проезжает по пути к



имению Ростовых. Даже откликнувшись на его упорные, нескончаемые призывы, духи не укрепляются за его словом, не преследуют неотступно наше воображение, не западают глубоко в нашу душу, как это часто бывает с иной строчкой Пушкина или с редчайшими, увы, пейзажными штрихами у Достоевского (например, в петербургских пейзажах «Преступления и наказания») или другого Божьей милостью художника.

У Толстого же подлинно живой образ, проскользнув, теряется в непрекращающемся нагромождении обстоятельных, неживых, я бы сказал, деловых (реалистических!) описаний, и похоже, будто сам автор не чувствует разницы между дарованным ему свыше и автоматически текущими из-под его пера чисто механическими подробностями.

«Война и мир» — не идиллия, ибо идиллия живет непреодолимой тоской по потерянному раю, неисполнимым желанием автора, чтобы было так хорошо, как он описывает (см. «Пан Тадеуш» Мицкевича или «Старосветские помещики» Гоголя, или произведения самого основателя жанра — Феокрита), — живет неудовлетворенностью тем, что есть. Толстой же только то и делает, что ликует по поводу «самых лучших женихов и невест Российской империи». Даже в смерти отца Пьера Безухова гораздо больше бездушного делового реализма и «наследства», чем смерти. А он, хоть и «екатерининский вельможа», а тоже человек, и умирать ему, наверное, не хотелось.

«Война и мир» — и не трагедия, ибо автор трагедии сочувствует страданиям своих героев, сопереживает с ними, тогда как Толстой только описывает их с клинической обстоятельностью и равнодушием, за которыми ни на миг не перестает скользить безудержное ликование. Например, в сцене, которая легко могла и нормально должна была бы стать жуткой, щемящей и тяжелой — когда престарелый князь Николай Болконский начинает отдавать предпочтение

m-lle Bourienne перед своей дочерью, заставляя последнюю признать первенство гувернантки над собою, наше сердце не сжимается, мы не загораемся ни негодованием против самодурства старого князя, ни сочувствием к обижаемой им княжне Марье из-за равнодушно-объективного тона автора, больше занятого выискиванием «характерных» подробностей (которых он, впрочем, и не находит), чем возможной подлинной жизнью сцены. Выходит нечто вроде небрежно составленного протокола. Какой трагической, душевраздирающей силы, при несравненно большей краткости, подобная сцена достигла бы под пером Достоевского или даже Чехова!

Толстому эта сцена и не могла удалиться из-за упоения прелестями и привилегиями барской жизни, которое поглощает его настолько, что самые реальные человеческие страдания теряют для него значение. Точно так же людские страдания часто теряют свою остроту и для Бальзака из-за экстатического упоения витринами парижских модных магазинов, бывших для него чуть ли не главным смыслом и содержанием человеческой жизни.

Хотя это открыто и не сказано, ясно, что в глубине души Толстому весьма нравится самодурство старого князя (как и суровость Аракчеева, которого он явно предпочитает Сперанскому), ибо высокопоставленному, привилегированному вельможе Николаю Болконскому никто ничего запретить не может.

Это одиозное бесчувствие действует на людей нашей эпохи как недобрая, немного смешная наивность. То, что Бальзак сам страдал, — его извиняет, но впечатление об ущербности его ума остается. Толстой же эпохи «Войны и мира» и не страдал. Он имел всё. Но он захотел также и литературной славы, быстро и легко предоставленной ему послушной всем его капризам фортуной. Правда, эти лавры, в конце концов, неизбежно пойдут прахом, ибо настоящее творчество

никогда не рождается от избытка (кроме религиозного экстаза), а от неполноты, от тоски по недостижимому, от напрасных поисков и обманутых надежд. Творить, исходя из гордыни, из ликования своим пресыщением — позиция внутренне фальшивая.

— Вам весело, Ваше сиятельство? Ну так и веселитесь на здоровье, но не трогайте нашего горя и нашей судьбы, благо Вам до них и никакого дела нет... Вот ответ, невольно возникающий у современного читателя на самодовольное и упоенное собою и своим окружением писание Толстого.

Но как вольготно ни жилось его вельможам, нет в их жизни ощущения рая — ни экстатического безумия дионисийства, ни красочного изобилия Рубенса, ни благородного пресыщения поздних венецианцев. В нескольких аккордах Моцарта, в ином четверостишии Лермонтова или в «Пане Тадеуше» больше рая, чем во всем Толстом. Я не могу себе представить рай бесцветным, а почти всё написанное Толстым лишено красок, даже его редкие и редко удачные описания природы. Не потому ли, что для реалистической эстетики рыночная цена посуды, находящейся в доме, важнее, чем ее форма, цвет или рисунок?

Но дело не в Помяловских и в Глебах Успенских, с которых и спрашивать нечего. Именно Толстому бесцветность непростительна при его обилии описательных подробностей. Ему всё равно не дана благородная сухая прозрачность прозы Пушкина или Стендаля. Поэтому от его описаний (не говоря уже о «рассуждениях») веет пыльной, серой скукой.

Хотя Толстой имел больше досуга для писания своих романов, чем мы для их чтения, — чего стоит его проза, в сравнении хотя бы с лермонтовской «Таманью»?

При виде колоссального нагромождения подробных, равнодушно обстоятельных, не складывающихся в картину, не нужных для хода действия, почти никог-

да не выходящих за пределы общеизвестных замечаний, слишком часто встает вопрос: «к чему?» Как метко заметил К. Леонтьев, что описательные заметки Толстого ни к чему не ведут, анализ для анализа, заметка для заметки. Толстому недоступна лаконическая гравюрность, выразительность, умение находить характерную черту или незаменимо удачное слово, с которых только и начинается настоящее искусство.

Возьмем несколько примеров из первого, наиболее знаменитого из его нескончаемых романов:

«Они вышли в изящно, заново, богато отделанную столовую. Все, от салфеток до серебра, фаянса и хрусталя, носило на себе тот особенный отпечаток новизны, который бывает в хозяйстве молодых супругов» (т. I, часть 1, гл. 6, с. 36)\*.

В пределах моего скромного личного опыта я этого «особенного отпечатка новизны» не находил, а если Толстой его и заметил, то искусством было бы не назвать его ничего не значащими словами «тот особенный», а сделать его ощутимым, чего Толстой не сумел.

Затем: что дает перечисление «изящно, заново, богато» отделанной столовой? Эти три эпитета приблизительны и расплывчаты. Надо было создать впечатление изящества и богатства каким-либо конкретным замечанием, а не утверждать их наличие, ничем не показывая и не доказывая, т. е. попусту. Разве не лучше было бы это перечисление просто устранить, как и всю приведенную фразу, из которой можно сделать только один вывод: Толстому было очень приятно в этой столовой (как, впрочем, и во всем остальном тексте романа), но передать нам свое ощущение — как и почему приятно — он не смог.

---

\* Л. Н. Толстой. Война и мир. Собрание сочинений в четырнадцати томах. Цитируется здесь и дальше по изданию: «Государственное издательство художественной литературы», М., 1951.

## Другой пример — портрет графа Ильи Ростова:

«Душевно прошу вас от всего семейства, *ma chère*. — Эти слова с одинаковым выражением на полном, веселом и чисто выбритом лице и с одинаково крепким пожатием руки и повторяемыми короткими поклонами говорил он всем без исключения и изменения. Проводив одного гостя, граф возвращался к тому или той, которые еще были в гостиной; придвинув кресла и с видом человека, любящего и умеющего пожить, молодецки расставив ноги и положив на колена руки, он значительно покачивался, предлагал догадки о погоде, советовался о здоровье, иногда на русском, иногда на очень дурном, но самоуверенном французском языке, и снова с видом усталого, но твердого в исполнении обязанности человека шел провожать, оправляя редкие седые волосы на лысине, и опять звал обедать» (там же, гл. 7, с. 45).

Мы нарочно привели эту более длинную цитату, чтобы дать пример нагромождения не достигающих цели замечаний. Несмотря на обилие мелочных подробностей, действующего лица мы не видим, не ощущаем также суеты, которую, по-видимому, автор хотел изобразить. Например: «с видом человека, любящего и умеющего пожить». Если, по мнению автора, глядя на графа Илью, было видно, что он «любит и умеет пожить», это надо было *показать*, иначе не стоило этого *утверждать*. Следующие за этим слова «молодецки расставив ноги» тоже ничего предыдущему предложению не придают. Тем более, что весьма сомнительно выглядят «молодецки» расставленные ноги у сидящего человека. Они скорее — жест усталости. Точно так же бессмысленно, ибо ненужно, следующее за тем: «шел провожать, оправляя редкие седые волосы».

Дальше:

«Да, — сказала графиня, после того как луч солнца, проникнувший в гостиную вместе с этим молодым поколением, исчез, и как будто отвечая на вопрос, которого никто ей не делал, но который постоянно занимал ее. — Сколько

страданий, сколько беспокойств перенесено за то, чтобы теперь на них радоваться! А и теперь, право, больше страха, чем радости. Все боишься, боишься! Именно тот возраст, в котором так много опасностей и для девочек, и для мальчиков.

— Все от воспитания зависит, — сказала гостья» (там же, гл. 9, стр. 53).

Думаю, что в мировой литературе трудно найти более ненужные, само собой разумеющиеся, а потому и плоские азы, чем в этом отрывке. А ведь почти все нескончаемые диалоги романа состоят почти сплошь из такого рода прописных истин.

К слову сказать: чем объяснить — бедностью воображения или недостатком литературной техники — данные действующим лицам фамилии? К чему эта нехитрая игра в прятки с самим собой? «Болконский», «Друбецкой», «Облонский»... Как будто не ясно, что речь идет о «Волконском», «Трубецком» или «Оболенском».

«...Официанты зашевелились, стулья загремели, на хорах заиграла музыка, и гости разместились. Звуки домашней музыки графа заменились звуками ножей и вилок, говора гостей, тихих шагов официантов. На одном конце стола во главе сидела графиня. Справа Марья Дмитриевна, слева Анна Михайловна и другие гости. На другом конце сидел граф, слева гусарский полковник, справа Шиншин и другие гости мужского пола. С одной стороны длинного стола молодежь постарше: Вера рядом с Бергом, Пьер рядом с Борисом; с другой стороны — дети, гувернеры и гувернантки. Граф из-за хрусталя, бутылок и ваз с фруктами поглядывал на жену и ее высокий чепец с голубыми лентами и усердно подливал вина своим соседям, не забывая и себя. Графиня так же, из-за ананасов, не забывая обязанности хозяйки, кидала значительные взгляды на мужа, которого лысина и лицо, казалось ей, своею краснотою резче отличались от седых волос. На дамском конце шло равномерное лепетанье; на мужском все громче и громче слышались голоса, особенно гусарского полковника, который так много ел и пил, все более и более

краснея, что граф уже ставил его в пример другим гостям» (там же, гл. 15, с. 76-77).

Несмотря на длину этого разглагольствования, едва половину которого мы решились привести, в нем нет ни картины, ни настроения, ни мысли, ни даже чего-либо нужного для хода действия. Уже первая фраза: «Официанты зашевелились, стулья загремели, на хорах заиграла музыка, и гости разместились» — никакая. Не было ли бы художественнее в таком случае просто сказать, что гости сели за стол? Не принадлежи сам автор к описываемому им общественному кругу, его можно было бы заподозрить в пресмыкательстве. У любого другого писателя все эти «официанты зашевелились» и прочее были бы объяснены именно так. Непонятно, как Толстой, для которого жизнь высшего круга была не чем-то небывалым, а само собой разумеющейся обыденщиной, прибегал к таким трафаретам, без всякой новизны своего, личного взгляда на знакомую ему с детства жизнь.

«Звуки домашней музыки графа заменились звуками ножей и вилок...». В данном случае слово «звуки» наиболее расплывчатое из всех возможных определений, художественно наименее полезное. К тому же автор его повторяет два раза. И эту фразу правильнее было бы вычеркнуть за ненужностью или же следовало найти более точные выражения, передающие разницу в ощущениях, вызываемых оркестром, ножами и вилками.

Трудно найти описание города, настолько лишенное не только всякой пластичности и атмосферы, но и какой бы то ни было для данного города характерной мелочи, чем нижеследующее:

«Уже было совсем темно, когда князь Андрей въехал в Брюнн и увидел себя окруженным высокими домами, огнями лавок, окон домов и фонарей, шумящими по мостовой красивыми экипажами и всею тою атмосферой большого оживленного города, которая всегда так привлекательна для

военного человека после лагеря» (часть 2-ая, глава 9, с. 186).

А вот «всей той атмосферы» и не получилось. Разве есть на свете город, в котором не было бы «высоких домов», «огней фонарей» и всего того, что здесь бесполезно нагромодил автор?

На приеме в Английском клубе

«большинство присутствовавших были старые, почтенные люди с широкими самоуверенными лицами, толстыми пальцами (?! — Э. Р.), твердыми движениями и голосами. Этого рода гости и члены сидели по известным, привычным местам и сходились в известных, привычных кружках» (т. II, часть 1, гл. 3, с. 18).

От того, что все эти «места» и «кружки» «известны» и «привычны» автору, они не становятся знакомее или виднее читателю. Следовательно, либо надо было всё это сделать доступным восприятию посторонних, либо вычеркнуть.

Вообще, думается, если бы роман «Война и мир» был сокращен до размеров... ну, скажем, «Крейцеровой сонаты», он бы, несомненно, значительно выиграл.

Много нового мы узнаем также из нижеследующего:

«Пьер, ...которого ласкали и прославляли, когда он был лучшим женихом Российской империи, после своей женитьбы, когда невестам и матерям нечего было ожидать от него, сильно потерял во мнении общества...» (там же, часть 2, гл. 6, с. 87).

Конечно, вода — мокрая, лошади едят овес и сено и Волга впадает в Каспийское море. Только все эти прописи намного короче толстовских разглагольствований, кому-то долженствующих казаться умными.

За неимением места мы не приводим растянувшегося на три страницы описания приготовлений к балу дам семьи Ростовых, полному утомительного многословия и ничего не значащих подробностей, вроде:



«— Позвольте, барышня, нельзя так, — говорила горничная, державшая волосы Наташи.

— Ах, Боже мой, ну после! Вот так, Соня.

— Скоро ли вы? — слышался голос графини. — Уж десять сейчас.

— Сейчас, сейчас. А вы готовы, мама?

— Только току приколоть.

— Не делайте без меня, — крикнула Наташа, — вы не сумеете!

— Да уж десять...» (там же, часть 3, гл. 14, с. 198-199).

Настоящий художник, вместо такого нескончаемого словоизвержения, или привел бы яркую синтетическую черту, создающую настроение, или отказался бы от этой набивающей оскомину болтовни.

Нам, может быть, возразят: ну а что если в данном случае действительно была нескончаемая бестолковая болтовня? Художник Толстой остался верен изображаемой им неприглядной действительности.

Во-первых, искусство не в том, чтобы оставаться скучным, изображая скучную действительность, а в том, чтобы, уловив суть скуки, убедительно скуку показать, как, например, блестяще ее изображал Бодлер, сам никогда скучным не бывавший.

Во-вторых, думаем, что причина скуки этих страниц не в бездарности Толстого, человека весьма и бесспорно талантливому, а в его желании следовать предписаниям реалистического романа. Тут бы скис не только Толстой, но и сам божественный Гомер.

Правда, Толстому не хватило внутренней независимости и смелости, чтобы подняться над бездарными требованиями своей эпохи, как Бодлеру, Аполлону Григорьеву, Достоевскому, Леонтьеву и другим истинно великим его современникам. Нужен был кризис периода «Исповеди» и «Крейцеровой сонаты», чтобы раскрылся в Толстом на самом деле крупный художник.

Еще:

«Между князем Андреем и Наташей после дня предложения установились совсем другие, чем прежде, близкие, простые отношения. Они как будто до сих пор не знали друг друга. ... Сначала в семействе чувствовалась неловкость в обращении с князем Андреем; он казался человеком из чуждого мира, и Наташа долго приучала домашних к князю Андрею и с гордостью уверяла всех, что он только кажется таким особенным, а что он такой же, как и все, и что она его не боится и что никто не должен бояться его. После нескольких дней в семействе к нему привыкли и, не стесняясь, вели при нем прежний образ жизни, в котором он принимал участие» (там же, гл. 24, с. 231).

Все это еще намного длиннее, скучнее и ненужнее... но, думается, приведенного достаточно. Неужели Толстой принимает нас за идиотов, не знающих, что при вступлении нового человека в семью вначале бывает некоторая неловкость, затем прекращающаяся? Зачем было об этом так длинно распространяться? В дальнейшем он позаботился даже о том, что жениха с невестой оставляли одних, — и всё это с бесконечным количеством совершенно излишних подробностей. Глубокой новизной отличается, например, перечисление симптомов старости Н. Болконского: «...неожиданные засыпания, забывчивость ближайших по времени событий и памятьливость к давнишним...». Подобных примеров можно привести сколько угодно.

Такое нагромождение само собой разумеющихся, т. е. реалистических подробностей портит даже некоторые из его лучших старческих рассказов, как, например, «Хозяин и работник». В конечном итоге, лучшее у Толстого — строгая оголенность параболы.

Бесспорно компетентные судьи, как К. Леонтьев, Вл. Соловьев, В. Розанов, Д. Мережковский, В. Ходасевич и другие сдержанно относились к толстовскому величию. Напротив, при Сталине романы Толстого пользовались полным одобрением партийного начальства, служили образцом Фадееву и другим столпам

соцреализма. Конформизм «Войны и мира» великолепно уживается с конформизмом кремлевской верхушки.

Отметим также безраздельно царящее в этом романе, несмотря на сюжет (война), нутряное, неискоренимое отсутствие трагизма. Говорят... это эпос вроде «Илиады»!

Сравнение для Толстого — крайне невыгодное. Не говоря даже о неисчерпаемых поэтических сокровищах Гомера, которых и в помине нет в размашистой и посредственной прозе «Войны и мира», — в каждом из поединков «Илиады» присутствует тень смерти, трагичная простотой своего величия. Разве можно себе представить что-нибудь менее трагическое не только чем смерть Пети Ростова, но даже чем горе его матери, описанные с убийственным клиническим равнодушием, чтобы не сказать бессердечием, ни в каком случае не могущим слыть за художественность? Зачарованность Толстого радостями привилегированного положения своих героев привела его к одиознейшему конформизму, торжествующе одобряющему всё существующее. Максимум зла для него в то время были Наполеон и ростовский управляющий Митенька.

Выходит, что сверхзнаменитый и у нас, и за границей русский роман — не украшение, а скорее относительная слабость нашей культуры. Многие интеллигенты из-за него пренебрегают настоящими ценностями русской культуры — ее поэзией, философской и богословской мыслью, иконописью, театром, неправильно осведомляя иностранцев, и по сей день всё это игнорирующих. Фальшивое упоение наиболее доступным — романом — препятствует всестороннему развитию русской культуры.

Сколько людей продолжают рассматривать Пушкина с дилетантски безответственной точки зрения Белинского и руководствоваться «суждениями» по-

следнего о литературе! Для сколь многих Гоголь еще и по сей день — лишь «передовой сатирик», главной заботой которого было «обличение» ненавистного «самодержавия», Достоевский — «психолог», а Андрей Белый — «декадент»... Сколько людей и не подозревают, что Розанов, Шестов, Бердяев и Флоренский принадлежат к числу величайших философов нашего века.

В любой другой стране люди калибра Юркевича, Леонтьева или Страхова давно были бы выдвинуты на руководящие места и на заслуженные ими позиции мировой славы, тогда как подавляющее большинство образованных русских и не слыхали о них. Но незнание Максима Горького было бы сочтено позором.

Роман в русской литературе не богаче законченными шедеврами, чем в других больших литературах. Но изобилие романов при скудости поэзии, мысли, высоких форм театра или музыки было бы признаком незначительности или глубокого неблагополучия всякой культуры. К такому положению коммунизм силится привести покоренные им народы — он запрещает мысль, угнетает поэзию и театр, но поощряет «реалистический» роман.

К счастью, ему так и не удалось погубить русскую культуру. Несмотря на длящиеся более полувека кровавые преследования, Россия никому не уступает ни по глубине, остроте и многообразию мысли, ни по широте охвата философской проблематики. Лучшие русские поэты достигли мировой славы; за короткое время своего расцвета, сорванного Сталиным, русский театр успел занять первое место в мире, а иконопись принадлежит к высочайшим проявлениям человеческого гения в пластическом искусстве. Передовые страны Запада лишь теперь приближаются к постановке проблем, над которыми русский ренессанс плодотворно работал за много лет до революции. И немало имеется еще неузнанного и неоцененного по заслугам как

иностранцами, так и самими русскими. Во второй половине XIX века, в тишине часто весьма скромных своих кабинетов, высоко одаренные деятели вели огромную работу, конечно, усердно замалчиваемую левой печатью, но в которой можно сделать еще немало блестящих открытий. Труды Леонтьева и Страхова уже начинают доходить до читателя, тогда как творчество Струнникова, Платона Кускова или Забелина еще ждет своего часа.

Пора откинуть выгодные лишь определенным кругам заблуждения о якобы «первом в мире» русском романе. Будто этого одного достаточно для бесспорного превосходства русской культуры над всякими там Платонами, Гёте и прочими мракобесами, которым далеко до Чернышевского, Шапова и других корифеев «передовой» мысли.

На самом деле шедевры русской прозы сильны не навязанным шестидесятниками «реализмом», а именно фантастикой, которая, напротив, весьма положительное явление в области культуры. Она укоренена в параболе и народной сказке и, отвечая духовным реальностям, требует настоящего творчества. В качестве фантастов Боборыкин или Фадеев — просто невообразимы. Написать хорсший фантастический рассказ намного труднее, чем настрочить многотомный «реалистический» роман вроде «Поднятой целины».

Неслучайно лучший рассказ Пушкина — фантастический («Пиковая дама»). Еще сильнее фантастика у Гоголя: «Ночь под Рождество», «Страшная месть», «Вий», «Нос», «Шинель» (и после этого находятся господа, зачисляющие Гоголя в «реалисты»!); у Тургенева — «Сон», «Песнь торжествующей любви», «Клара Милич»; у Лескова — христианские легенды, многие святочные рассказы и «рассказы кстати»; у Гаршина — «Красный цветок»... несправедливо забыты повести Погорельского и В. Одоевского; «Упырь» и

«Семья вурдалака» А. К. Толстого, хотя и не так замечательны, но во всяком случае несравненно выше, чем тошнотворная антиклерикальная дребедень Помяловского или безграмотное злопахательство Решетникова.

Фантастика достигает предела в сновидчестве А. М. Ремизова. Очень жаль, что прекрасные рассказы Ю. Одарченко еще не опубликованы. Хотя красочные повести Леонтьева из жизни греков, как и проникнутые глубокой серьезностью поздние параболы Толстого, и не фантастичны, ничего общего с бескрылым реализмом они не имеют, как и насквозь лирическая проза Сергеева-Ценского, Бунина, Пришвина, Шишкова, Паустовского, не говоря уже о смелом модернизме Андрея Белого, Замятина, Бабея, Шаршуна и Набокова-Сирина (у которого встречается и фантастика, например, «Посещение музея»). Только марксистское мракобесие помешало «Серапионовым братьям» открыть в России новую страницу преимущественно фантастической прозы (их планы подтверждаются теоретическими писаниями).

Что может всему этому противопоставить «реализм»? Писемского? Помяловского? Или тяжелого скептика Чехова? Да и тот в «Черном монахе» и в «Палате № 6» подошел к самому краю запретной фантастики. Неизвестно, что бы с ним стало, если бы не его преждевременная смерть. «Архиерей» — отнюдь не шаг в сторону соцреализма!

Реализм — не «отличительное свойство», а тяжело изживаемая болезнь русской прозы, ее временная, раздуваемая врагами слабость, плод засилия невежественных шестидесятников, предрассудок, который пора отбросить.

К тому же — зачем реализм? Кому и для чего (кроме политически заинтересованных коммунистов) он нужен? За что и почему его нужно уважать? Почему, в угоду ему, надо жертвовать всеми осталь-

ными возможностями? Почему именно реализм, а не — псевдоклассическое единство времени, места и действия?

Фантастика создала весьма замечательные произведения не только в русской, но и в мировой литературе. Вспомним хотя бы Э. По, Н. Ходзорна (Hawthorne) или Бульвер-Литтона. А разве лучшее у Диккенса — не фантастическая «Рождественская песнь в прозе»? А Стивенсон с его незабываемым «Доктором Джекилом и мистером Хайдом»! А изумительные рассказы о привидениях Монтэгю Джеймса, а Г. Уэллс, а гениальный Д. Г. Лоренс, близкий по духу К. Леонтьеву?

В немецкой литературе тоже, наряду с несравненной фантастической повестью Шиллера «Духовидец» (почти неизвестной по сравнению со значительно более слабыми, но агитационно выгодными драмами «Разбойники» и «Дон Карлос»), мы находим глубокомысленную гётевскую «Повесть о зеленой змее» и творчество романтиков Тика, Гофмана, Арнима, а в наш век — Густава Мейринка и Франца Кафку.

Список этот легко обогатить еще примерами из французской, чешской, скандинавской и других литератур. Но приведенного, думаем, достаточно, чтобы не утомлять читателя длинными перечислениями.

Лучший способ вывести из застоя современную литературу — это раз и навсегда решительно откинуть всякий реализм как вредный пережиток, тормозящий свободу творчества. Долой реализм! А в первую очередь его главную цитадель — реалистический роман. Проза должна вступить на путь ничем не ограниченной свободы творческой фантазии, как всё лучшее в современной живописи или поэзии.

Это — не призыв к словесной неряшливости. Наоборот, всякое настоящее искусство требует безжалостной строгости к себе самому и к своему делу. Нет искусства без смелости и беспощадной правды.

вости. Но правда искусства — не в бескрылой фотографичности, а в бескомпромиссном чувстве ответственности художника за каждую черточку своего письма.

Правда не однородна. Есть много слоев правды неодинаковой степени и значимости. Она может быть внешней, кажущейся, поверхностной, и она может идти до бесконечности вглубь сути вещей, приближаясь ко границе некоей абсолютной истины, достигнуть которой человеку не дано. Часто то, что есть правда на одном уровне, оказывается ложью на другом, более глубоком. В одном из лучших своих рассказов Чехов говорит о том, что мать гимназиста Володи рассказывает гостям о своей аристократической родне.

«...Это неправда, — сказал раздраженно Володя. — Зачем лгать?»

Он знал отлично, что татап говорит правду; в ее рассказе о генерале Ш. и урожденной баронессе К. не было ни одного слова лжи, но тем не менее все-таки он чувствовал, что она лжет. Ложь чувствовалась в ее манере говорить, в выражении лица, во взгляде, во всем...

Не знаю, много ли имеется плодов реалистической музыки, правдивых хотя бы в той скромной мере, в которой были правдой слова Володиной матери. Тем не менее весьма распространено заблуждение, отождествляющее реализм с правдой. В таком случае фантастические рассказы Гофмана и По — реалистичны. Борясь против реалистической литературы, мы-то как раз за правду и ратуем. Подавляющее большинство бесспорно реалистических произведений поражает именно своей лицемерной лживостью и художественной ненужностью, что в области искусства и есть наиболее выраженная форма *неправды*. Невозможно сомневаться в реалистичности «Что делать?» Чернышевского, но история мировой литературы не знает более яркого примера заведомой, злостной нутряной недобросо-



вестности, омерзительной фальши и цинического лицемерия.

Ценность художественного произведения измеряется его близостью к абсолютной правде, усилием автора для достижения максимальной искренности. Правда Гофмана или По, Гоголя или Лескова — внутренняя правда подлинных переживаний. В фантастике малейшая фальшь немедленно становится совершенно невыносимой. Здесь — необходима бескомпромиссная правдивость и искренность. Иначе она бы не влияла на души с такой силой.

Красота — дитя формы, т. е. строгой дисциплины и сурового самоограничения. Она — победа человеческой воли над хаосом сырого материала. Ограничивать творческий замысел (без которого немислим в пределе даже Боборыкин), т. е. как раз то, что подлежит волевой обработке художественной дисциплины, при равнодушии к словесной расхлябанности — верх бессмыслицы.

Из того, что приносит вдохновение, откидывать надо только то, что не умещается в образующую форму, ибо тут — диктует форма. Она — энтелехия художественного произведения. Любое же вмешательство посторонних — политических или иных — соображений неизбежно приводит лишь к искажению и к распадению формы, то есть художественного произведения как такового.

Недолговечность барокковых пастушеских романов, вроде «Астреи» Оноре д'Юрфе или «Дианы» Монтемира, должна была бы заставить задуматься сторонников романа реалистического, выдвинутого буржуазией и осужденного историей вместе с нею, даже в ее самых крайних марксистских формах.

Вадим НЕЧАЕВ

## НРАВСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

12.12.77 г. в Музее Современной Живописи состоялась конференция на тему: «Нравственное значение неофициальной культуры в России». Конференция проводилась по инициативе писателя Вадима Нечаева в рамках ленинградского Биеннале. В ней приняли участие представители культурного движения.

Два года назад в Ленинграде начался расцвет культурного движения — после «бульдозерной» выставки в Беляево в Москве произошла консолидация художников, поэтов, прозаиков, философов, религиозных деятелей. Возникли объединения художников-нонконформистов (ТЭВ), сборники независимой поэзии, появились открытые издания — журнал «37», книга-коллаж «Архив». Консолидация вызвала ответную жёсткую реакцию со стороны властей.

В конференции участвовали: писатель Вадим Нечаев, художник Владимир Овчинников, физики Марина Недрובה и Марк Пеккер, ученый-отказник Илья Беспрозванный, д-р теологии Евгений Барабанов, священник о. Лев Конин, скульптор, автор проекта памятника жертвам культа личности, Ольга Пеккер, поэт Виктор Кривулин.

Каждый из участников говорил о своем личном драматическом опыте участия в культурном движении. Несмотря на различия во взглядах, общими оказались:

1. Оценка настоящей культурной ситуации как трагической.
2. Признание того, что неофициальная культура в России выходит за рамки чисто культурных проблем и несет основное — нравственное содержание.

3. Возникновение в рамках Второй культуры духовного сопротивления.

Ниже мы публикуем доклад Вадима Нечаева.

Мне приятно видеть здесь замечательных людей — лидеров неофициальной культуры. Культурно-религиозное движение, которое существует уже несколько лет, настоятельно требует осмысления. Поэтому сегодня, 12 декабря, мы решили провести конференцию на тему «Нравственное значение неофициальной культуры». Мне кажется, в самой постановке этой проблемы содержится ключ к решению многих неясных моментов. А теперь разрешите мне приступить к докладу.

Неофициальную, или «Вторую», культуру нельзя определить апофатически, через отрицание. Культура — не школа и не сводима к сумме эстетических принципов или набору стилистических приемов. Поэтому естественно, что попытка определять Вторую культуру как независимую, как авангард, как этакое *Arguova*, заранее обречена на провал. Скорее можно понять культуру через те идеалы, которые она утверждает, и через те идеалы, которые она ниспровергает.

Не вызывает возражения понятие «независимый» художник или «независимый» поэт. Это человек, не связанный с официальными союзами и организациями. Но в термине «независимая культура» слишком велик грех социальности. Определение «Вторая культура» приемлемей, потому что оно нейтральней.

Идеалы неофициальной культуры всегда были шире идеалов официальной культуры. Соцреализм очерчен так жёстко не потому, что он задан жёстко стилистически, как одно время любили это утверждать (хотя бы рапповцы), а потому, что он служит утверждению официальных канонов. А содержание их определяется на каждый данный исторический момент

верховой установкой. Произведение искусства принимается или отвергается в зависимости от того, в какой степени оно соответствует установке на данный момент. И если некоторые произведения вопреки этому допускались к читателю (автор малоизвестен или перешел в мир иной), то большая часть, не соответствующих канону, принципиально не приемлема.

Категорически отвергается христианская тематика, сатира, всё, что расходится с идеократическим сознанием. Отсюда понятно, почему часто критикуют и осуждают не произведение, а писателя. Человеку, отпавшему от общепринятой идеологии, приписываются немыслимые грехи. В глазах общества он становится еретиком, его шельмуют и дискриминируют прежде всего идеологически.

Путь независимого поэта и художника в России XX века — путь самопожертвования, полный риска и лишений. Примером может служить Осип Мандельштам. Если его и напечатали, так это был чисто престижный момент. Мандельштам как был недопустим, так и остался для читателя недоступен.

Какие же пути открыты перед советским интеллигентом?

В юности мыслящий человек осознает фальшь окружающей жизни. Наступает период романтического нигилизма — нечто подобное тому, что пережило «потерянное» поколение после первой мировой войны. Недаром у нас так моден Хемингуэй и — за ним — Ремарк. Одновременно с тем, что интеллигент открывает безличность общепринятых догм, он узнает, что истинные ценности существуют, но скрыты от него. Они либо замалчиваются, либо искажаются. Лучшие произведения русской литературы — романы А. Платонова «Чевенгур», Замятина «Мы», Б. Пастернака «Доктор Живаго», А. Солженицына «В круге первом» — неизвестны русскому читателю, полотна великих художников К. Малевича, В. Кандинского, Н. Фило-

нова хранятся в запасниках советских музеев, а религиозно-философские книги Н. Бердяева, о. П. Флоренского, Н. Лосского практически недоступны.

И тогда читатель, как Простодушный Кандид, пускается в лихорадочную погоню за знаниями — начинается период самообразования. Он может найти помощь для себя в библиотеках, в домашних кружках, в «самиздате». Если ему повезет, если у него окажется достаточно настойчивости, веры в себя, моральной убежденности и таланта, ему удастся создать нечто позитивное. И тогда выясняется, что его труды, вне зависимости от качества, может быть, очень высокого, вызывают резкое недовольство у ревнителей канона тем, что они просто не соответствуют стандартам официальной культуры.

Перед ним встает дилемма: либо он должен стать конформистом, чтобы включиться в систему (профессионал-эстетик может, к примеру, быть страстным поклонником Андрея Белого и в то же время писать о нем разоблачительные статьи, хотя к этому его не вынуждает борьба за кусок хлеба — он просто-напросто падла и конформист), либо судьба выталкивает его в подполье, где наряду с самоотверженными художниками обитают неудачники, несостоявшиеся поэты и поклонники богемы — символ его так называемый «Сайгон», кафетерий на углу Невского и Литейного, бывшая «Вшивая биржа». Творческий человек попадает в драматические обстоятельства.

И вот тогда возникает уникальная попытка создать свою культуру, свой мир со своей иерархией ценностей, своими понятиями о добре и зле; мир, где стихи поэтов распространяются в «самиздате» и читаются на домашних вечерах, где своя проза и философия, выставки независимых художников на квартирах и открытом воздухе.

Когда официальная идеология терпит крах, естественным является обращение к религиозным ценностям,

тяга к христианству как к целительному средству, как к спасению от омертвления души. В обществе явственно наблюдается религиозное возрождение (религиозные мотивы попали даже в официальную литературу).

И раньше была Вторая культура, которая находилась в оппозиции к официальной. Достаточно назвать «проклятых» поэтов, битников и хиппи. Но это была либо автономная культура, либо проект контркультуры. Вторая культура в России отличается тем, что она шире официальной даже по эстетическим принципам. Люди, родившиеся в духовном подполье, решились быть свободными. Их окружают страхи, реальные и выдуманные, преследует нищета — но воля к свободе, к жизни в Истине сильнее страха, сильнее физического инстинкта самосохранения.

Именно это заставляет их отказываться от карьеры, от продвижения по социальной лестнице. Как правило, они занимают самые низкие должности. Подобно трагически погибшей художнице Татьяне Кернер, они работают в кочегарках, в лифтах, сторожках — с дипломами об окончании университета или Художественной академии. Не случайно Эйнштейн говорил, что если бы он мог заново построить свою жизнь, он стал бы смотрителем маяка или мусорщиком.

Эта ситуация неминуемо порождает самые фантастические явления, которые непонятны даже тем, кто всего несколько лет назад вынужден был покинуть Россию. Прежде всего, это так называемое культурное движение. Если в неофициальной культуре прежде существовали лидеры, то они были генералы без войск. Теперь в Ленинграде, Москве и Прибалтике насчитываются сотни независимых художников, десятки поэтов, существуют религиозные семинары, открыто выпускаются журналы и альманахи.

Культурное движение — это не только новое количество, это прежде всего новое качество. Возник

новый микроклимат, в котором существуют разнообразные духовные и эстетические тенденции.

В то же время отчаянный императив свободы привел этих людей к неожиданному и тесному соприкосновению с властями. Отсюда и страх, и бравада, и порой спекуляция властей на страхе.

Мы должны отдавать себе ясный отчет в том, что Вторая культура живет все-таки в пограничной ситуации. А к пограничным ситуациям неприменимы обычные моральные и эстетические мерки, как невозможен обыкновенный быт во время войны или в концлагере, и заменяется он бытом парадоксальным, абсурдным. Пограничная ситуация, я бы сказал так, превращается из стресса в быт.

И нередко Вторую культуру мы пытаемся рассматривать по неприменимым к ней меркам, как культуру духовного озарения, как выражение протеста или даже как патологию, на самом деле это — *культура в блокаде*. Это ее экзистенциальный план. А социально-политический: общество в лице официальных представителей выталкивает ее из себя, терпит с раздражением, пытается опять загнать в подполье. И если посмотреть на культурное движение чуть со стороны, то видны сопротивления несчастьям, сила духа, и возникает невольно момент восхищения.

В неофициальной культуре очень легко находить «недостатки», изображать ее явлением локальным. Я хочу напомнить, что это — настоящий культурный взрыв. Мы не замечаем его масштабов, потому что находимся в эпицентре. Чтобы дать сравнение, я хочу рассказать притчу.

В 1953 году, сразу после процесса врачей, к блестящему ученому, языковеду и филологу, профессору Адмони зашла в гости вдова Мандельштама — Надежда Яковлевна. Она отогревалась у печурки и горько говорила: «Всё кончено. Сейчас стихи Осипа знают три человека — вы, я и мой брат». Он ей возразил:

«В глуши живут неизвестные нам люди, которые помнят и выучивают стихи наизусть, чтобы передать их детям, близким. Я думаю, их десятки, может быть, сотни».

Никто тогда не предполагал, какая слава придет к Мандельштаму. Для целого поколения он оказался «пророком в своем отечестве» — это еще задолго до выхода однотомника с жалким тиражом 10 тысяч экземпляров.

Теперь я хочу обратиться к истокам культурного движения, в каком-то смысле к истории. Распространено мнение, что независимое культурное движение началось после разоблачения культа Сталина и после венгерских событий в 1956 году. На самом деле оно возникло в 1952-1953 годах. Независимо друг от друга оформились: в Москве — Лианозовская школа, учителем которой был художник и поэт Евгений Леонидович Кропивницкий, в Ленинграде — «Орден нищенствующих художников», куда входили А. Арефьев, В. Преловский, Р. Васми, В. Громов и поэт Роальд Мандельштам, а также Университетская поэзия, совершенно непохожая на ту, которая существовала до нее и одновременно с ней в официозе. Отличаясь скептицизмом ко всем сферам жизни, она противостояла всему миру. И тем не менее непосредственность бытия выражалась ею в непосредственной форме.

Одним из следствий тех лет было то, что знание круговой поруки, фатальной неизбежности «внешне-исторических» событий было разрушено, и человек обрел личное чувство ответственности и личную вину в истории и перед историей. Оказалось целое поколение виноватым, поколение отцов и даже дедов — и оправдываться было нечем. Ни страх, ни отсутствие информации, ни подчинение всегда правой верховной воле не могли служить оправданием перед миллионными замученных, пропавших, потерявших веру — положенных в основу, как кладут гальку и щебень в



длинную яму, которой предназначено стать прямой дорогой к светлому Будущему. От 1954 года можно вести счет рождению совести, той совести, основанной на любви, вере, верности и чести, для которой ранее не было места в теории классовой морали.

У нас не было иллюзий ни насчет прошлого, ни насчет настоящего, но сохранялись еще иллюзии относительно своей личной судьбы, хотя будущее довольно скоро и их разрушило.

Из кого состоял кружок университетских поэтов? Это — Михаил Красильников, удивительно яркий, душевно щедрый человек, по натуре своей лидер, максималист по взглядам, поклонник футуристов. Это Владимир Уфлянд, ироничный, склонный к широким социальным формулировкам, он имел большой успех в студенческой среде. Поразительно актуально воспринимаются его тогдашние стихи, например, о русском эмигранте или о Статуе Свободы, перекрашенной в черный цвет. Это — культурный поэт Владимир Лифшиц, резкий Евгений Рейн, ученик Хлебникова Михаил Еремин, чья крупнозернистая поэтическая строка не потускнела до сих пор, это самоуглубленный Дмитрий Бобышев, который и сегодня в России является подлинным поэтом, это блещущие умом Юрий Михайлов, Леонид Виноградов и Анатолий Нейман. К братству поэтов примыкал художник Олег Целков и единственный прозаик — ваш покорный слуга. Поддерживали нас Кирилл Косцинский, Анна Ахматова, Борис Эйхенбаум, принадлежавшие к живой ветви русского искусства. Подполья не было, не было даже мысли о нем. Позиция жизни была проста: «элита — поэты», а весь остальной мир — дерьмо. Эпатаж осуществлялся не только в стихах, но и в самом образе жизни. Поэты не ставили себе задачи быть выражением духа времени, они его просто выражали. В тот период уже можно было найти зачатки поэзии битников, поэзии хиппи, поэзии современных интеллектуальных поэтов.

Жизнь, конечно, не гладила по головке, она их била по голове жестоко и беспощадно. Если пятьдесят шестой год для всей страны был годом облегчения, то для нас он был годом трагедии. Многие мои друзья вышли на демонстрацию с лозунгами, аналогичными тем, которые были в 1968 году у студентов в Париже, и всё кончилось политическим процессом. Счастливый период этой иной по интонациям и по свежести восприятия жизни поэзии оборвался.

Я закончил университет и уехал на Сахалин, а когда вернулся, то застал в культурном движении совсем иную картину. В центре ее уже не были Михаил Красильников и Владимир Уфлянд, а был Рид Грачев, который на протяжении университетских лет оставался как бы в тени. Он стал носителем нового пафоса. Если прежде друзьям всё прощалось, впрочем, как и теперь у нынешних поэтов, то в начале шестидесятых годов возник пафос морального отношения друг к другу, интеллектуального максимализма. Не прощались духовная вялость, индифферентность, литературная инфантильность. Если ты хотел быть «своим» в кружке Р. Грачева, ты не имел права на ошибку — моральную или творческую.

Тогда не было проблемы — разрыва с официальной культурой. Наоборот, остро стояла проблема завоевания официального плацдарма. Даже крупнейший поэт тех лет Иосиф Бродский очень серьезно относился к этой проблеме. Он готовил книгу своих стихотворений (это уже после ссылки) для издания в «Советском писателе», но помешала случайность. В Доме писателей состоялся вечер: выступали на нем Иосиф Бродский, Владимир Маразмзин, Борис Вахтин и экспонировались в гостиной картины Яши Виньковецкого, а сразу после вечера на его участников был сделан донос Валентином Ш. И книга Иосифа Бродского была ему издательством возвращена.

Отчаянная борьба ленинградских прозаиков за то, чтобы пробить стену молчания, кончается тем, что заболевает Рид Грачев. (Он первым, пожалуй, стал применять такие меры, как объявления голодовки, открытые письма и т. д.). Но ни о какой подпольной культуре нельзя было говорить, потому что писатели и поэты пытались свое творчество сделать доступным для широких масс, считая его художественно и социально значимым. Поддерживал тогда всех и авторитет Александра Исаевича Солженицына, который вел настоящую войну за право публикации своих замечательных романов. Мне самому издание нескольких книг, написанных в молодости, стоило немало крови. Многолетняя тяжба за публикацию зрелых и лучших вещей закончилась их запретом и обошлась мне двумя тяжелыми сердечными приступами. Кончилось всё тем, что я решил оборвать всяческие отношения с официальной литературой.

Это частное решение, к счастью для меня, как раз совпало с началом культурного движения, толчок которому дала «Бульдозерная выставка» в Беляево. В 1974 году произошел сдвиг в культурном сознании. Беляево — это преодоление социального страха и рождение творческой свободы. Следствия — выставки в парке Измайлово, на ВДНХ, в ДК им. Газа и «Невский», объединение 32 ленинградских поэтов в сборник «Лепта», появление самиздатовских изданий, которые имеют открытый, легальный характер. Так что ни о каком творческом вакууме в России, как считают некоторые западные искусствоведы, говорить не приходится. Скорее характерно пуританское следование культурным традициям, особенно в Ленинграде, стремление стать наследниками и преемниками достижений начала века.

Именно после выставки в Беляево появился новый термин — Вторая культура. У него нет автора, а у Второй культуры нет манифеста, нет даже определен-

ной эстетической программы. Есть четко осознаваемое право на свободу творчества, свободу мысли и право на контакт с публикой.

Вторая культура и разрывает отношения с официальными установками, возвращая себе независимость, и заинтересована в контакте с официальной, и частично готова на диалог с ней.

Динамика культурного движения довольно сложна. В ней неоднократно отмечались периоды взлета и спада, успех сменялся разочарованием, столкновения с властями приводили к различным, подчас противоречивым следствиям. Некоторые поэты и художники, пошедшие на компромисс со своей совестью или запуганные репрессиями, по существу «смирились», другие вынуждены были эмигрировать, третьи были выслааны или посажены. Но все — и те, кто оказался на Западе, и на Востоке, — продолжают и развивают то, что они обрели здесь, в культурном движении.

Независимая, или Вторая культура и не сможет слиться с официальной, потому что она отличается особым моральным климатом. У нее свои, в отличие от официальной, проблемы, свой пафос и свое бесстрашие.

Сейчас и на Западе, и здесь идут споры: насколько высоки художественные достижения независимых писателей и живописцев, что нового принесла Вторая культура в мировую.

Я абсолютно убежден в том, что это самобытное искусство. Я назову только некоторые имена: Иосиф Бродский и Михаил Шемякин, Владимир Максимов и Олег Целков — живущие в эмиграции, а в России — это Оскар Рабин и Георгий Владимов, Генрих Шеф и Владимир Овчинников, Дмитрий Бобышев и Игорь Тюльпанов.

А шифр неофициальной культуры раскрывается просто: прежде всего это культура нравственная. Шифр нам, живущим в России, понятен, на Западе он

нередко теряется, и тогда достижения культуры кажутся «темными», а то и сомнительными.

В чем же дело? Есть «свобода от...» — свобода прав, которых мы практически не знаем, и «свобода для...» — свобода для служения. Путь поиска ее, обретения и утраты и составляет содержание независимой культуры.

Этим и объясняется общность задач культурных и религиозных деятелей, и совместная их деятельность.

Я сам не могу разделить в своей деятельности последних лет, что является ее причиной: долг религиозный или долг писательский. Если когда-то эгоистически-писательский долг властно говорил, что нужно менять «климат», если я хочу сохранить себя как писателя, то осознание христианского долга дало мне силы остаться здесь. Принятие на себя этого долга оказалось не тяжестью, не веригами — наоборот, очищением от социального страха. Долг дал свободу духа и свободу поступков.

Вера спасала меня в самые тяжелые минуты моей жизни, минуты отчаяния и душевного мрака, когда ни творческие, ни человеческие отношения не могли служить поддержкой. Вообще же для опыта современного художника характерно взаимопроникновение культурного и религиозного: идеалов устремлений, понятий. И творчество его определяется неразрывностью этих двух начал.

## ГИБЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ИЛИ КРИЗИС КУЛЬТУРЫ?

Я не стану реферировать книгу И. Р. Шафаревича\*, перелагать ее своими словами. При тех или иных расхождениях с автором, предпочтительнее всё же отослать читателя к авторскому тексту. Итак, предполагается, что книга известна читателям. Речь идет сейчас о ее оценке. Но и в этом отношении я вынужден сузить поле своих наблюдений. Прежде всего, мне кажется, что неспециалисту трудно говорить о таких специфических явлениях, как, к примеру, характер социального строя в Древнем Египте или определяющий прафеномен китайской древней культуры. То, что сам И. Р. Шафаревич взялся за обсуждение таких тем, может сделать его книгу легкой мишенью для критиков-специалистов, а такая критика способна набросить нежелательную тень на самое *идею* его книги — идею, представляющуюся мне громадным достижением, необходимым шагом на пути самосознания современной культуры. И оценивать я буду не идею — заранее заявляю, что согласен с ней на сто процентов, — а поле ее применения.

Постараемся еще раз кратко формулировать эту идею. Социализм представляется И. Р. Шафаревичу социальной реализацией присущего человеку — и, очевидно, человечеству — инстинкта смерти, суицидным влечением, т. е. феноменом не столько идеологическим, сколько психологическим, или, точнее, социально-психологическим. Такой его характер выводит социализм за пределы истории, делая его в то же время

---

\* И. Р. Шафаревич. Социализм как явление мировой истории. ИМКА-Пресс, Париж, 1977.

чуть ли не биологической константой человеческого бытия. Это свое убеждение автор пытается обосновать иллюстрациями из мировой истории: получается, что социализм как государственная практика существовал раньше, чем идеология и теоретическая программа, т. е., попросту, он есть, в соответствии с вышесказанным о его вневременном смысле, характеристика бытийная, одно из фундаментальнейших условий человеческого существования. Только тот период, который был назван К. Ясперсом «осевым историческим временем», был попыткой преодолеть этот первоначальный инстинкт; но очень скоро, по историческим масштабам, наступила реакция — стремление вернуться к исходному состоянию; сейчас мы, в нашу эпоху повсеместной социалистической ориентации, — в центре этой реакции.

Вспоминается, как Бердяев назвал большевизм всемирно-реакционным явлением.

Путь уничтожения бытия — это путь его *тотальной организации*: централизация, социализация, — путь, приводящий к угашению индивидуальности, к созданию *анонимного общества*. Вот тут и возникает первый вопрос к автору: всегда ли гибель (ничтожность, стертость) личности неразрывна с перспективой общей гибели? разве не способно анонимное общество создать великую культуру? Примеры Египта и Китая опровергают трактовку автора. Этих примеров слишком достаточно, чтобы перестать связывать социализм — как инстинкт смерти — с идеей и практикой государственного деспотизма. Сами исторические сроки существования этих древних культур говорят скорее в пользу деспотизма как фактора социальной и культурной стабильности — правда, консервативной в высшей мере.

Карл Поппер, выдвинувший концепцию «закрытого общества», — ориентированного на природу и как бы воспроизводящего в своем бытии неизменность

природного цикла, гарантирующего «вечное возвращение» данных состояний, не учел, кажется, того, что реакционный, ретроградный, человеконенавистнический смысл эта модель приобрела не в бытии самих обществ такого типа, а в устах *идеологов*, строивших такие модели как бы по воспоминаниям о неких баснословных временах общественного спокойствия и стабильности; и в их устах эти концепции действительно были реакционными — потому что они не были *органичными*: бытие обществ нельзя отождествлять со смыслом всякого рода реставраторских теорий. «Закрытое общество» — такое, каким воспроизводит его Поппер, положим, по Платону, — это не реальность, а романтический миф. Даже о Спарте я не стал бы судить по «Государству» Платона.

Я бы мог так конкретизировать вышеназванный вопрос о связи деспотизма с инстинктом самоуничтожения. Если исходить из логики Шафаревича, считающего нынешний (допустим, только европейский) социализм реконструкцией архаических государственных форм, — ну вот как, к примеру, платоновская теория государства была обобщением соответствующей спартанской практики, — то не придется ли, следуя этой логике, в масштабах *русского* исторического времени увязать на указанный манер большевизм с традицией государственной жизни допетровской Руси? Есть очень много охотников сделать именно это; я не думаю, что к их числу принадлежит И. Р. Шафаревич.

Важнейшее отличие — именно там, где он готов видеть (согласно своей логике, но не своим симпатиям) сходство: Московская Русь — жила, СССР — гибнет, мало того — грозит гибелью человечеству.

Но И. Р. Шафаревич неоспоримо прав в том своем утверждении, что именно социализм — такой, каким мы знаем его сегодня, — имеет своей бессознательной целью уничтожение человечества.



Для доказательства этой истины совсем необязательно ворошить всю протекшую историю человечества — достаточно осмыслить *наш* опыт. Но, конечно, при этом придется расстаться с соблазном предельного концептуального обобщения.

Значит придется социализм трактовать всё-таки как историческое, а не вневременное явление; вывести его из порядка био-психологического и вернуть в культурный контекст.

Я попытаюсь в самой краткой форме сделать это.

Мне кажется, что основная неточность книги И. Р. Шафаревича — в натурализации самого понятия смерти. Это у него — физическое явление, не более. Смерть лишена у него аксиологического измерения. Это, действительно, Ничто, понимаемое как небытие, полное отсутствие, нуль, абсолютная дыра. В этой трактовке ученый-позитивист побеждает в Шафаревиче православного христианина. И когда с такими же чисто физическими представлениями он подходит к философскому понятию Ничто у Сартра и Хейдеггера, впечатление получается не в пользу автора.

Между тем, смерть не есть небытие, смерть есть событие. И мне кажется, что влечение к смерти означает бессознательное неприятие человечеством современного мира, бессознательную самокритику современной культуры. Социализм — попытка трансцендирования, выраженная на имманентном языке физического мира. Не нашедшая собственной культурной формы духовность.

Социализм поэтому нужно понимать как событие внутри *буржуазной* культуры. Бердяев сказал в свое время, что социализм — это истина буржуазности. В то же время — ее *само*-отрицание. Он не породил иных культурных принципов, он *изживает* (опять-таки психоаналитический термин) старые — буржуазные.

Я бы назвал социализм опытом бессознательно религиозного преодоления сознательно безрелигиозной

цивилизации. В нем, в его влечении к смерти, т. е. в трансцендировании за пределы *этого* мира, присутствует религиозный мотив.

Считается, что на религиозный путь выводит прежде всего экзистенциальный опыт. Я бы сказал, что в наше время более всего может способствовать нахождению религиозных ценностей как раз социальный опыт, конечно, при условии его правильного осознания.

Мало того, что социализм — инстинкт смерти, — сам инстинкт смерти нужно считать инстинктом (интуицией) иного плана бытия.

Получается, таким образом, что социализм, при всем его тотальном нигилизме, есть путь, а не тупик. Этот вывод очень трудно сделать. Противится этому в человеке не идеология, а сама жизнь.

Но кризис современной культуры — в лице социализма — показывает, что *наша* жизнь не есть высшая ценность. Скорее то, что должно быть пущено в переплавку.

Таков, на мой взгляд, *смысл* социализма; смысл этот — религиозный. Но это не мешает *механизмы* его функционирования описать в терминах какой угодно позитивистской теории. И уж, конечно, ничего лучше психоанализа для этого не найти. Лучше всего эти механизмы могут быть описаны при помощи понятия *амбивалентности*.

Трансцендентный порыв социализма возможен лишь при допущении дуалистической мировоззренческой установки. Между тем практика социализма немыслима вне самого жесткого, абсолютного монизма. Философски социализм — это монизм. Причем монизм здесь нужно понимать не только как единый принцип объяснения мира, но и как единый принцип его (социальной) организации. Новейший социализм выразил как раз это в понятии «философия практики».

Сознательно социализм — монистичен, бессознательно — дуалистичен. В этом в основном и проявляется его амбивалентность.

Гейне призывал оставить небо ангелам и воробьям. Интерес (чтобы не сказать — идеал) социализма — земное царство. Между тем это как раз ему и не удается: не потому, что он этого *не может* (Россия-то — не может!), а потому, что он этого *не хочет*.

Русский поэт Андрей Белый сказал в 1929 году, когда пришла коллективизация: «Торжество материализма привело к уничтожению материи». Социалистический материализм — это бессознательный, вытесненный идеализм. Кто же его вытесняет? *Буржуазная культура*, с ее культом материального изобилия, земного преуспевания, посюстороннего успеха. Социализм чувствует ограниченность этого мировоззрения, но он захвачен, заражен этой мощной идеологией, поэтому свою антибуржуазность он выражает на буржуазном языке. Результат — амбивалентен: *материя как идеал*, материя, утратившая материальность. В планах, т. е. в идеале, — изобилие, а на прилавках — пустота.

Социализм — Фиваида современной культуры, с той только разницей, что в умах этих аскетов царит маммона.

И социализм побеждает буржуазный мир не в каком-нибудь там мирном экономическом соревновании, а тем, что в свою очередь заражает его, проникает в его внутренние структуры: происходит экспансия бессознательной самокритики и самоотрицания.

И. Р. Шафаревич отказывается считать социализм религиозным феноменом на том основании, что он: а) принципиально имманентен, б) не знает религиозного человека: редуцирует его — к экономике, к полу, к физическому атому. Но также с видимой неохотой он склоняется в конце концов к тому, чтобы объединить собранные им факты единой психоаналитической концепцией — опять же в силу ее принципиального

редукционизма. Между тем никаких противоречий не будет, если мы больше задумаемся в предлагаемое психоанализом понятие бессознательной душевной жизни. В конце концов даже психоаналитическую редукцию человека можно объяснить как выраженную на современном позитивистском языке древнюю религиозную концепцию греховности человека. А ведь по видимости психоанализ укрепляет и оправдывает гедонизм современной культуры.

То есть — амбивалентен уже и не социализм только, а вся современная культура, внутри которой и рождается социализм как ее имманентная кара.

Человечество спешит покончить со своим гедонизмом. Вспомним, что психоанализ знает не только вытесненные инстинкты, но и вытесненную совесть.

Странно, что религиозный смысл социализма отрицает человек, сам устанавливающий социалистический характер хилиастических ересей средневековья, настаивающий на их типологическом родстве с современным социализмом. У автора возникает необходимость вести это сближение, отрицая религиозный характер ересей. Делает же он это, фиксируя внимание на враждебности социалистических ересей — *данной* религии, *данной* Церкви: религии и Церкви *своего времени*.

Это очень шаткий аргумент.

И если современному («научному») социализму Шафаревич отказывает в религиозной санкции по причине его принципиального имманентизма и монизма, то социалистические ереси он не считает религиозным явлением по причине их принципиального дуализма — дуализма крайнего, манихейского толка.

Но если мы попытаемся понять ереси как культурное явление, явление внутри тогдашней культуры — по аналогии с современным социализмом, — то мы заметим, что они были реакцией на неудачу теократического замысла католицизма, они знаменовали кри-

зис католической спелневековой культуры. Отсюда понятен их манихейский дуализм, правда, выраженный явно, потому что религиозный корень не был ими утрачен, как современным социализмом.

В рамках культур, утративших связь с Богом или только симулирующих эту связь, выходом может быть лишь дуалистический порыв.

Я оговорился — это, конечно, не выход, а скорее манифестация кризиса, его болезненный симптом, или, как было сказано выше, самоотрицание принципа данной культуры. В то же время такими явлениями ставится громадный вопрос о достоинстве культуры как таковой, о возможности на путях культуры достичь Царства Небесного, о реальном преображении бытия в культуре, в конечном счете — вопрос о смысле и ценности земного бытия.

Я этот вопрос, конечно, решать не берусь. Привел же здесь эти соображения (отнюдь не свои — Бердяева) для того, чтобы показать острейшую, крайнюю проблематичность сюжетов, затронутых в книге Шафаревича.

Интересно, что в мировоззрении, отрицающем благой смысл земного бытия, возможность его преобразования, очень часто присутствуют социалистические симпатии. Пример дает тот же Бердяев. Он говорил, что в истории не образуется Царство Божие, что мир должен сгореть. Дает ли это основания считать его социалистом *par excellence*? По крайней мере — еретиком? Или он всё же христианский философ?

Последний вопрос, которого я хочу коснуться в связи с книгой Шафаревича, — вопрос о *Востоке и Западе в социализме*.

Шафаревич приводит слова Хайхельхайма о социализме как регрессии к Востоку и опровергает их указанием на идеократический мотив, привнесенный в социализм Западом. Восточные деспотии, бывшие, по Шафаревичу, социалистическими государствами,

выгодно отличались от современных социалистических диктатур отсутствием тотального интеллектуального контроля. Действительно, отец современных идеологов и идеократов Платон был в то же время человеком, заложившим духовные основы европейской культуры. Но — чем же, как не идеократией, назвать, например, мельчайшую регламентацию и сплошную ритуализацию жизни в древнем Китае?

Для понимания западных источников современного социализма я бы обратился не к Платону, а опять-таки к традиции, заложенной хилиастическими ересями.

Шафаревич обращает наше внимание на то, что в Средние века (и позже — в Реформации) социалистические движения уже выработали ту организационную структуру, которая характеризует сегодня все без исключения опыты осуществления социализма: то, что Орвелл назвал разделением на «внешнюю» и «внутреннюю» партию; тогда же родилось явление, называемое сегодня «культ личности». Соответственно, социалистические учения уже тогда знали два плана: экзотерический — собственно социалистический и эзотерический, главная идея которого — абсолютное властвование, демоническое самоутверждение личности. В этом явлении Шафаревич предлагает видеть источник позднейшего гуманистического движения: сегодня мы являемся свидетелями того, как безрелигиозный, антитеистический гуманизм возвратился к этому своему источнику. Вот этот феномен, который можно назвать *нелегитимным фюреризмом*, и есть привнесение Запада в социализм, специфика европейских форм «закрытого общества». С другой стороны, там же, в хилиастических ересьях, заложенные традиции безропотного, абсолютного повиновения социалистических масс харизматическим вождям никакого нового мотива с собой не несут, они могут — даже здесь — быть причислены к восточным аспектам в социа-

лизме: нужно только учитывать, что «Запад» и «Восток» — не столько географические или даже культур-философские понятия, сколько психологические понятия, интенции человеческой души.

Казалось бы, идея абсолютного властвования — восточная идея. И всё-таки есть принципиальное отличие древнего азиатского деспота от новейшего фюрера. Я сказал о нелегитимности его власти: он всегда узурпатор; но соревнует он не законному монарху, — а Богу. Этот сатанизм, люциферическое самоутверждение — западное начало, характеристика «фаустовской души». Тоталитарное диктаторство XX века неразрывно связано с атеизмом, скажем сильнее — с антитеизмом. Его нерв — узурпация Божественных прав, претензия быть Абсолютным источником. Мы живем в эпоху явления антихриста, пришедшего во имя свое.

Высшая форма власти в древнем мире — теократическая власть — не может идти ни в какое сравнение с этим явлением: она всегда основана на исповедании *положительной религии*; даже идентификация с Богом (египетские фараоны) не может сравниться по злокачественности с прямым отрицанием Бога, с попыткой стать на Его место. Перед альтернативой теократия — атеизм нельзя колебаться в выборе в пользу теократии.

Другое дело альтернатива Запад — Восток, или, того пуще, Россия — Европа. Тут и выбора быть не может, потому что, собственно, нет самой альтернативы. Так называемый русский коммунизм, за который якобы не ответственна сама идея социализма, — явление на самом деле не существующее: коммунизм в России был не возвратом к доевропейским формам жизни, как многие полагают, и не реминисценцией древнего азиатского деспотизма — он был опытом усвоения новейшей *безрелигиозной* западной культуры, очередным этапом русской европеизации. В тот

момент Западу удалось изгнать своих бесов, экспортировать их на русский рынок. Сейчас он этого сделать не может. Еврокоммунизм — не надежду должен вызывать, а величайшее отчаяние: значит, дело всё-таки не в золоте Москвы (хотя и без него, конечно, не обходится), а во внутренних причинах, если после всех своих странствий коммунизм возвращается на свою духовную родину.

Альтернативы нет, но и чаемый синтез Запада и Востока на почве социализма не удался. Помнится, надежды на его осуществление связывали с Россией, видели в этом ее историческую миссию. Получилось так, что высшую идею западной культуры — идею свободной индивидуальности — Россия восприняла в мерзком обличье сталинизма. Виновата в этом не Россия, а социализм.

Но и у социализма, если следовать предложенной мною трактовке, как будто бы особой вины нет. Нужно понять, что он — не причина всех нынешних зол, а следствие одного основного зла: гедонистической буржуазной культуры, тесной для духовных порываний человека. С последней непреложностью он требует от нас перемены духовных ориентиров, требует возвращения к нашим истинным — небесным — корням.

Е. БРЕЙТБАРТ

## ПОКА БЕЗУМНЫЙ НАШ СУДЬЯ...

*О книге В. Турчина «Инерция страха»*

Совсем недавно и почти одновременно вышли в свет две книги. Одна во Франции — Игоря Шафаревича



ча «Социализм как явление мировой истории», другая в США — Валентина Турчина «Инерция страха». Об этих книгах было известно еще задолго до их издания, поскольку заключительная глава книги И. Шафаревича вошла в сборник «Из-под глыб», а одна из глав «Инерции страха» была напечатана в журнале «Посев». В 1968 году В. Турчиным была написана большая статья, скорее, брошюра с таким же названием. Но, как говорит сам автор, «настоящее издание написано заново и является, таким образом, новой работой, хотя и основанной на тех же идеях, что и первый вариант».

Содержание книги члена-корреспондента АН СССР И. Шафаревича, безусловно, шире и глубже самого названия, ибо прослеживание на достаточно широком множестве примеров — как теоретических построений улучшенных моделей мира, так и «исторических экспериментов» — истории социализма от древнейших времен до наших дней дает богатый иллюстративный материал для формулирования собственной концепции социализма. При самых различных возможных оценках определения социализма, принятого И. Шафаревичем, и столь же, быть может, различных оценках его концепции, обзор, сделанный им, является на редкость своевременным и необходимым, а на русском языке, пожалуй, и наиболее полным. Уже одно это делает работу И. Шафаревича необычайно ценной, тем более, что написана она хорошим, ясным языком.

Книга «Социализм как явление мировой истории» состоит из трех больших частей: ч. I — Хилястический социализм (т. е. социализм как учение); ч. II — Государственный социализм (т. е. социализм как реально существующий общественный строй); ч. III — Анализ.

Работа В. Турчина «Инерция страха» — тоже о социализме, но ее можно рассматривать как полемическое продолжение работы И. Шафаревича. Там, где

последний ставит точку, как бы произнеся «отходную» социализму, вынеся ему окончательный приговор, вступает первый, оптимист по натуре и по своему отношению к историческому процессу, в частности, к социализму, который и Турчиным признается фактором мировой истории. В. Турчин предлагает свою концепцию, свою модель мироздания, причем концепцию, как кажется самому автору, если и не полностью, то почти формализованную, или, говоря другими словами, научную. Но об этом дальше. А пока о структуре книги В. Турчина. Она тоже состоит из трех частей: 1. Тоталитаризм; 2. Социализм; 3. Тоталитаризм или социализм? Попутно отметим, что обе книги снабжены обширными списками использованной в качестве источников литературы, что само по себе удивляет и радует, ибо обе они писались в условиях СССР, причем большая часть приведенных названий труднодоступна для рядового советского читателя. Интересно в этом смысле упомянуть еще одну самиздатскую работу, которая года три назад тоже вышла на Западе. Имеется в виду совсем не тривиальная работа под псевдонимом (весьма многозначительным) К. Буржуадемов — «Очерки растущей идеологии» — полностью построенная на широкодоступных изданиях классиков марксизма-ленинизма плюс всего одна книга зарубежного автора, которая, хотя и полузакрытым образом, но все-таки была издана в СССР. Конечно, следовало бы проанализировать вместе названные нами три работы о социализме, хотя бы на том основании, что на фоне весьма обширного множества работ на всех языках о социализме (ну кто же сейчас может обойти молчанием столь животрепещущую тему?!), пожалуй, только эти три книги, во всяком случае из написанных по-русски, можно считать действительно серьезными, резюмирующими три концептуально различных подхода. (Я имею в виду работы, написанные за последние 10-15 лет.)

Но пока остановимся только на работах И. Шафаревича и В. Турчина. Интересно то обстоятельство, что как Шафаревич, так и Турчин — математики. Только И. Шафаревич — чистый математик (пожалуй, крупнейший на сегодня специалист по теории чисел, как говорится, чистой «классике» математики), тогда как Турчин — математик-прикладник, или, как теперь это часто называют, кибернетик (что, как правило, означает специалиста в области вычислительной техники). Эта разница областей научной деятельности в данном случае нуждается в подчеркивании, так как она сказывается в типах мышления. Это — разница между «точным» мышлением и, скажем, «почти точным». Но, во всяком случае (по крайней мере для наших целей) вряд ли следует сомневаться в строгости логических построений обеих работ.

Я не ставлю себе цель дать здесь традиционную рецензию, подробно разбирать достоинства и недостатки каждой из названных книг. В данном случае важно, в первую очередь, одно: обе работы дают в результате два примера нетривиальных концепций, когда нетривиальность понимается не в публицистическом смысле, а в научном. По многим причинам больше придется говорить о книге В. Турчина «Инерция страха», но не потому, что представленная в ней концепция более содержательна, нежели концепция И. Шафаревича. Я даже и концепции сравнивать не буду. Более того, я попытаюсь показать, что работа В. Турчина, если и имеет какое-то отношение... к социализму, то лишь весьма отдаленное (хотя сам автор ее вряд ли со мной согласится, он несоразмерно большой пафос вложил в свое понятие «социализм»).

После прочтения книги «Инерция страха» остается двойственное ощущение, и поначалу трудно определить, на чем основана эта двойственность. В первой части — «тоталитаризм» — со знанием дела, убедительно рассказывается, что представляет собой сегод-

нынешнее советское общество. Это знание и убедительность изложения идет не от стороннего зрителя, а от непосредственного активнейшего участника того, что принято теперь называть демократическим движением. В. Турчин хорошо знает тот «социум», в котором он осуществлял свое неотъемлемое человеческое право быть самим собой. Тут лишь на мгновение могут смутить некоторые терминологические новшества, как, например, то, что он называет себя «градуалистом». Трудно найти сразу существенную разницу между более принятым понятием «эволюционист» и новым «градуалист» и понять, чем эволюционная постепенность отличается от градуалистской (сначала хочется даже пошутить, уж не означает ли это «шаг вперед, два шага назад»?!). Но может быть, такие новинки имеют какое-то отношение к научности.

В третьей части — «Социализм или тоталитаризм?» — В. Турчин обсуждает шаги, которые советское общество должно сделать, чтобы встать, наконец, на путь демократизации. Предложенный им «примерный план демократических реформ, который намеренно выражен (...) в общих терминах и является поэтому скорее схемой мероприятий, чем их конкретным планом», резюмирует те задачи, которые демократическое движение ставило себе с самого начала. (Интересно заметить, что подпись Брежнева стоит, по сути дела, под точно таким же планом, что изложен, например, в пунктах Заключительного Акта совещания в Хельсинки. Здесь, я думаю, и таится корень «непонимания» брежневыми озабоченности демократического движения — брежневы-то считают, что у них в стране всё это уже есть и только «отщепенцы» типа Турчина могут наводить тень на плетень).

Так что, ни первая, ни третья часть не могут вызывать какого-либо противоречивого чувства. Но остается еще вторая, на мой взгляд, центральная часть (не только потому, что она находится посередине) —

«Социализм», — ради которой, собственно, и затевалась вся работа. В этой части сделана попытка построить формализованную, т. е. научную теорию социализма. И вот тут-то...

Любая формальная теория начинается с установления основных объектов, определения понятий и отношений. Строится формализованная социальная теория, где объектом, видимо, нужно считать общество, людей; одним из основных понятий — социализм; и далее нужно определять сложные отношения между социализмом и обществом. Как же строится определение основного понятия теории Турчина (далее для краткости будем называть ее, отдавая дань научности, «Т-теорией»)? Это построение начинается... с полемики. Но какое отношение полемика, публицистичность имеет к формальной теории?

Именно здесь и начинает сказываться отмеченная выше разница типов мышления Турчина-кибернетика и Шафаревича-математика. Можно понять, почему пессимистические выводы, к которым пришел Шафаревич в отношении социализма как фактора мировой истории, могли вызвать возражения оптимиста Турчина. Шафаревич в своей работе, нигде не произнеся ни слова ни о какой научности своей концепции, куда более формально логичен, чем это может показаться, в своих описательных (дискриптивных), внешне не формализованных рассуждениях. Будучи научно добросовестным, Шафаревич в самом начале своей работы приводит развернутое определение основного понятия, вокруг которого всё будет крутиться. Он ни с кем не спорит, не полемизирует — он вводит это понятие и далее разворачивает рассуждения строго логически, до самого конца. «Инстинкт смерти», присущий его социализму, это прежде всего — логический конец социализма, переведенный им на внеформальный язык как «инстинкт смерти». И. Шафаревич продемонстрировал железную логику математика, — иначе он и не

мог. Насколько этот логический приговор совпадает с приговором истории, трудно сказать, хотя я склоняюсь к мнению Шафаревича. Но в этом сомнении в совпадении выводов логики и истории и может таиться источник оптимизма, ибо оптимист где-то в глубине души уверен, что история не слишком соответствует формальной логике или, во всяком случае, надеется на это.

«Т-теория» начинается с полемики, в частности, и с Шафаревичем, именно по поводу понимания слова «социализм». Турчин противопоставляет свое определение социализма определению Шафаревича, тем самым считая определение последнего неверным. Но разве в рамках *формальной теории* речь может идти о верности или неверности определения? Примите любые определения, стройте на них теорию, а непротиворечивость ее далее следует проверить построением непротиворечивой же, адекватной «модели». В конце концов, мир какое-то время может держаться на «ненаучных» теориях, называемых до поры до времени «научными» (скажем, жили же люди с аксиомой «земля держится на трех китах», а затем с «научной» теорией Птолемея), как принял Маркс, что история есть всего лишь «история классовой борьбы», и какое-то время это было очень похоже на правду. Разве геометрия Лобачевского зиждется на утверждении, что один из постулатов Эвклида неверен? Лобачевский (а с ним Гаусс и Бойяи) гениально нащупал точку, в которой система Эвклида допускала расширение. Конечно, математик действует в рамках уже формализованной теории, где публицистическая полемичность совсем не к месту. С формализацией же еще неформализованных областей знания дело обстоит труднее, хотя сами попытки производятся уже во многих из них (так, мне известна попытка формализовать медицину, которая начиналась с «аксиомы» — «не повреди»).

Вообще же полемика «Т-теории» с Шафаревичем производит несколько странное впечатление. «Т-теории» почему-то показалось удобным привести лишь часть определения социализма по Шафаревичу. Оно взято из той заключительной главы книги Шафаревича, которая вошла в сборник «Из-под глыб», поэтому оно и появляется лишь в таком виде: «...Шафаревич считает основными и первичными социализма «упразднение частной собственности, уничтожение религии, разрушение семьи». Странно именно то, что Турчин основывает свои расхождения с Шафаревичем именно на этом определении.

Далее «Т-теория» начинает подход к собственному определению социализма:

«Каково же ядро социализма? Я утверждаю, что оно имеет ту же природу, что и все великие религии, давшие начало великим цивилизациям прошлого и настоящего. Социализм — религия будущей глобальной цивилизации, той цивилизации, которая рождается сейчас в муках».

Так и хочется, да простит меня автор «Т-теории», перекреститься или встать по стойке «смирно». После этого неумолимый логический приговор Шафаревича об «инстинкте смерти» не кажется таким уж страшным по сравнению с неумолимой поступью истории, таящейся в этих словах.

Но вот, наконец, и основное определение «Т-теории»:

«Социализм — это религия, провозглашающая Высшей целью интеграцию человечества».

Остановимся на социализме как религии. Турчин оговаривается перед этим определением, что это свойство социализма было присуще ему всегда, только никогда даже его апологеты не хотели признать это вслух и определенно (в чем, судя по «Т-теории», и была основная их ошибка. Этим они, в частности, способствовали Шафаревичу в его выводах).

Но что же всё-таки подразумевает Шафаревич под «социализмом»? Социализм как явление мировой истории представлен им в двух своих ипостасях: как явление мыслительной деятельности — учение и основанные на нем призывы, программы переустройства жизни, с одной стороны, и реальные «модели» в виде общественного строя. И как учение, система взглядов, социализм всегда претендовал заменить собой религию в традиционном понимании, даже не заменить, а подменить собой религию, стать религией. Именно поэтому Шафаревич и термин взял для обозначения этого из религиозной литературы, назвав социализм как учение «хилиастическим социализмом». Так в чем же всё-таки расхождение «Т-теории» с Шафаревичем? Ведь и «Т-теория» — пока всего лишь теория, причем, как хочется Турчину, «теория социализма». Для Шафаревича она будет еще одним «хилиастическим социализмом». Правда, с существенным отличием от уже известных. По Шафаревичу, все до сих пор существовавшие «хилиастические социализмы» основывались:

1) на полном отрицании современного им строя жизни (у Турчина это сказано так: «совмещать бескомпромиссный анализ...»);

2) они *призывают к его разрушению* (продолжим начатую цитату из Турчина: «с осторожной градуалистской стратегией в плане выводов и действий»);

3) они рисуют картину более справедливого и счастливого общественного строя, в котором найдут разрешение все основные проблемы современности (в терминах «Т-теории» речь идет не о конкретном общественном строе, а о процессе движения к Совершенству — об интеграции); и

4) они предлагают пути для достижения этого строя (в «Т-теории» излагается программа — о ней мы говорили выше, — призванная помочь встать на путь к интеграции).



Главный же призыв «Т-теории» состоит в том, чтобы перестать маскироваться под религиозность, а объявить об этом открыто, что Турчин и делает. Вряд ли стоило бы останавливаться на утверждениях такого типа:

*«Я беру на себя смелость утверждать, что в употреблении термина «религия» существенным является установление сверхличной Высшей цели (...) и наличие системы воспитания соответствующих этой цели эмоций».*

Как утверждение формальной теории оно мне импонирует именно в смысле «смелости», как, скажем,  $2 \times 2 = 4$ , но это больше похоже на издержки полемического задора — ведь Церковь, кажется, никогда своих целей и не скрывала, а в особое учение — теологию — это утверждение о ядре религии входит чуть ли не как аксиома. Но вопрос в другом: неужели вот так просто, одной лишь терминологической эквилибристикой можно переводить понятия с одних смысловых уровней на другие? Неужели такое понятие, как религия, можно уподобить ореху или атому, ядро которых может нам пригодиться для каких-то наших целей — питания или физики? Но и тут как-то с трудом верится, чтобы эти ядра существовали самостоятельно. Право, я не знаю, может, физики теперь уже умеют отделять ядро от атома.

Думается, что у нас с В. Турчиным одинаковый «религиозный» опыт, т. е. это означает — никакого опыта, ибо мы с ним из одного «соцлагеря». Мы не пропустили религию через себя, поэтому следовало бы даже в целях формализации, а скорее, именно в этих целях, быть несколько аккуратнее с неформальными понятиями.

Удивительно, но все рассуждения Турчина относительно религии поразительно похожи на рассуждения на ту же тему Н. Бухарина в его классически марксистском труде «Теория исторического материализ-

ма» (Госиздат, М.-П., 1923). Для примера: у Бухарина —

«В самом деле, что такое цель? Понятие «цели» предполагает понятие того, кто эту цель ставит именно как цель, т. е. сознательно. Цель без того, кто эту цель ставит, не существует».

У Турчина —

*«Понятие о Высшей Цели неотделимо для него (социализма. — Е. Б.) от человеческого общества и бессмысленно без него. Отсюда и слово «социализм». Как бы ни конкретизировалось понятие блага, для всех социалистов общественное благо — высшая цель, которую может и должна иметь личность»* (выделено мною. — Е. Б.).

А несколькими страницами раньше:

«Понятие о Боге маскирует происхождение Высшей Цели. Центр тяжести перемещается на вопрос о существовании Бога, а высшая цель объявляется одним из его аспектов, выводится из существования Бога. Вопрос воли превращается таким образом в вопрос знания или веры».

Бухарин по-ленински откровеннее:

«Все примеры доказывают одно и то же: телеологическая точка зрения упирается в религию. По своему происхождению это есть грубое и варварское перенесение земных отношений рабства, подчинения — с одной стороны, и господства — с другой, на весь мир. Она в корне противоречит *научному объяснению* и опирается *на веру*. Это есть поповская точка зрения, под каким бы ароматным соусом она себя ни подавала» (выделено мною. — Е. Б.).

Завидная откровенность, по сравнению с Турчиным!

Далее Т-теория формулирует основное отличие социализма от религии — отсутствие понятия о трансцендентном — и заполняет этот пробел введением нового — трансцендентного — понятия — интеграции (интеграции), скорее даже не вводит, а каким-то обра-

зом вытаскивает из традиционного понятия социализма. Причем ничего более определенного, чем: «Человечество должно сплотиться в единую дружную семью — такова мечта социалистов», мною не найдено. При этом такие черты социализма, как стремление к общему равенству и справедливости, считаются производными первого порядка от интеграции, а уж те, которые приведены Шафаревичем в качестве черт практики социализма: уничтожение собственности и семьи, являются производными даже второго порядка. Каким образом интеграция как «сплочение в единую дружную семью» приходит в противоречие с существованием Религии, доказано недостаточно убедительно.

Но Т-теории мешает не только Религия, но (и это совершенно естественно в ее контексте) такой фактор мировой истории, как национализм. Причем естественность этой помехи настолько очевидна для нее, что автор даже не считает нужным на этом факторе останавливаться, несколькими словами смахнув его со счетов. А остановиться стоило бы и хотя бы показать, что у этой помехи нет тенденции стать непреодолимым препятствием на пути к интеграции.

Самому понятию интеграции можно даже симпатизировать. И далее я постараюсь пояснить это, но надо закончить с определением социализма в Т-теории (углубление увело бы меня слишком далеко от цели, для которой эта статья пишется). При чтении второй части «Инерции страха» мне всё время хотелось чуть перефразировать понятие интеграции на такой лад: интеграция есть общее дело человечества, причем не такое уж трансцендентное (т. е. ничего особенно «запредельного» в этом нет) в том смысле, как сознанием воспринимаются такие понятия, как «совершенство» или  $\sqrt{2}$ , в которых запрятана бесконечность, трансцендентность.

Интересно напомнить, что русская философия имеет пример теории «общего дела» человечества,

причем теории куда более трансцендентной, чем Т-теория. Эта теория и по сей день представляет собой образец духовной и нравственной красоты. Я имею в виду русского философа прошлого века Н. Ф. Федорова с его «Философией Общего Дела» (здесь даже внешняя аналогия с Высшей Целью, оба словочетания начинаются с заглавных букв). Автор этой теории был одновременно философом, богословом, экономистом, инженером, историком. Его идеи во многом предвосхитили идеи Циолковского (который, впрочем, и сам не отрицал прямого учительского влияния Федорова). Из двух идей — о небратстве отношений между людьми и о неродственном отношении природы к людям — Федоров выводил третью: о необходимости воскрешения мертвых. Он считал, что эта идея несет в себе объединительную силу для человечества. Ибо сколь бы прекрасные перспективы ни открывались человечеству, всегда одна мучительная мысль будет владеть мыслящими умами: самое прекрасное будущее не оправдывает человечество перед прошлым, перед умершими, которые служили, как говорится, «навозом для истории». Разрешение Федоровым в его философии вот этой мучительности даже не столько ума (умом вообще всё можно принять и при надобности оправдать), но души, сердца заставило преклониться перед ней двух столь великих антиподов, как Толстой и Достоевский. Сколь бы ни была утопична философия Общего Дела Н. Федорова, главное то, что в ней человек осознает свои обязанности перед всеми людьми без исключения, перед живыми и мертвыми.

Так вот Т-теория, на мой взгляд, делает попытку не столько трансцендентность внести в понятие интеграции, сколько сделать ее понятием неутопичным (так же, как математика сделала трансцендентную величину  $\sqrt{2}$  вовсе «неутопичной») или, другими словами, сделать интеграцию «рабочим понятием».

А теперь, как говорил покойный акад. П. С. Новиков, приходя на следующую лекцию, забудем, о чем говорилось на предыдущей лекции, и посмотрим на проблему с другой стороны. Иначе в своих вопросах (а их можно поставить очень много) мы можем утопить Т-теорию, в которой, как я вижу, есть главная линия, по сторонам коей разбросано очень много глубоких понятий и суждений. Собственно, по ним я и вывожу эту главную линию даже не столько Т-теории, сколько вообще всей книги В. Турчина.

Главный вопрос, попытка ответить на который предпринята Турчиным в его книге «Инерция страха», вопрос не новый, это один из «вечных» вопросов Науки, он поднимается в каждом промежутке истории Науки. Вот как он был сформулирован более сорока лет назад одним из самых значительных умов нашего века — Джоном Дьюи:

«Возможно ли для научной установки стать столь весомой и распространенной, составной частью Культуры, что такая установка — посредством культуры — сможет формировать желания и цели человека?»

Вопрос был поставлен в предположении верности утверждения, что желания и цели, имеющие значение в определении хода действий, сами суть продукты определенной культуры.

«Вопрос этот становится определенным вопросом установления рода культуры, где научный метод и научные выводы составляли бы неотъемлемую часть».

В свете такой постановки вопроса — а именно в нем я и вижу суть работы Турчина, — сама его попытка, независимо от результатов, к которым он приходит, несет в себе огромный позитивный смысл. Именно такими понятиями оперирует Турчин, как Наука, научная установка, Культура, желания и цели Человека, научный метод... Вслед за Дьюи, говоря его словами, о книге Турчина можно сказать, что в ней

«...напоминается о том, что идеи действительны не как голые идеи, а как обладающие образным содержанием и эмоциональной притягательностью. Я касался (и Турчин в своей книге тоже касался. — Е. Б.) широко идущей реакции, наступившей против прежнего свехупрощения рационализма. Эта реакция была склонна доходить до противоположной крайности. Подчеркивая роль нужд, побуждений, эмоций и привычек, реакция эта часто отрицала у идей, у разумного начала какую-либо действительность. Проблема заключается в осуществлении *единения идей и знаний с не-рациональными элементами, присущими складу человеческой природы*. Искусство — имя, данное в совокупности всем средствам, благодаря которым осуществляется такое единение» (выделено мною. — Е. Б.). Но при этом великий деятель науки Джон Дьюи сказал еще и такое: «Проблема эта нравственная и религиозная». Ведь у любых наших теоретических построений есть и еще один сокровенный вопрос — а насколько наши мыслительные построения относительно исторического процесса согласуются с планами... Создателя?!»

Думается, что именно в свете высказываний Д. Дьюи и следует рассматривать работу В. Турчина «Инерция страха». Тогда все вопросы, которые мы задали по Т-теории выше, и те, которых не задали, хоть остаются, но из негативных они становятся позитивными, они направлены не на заведомое и поверхностное дискредитирование теории, на ее разрушение, но идут в одном с ней направлении — с целью разобраться нам самим и, может быть, помочь автору сделать теорию более «точной», убрав из нее расплывчатые понятия и определения, не идущую к формальной теории полемику ради полемики (с Шафаревичем-то, оказывается, расхождений просто нет — по линии определений, но, конечно, не выводов), уже никому не полезную положительную критику Маркса (типа: «с одной стороны, конечно, но с другой, — всё-таки гигант»). Ни с какой научной точки зрения не понятно, зачем Турчину понадобилось заряжать каким-то новым, высоким смыслом дискредитировавшее себя всей

историей человечества понятие «социализм». В конце концов идею интеграции с гораздо большей легкостью можно «вытянуть» из Библии (в этой связи интересно отметить, что как-то совсем выходит из обихода слово «коммунизм». А ведь нас как учили: «Социализм есть переходная стадия...»). Тут возникает опасение, что при распространенном сейчас несколько поверхностном чтении (горькие плоды всеобщей грамотности) внимание может быть остановлено уже знакомыми словами типа «социализм», полемикой, поклонами Марксу, лозунгом «пролетарии всех стран...», нелегкие же формальные построения будут опущены (как иной раз читают «Войну и мир» — «мир» читают, а «войну» пропускают). Это всё рассеивает, отводит внимание от главного: в терминах культуры попробовать найти *единение* науки и истории, науки и общества, науки и культуры. Тем более, что все проблемы и понятия обсуждаются Турчиным с одинаковой серьезностью. Кстати сказать, подспудный юмор (можно сказать, если только такое сочетание не покажется странным, научный юмор) — завидное отличие книги Буржуадемова «Очерки растущей идеологии» от работ Шафаревича и Турчина. Но и при формализации неких систем, тем более таких, как общество, надо помнить, что Создатель, Который так неосмотрительно был сброшен со счетов, посредством Истории может и пошутить над теорией. Не так ли?

## ПОДСТУПЫ К «ЗИЯЮЩИМ ВЫСОТАМ»

*Опыт ненаучного анализа*

Книга эта\* гениальна, так сказать, по определению. Поэтому дочитать ее до конца вряд ли возможно. Впрочем, допустим вероятностный результат: читатель книгу дочитает. Тогда перед ним неизбежно возникнет характерный для описываемой ситуации математически безупречный конфликт — между логическим выводом и практическим действием.

Логический вывод из прочитанного — самоубийство. Один из условных персонажей книги Болтун сравнительно легко преодолевает извечную коллизию между теорией и практикой: пройдя через соответствующие бюрократические процедуры, он получает талончик на официально разрешенное и официально организуемое самоубийство. Реальный фантастический читатель (причины фантастичности читателя очевидны) такой привилегии не имеет. Он вынужден обходиться кустарными средствами. Ему приходится в порядке личной инициативы самому добывать хороший крепкий гвоздь, прочную веревку, доброкачественную электродрель; самому просверливать дырку в железобетонной панели современной квартиры. Деревянную затычку в эту дырку ему тоже надо вбить самому — и так крепко, чтобы она не выскочила под тяжестью его тела. А раньше чем всё это добывать, надо сопоставить рост с высотой малогабаритной квартиры — иначе все хлопоты смогут оказаться напрасными.

И, наконец, когда всё будет готово, может оказаться, что все планы потенциального самоубийцы (и

---

\* Александр Зиновьев. Зияющие высоты. L'Age D' Homme, Швейцария, 1976.



даже им самим не осознанные зародыши планов) давно уже хранятся в досье и папках Сотрудника. Ибо, как установлено новейшими социологическими исследованиями, стукачи человека — ближние его. Согласно засекреченным данным Социолога, стукачами являются 97,3% жен интеллектуалов (с разбросом 88,1-109,2%), 103,16% любовниц, 99,99% ближайших друзей и т. п. Поэтому подготовленное даже самым тщательным образом самоубийство скорее всего провалится, будет рассмотрено как диверсия против существующего строя и повлечет за собой заключение добровольного самоубийцы в психиатрическую тюрьму. А к этому не стоит стремиться добровольно и, самое главное, на это не стоит затрачивать столько усилий. Тем более, что, не имея блата, вы наверняка не доставите ни хорошего гвоздя, ни хорошей веревки.

Поэтому приходится жить.

Прошу не рассматривать всё написанное выше как чистую пародию или иронию. Конечно, какой-то элемент пародийного сгущения здесь присутствует, но ведь и сама книга насквозь пародийна, иронична, если слово «ирония» не слишком слабо для этой предельно горькой, перехватывающей горло сатиры. Может быть, ни Свифт, ни Салтыков-Щедрин, с которыми на суперобложке сравнивается автор, не достигали такой беспощадности взгляда, такой экспрессии отчаяния. Тут дело не в степени и характере таланта, тут дело не в том, чтобы «средствами художественной литературы заклеить...». Мне кажется, автор о художественной литературе даже и не думал, да и клеить не собирался. Писала ли Анна Франк свой дневник с целью заклеить фашизм?

Как ни странно, эта почти лишенная эмоций (в их обычном восприятии), грубая, злая, местами непечатаемая книга воспринимается как лирический дневник. Вся книга есть не что иное, как страстное рыдание интеллекта, вопль удушаемого мозга, насилуемой и

растлеваемой мысли. Всё остальное в этом вымышленном обществе — отсюда. Вся античеловечность описываемого образа жизни, всё гротескное изображение вымазанных красной икрой Рыл, у которых «стало модно ходить с расстегнутой ширинкой», вся стабильность духовной Забегаловки и материальной Очереди, вся смесь слабого протеста и мощной трусости, честолюбия, лакейства, предательства и хищничества, вся нищета чувств и помыслов, — всё это результат запрета на мысль и слово. Насильственно культивируемое безмыслие, нарастающая духовная бедность насаждаются теми, чей интеллект обратно пропорционален их рангу. Аморальность здесь — следствие уклада, в котором господствует антимысль.

Бессмысленно спорить с фантастикой. Бессмысленно требовать, чтобы сатирический гротеск был написан по канонам учебника. Бессмысленно доказывать, что в реальной жизни причины и следствия можно поменять местами. Не хочется спорить с автором и по поводу того, «изм» ли то общество, которое создали в Ибанске Потребители и Потребительницы Черной и Красной Икры, — и какой именно «изм». По-моему, Забегаловка — она и есть Забегаловка под вывеской любого «изма»: с пропусками на власть, икру и на поездки в Париж, с платьями, расписанными по марле модной портнихой, и — с талончиками на самоубийство. Что же до идеологической связи между основоположниками, с одной стороны, и Троглодитами и Сотрудниками — с другой, то такую связь от веку и при всех укладах провозглашали именно Троглодиты и Сотрудники. Причем тогда, когда косточки основоположников давно сгнили — и возразить они не могут. Впрочем, я, кажется, оторвалась от фантастики и коснулась недопустимой реальности.

Не в том суть, «изм» это или не «изм». Да Зиновьев, собственно, и не занимается истоками и происхождением того страшного общества, которое он

гипотетически рисует. Перефразируя выражение одного из его персонажей, можно сказать, что автора интересует не прошлое, а настоящее и — будущее в настоящем. Он не исторический труд пишет, а сатирическую оплеуху дает. Сатирическая же оплеуха несмыслима и, несмотря на свою фантастичность, сама может войти в историю. Как, впрочем, и мрачное прогнозирование, до сих пор чаще бывшее уделом поэзии. Если обращаться не к щедро рассыпанным по «Зияющим высотам» образцам «безобразной поэзии», а к старой доброй классике, то эпиграфом к книге могли бы послужить часто цитируемые в современных мемуарах строки Блока:

О, если б знали, дети, вы  
Холод и мрак грядущих дней.

\* \* \*

Читать эту книгу безмерно тяжело. Дышать нечем. Дух перехватывает от квинтэссенции подлости, зла, лжи, устрашающей безнравственности и тупости. Нет, читатель не смакует обработанный мастером букет коньяка, он, задыхаясь, с вылезающими из орбит глазами, через силу глотает спирт-сырец невероятной крепости. Неужели никакого просвета нет в этом «темном царстве»? А оторваться всё-таки не можешь. И когда прочтешь, становится почему-то легче. Почему бы? Может быть, потому, что отступать — некуда? Пусть зло преувеличено, пусть добро не берется в расчет, но когда зло обозначено в такой откровенной, сгущенно-грубой, осязаемой форме, невозможно отвернуться, закрыть глаза и побрызгать вокруг одеколونчиком.

Одна из мыслей, пришедших мне на ум (может быть, некстати) при чтении «Зияющих высот», это мысль, брезжившая еще тогда, когда я смотрела «Дон

Кихота» в постановке Г. Козинцева. Нет, не когда читала Сервантеса, а именно тогда, десятка полтора лет назад, когда смотрела фильм. Теперь эта мысль вернулась и прорисовалась еще четче.

Что такое Дон Кихот, лишенный Санчо Пансо? И что есть Санчо Пансо без Дон Кихота? В первом случае — дух, лишенный сострадательной человеческой любви, полет мысли без реальной плоти, без запаха очага, без житейских забот, свойственных большинству людей, — и потому чужой им. А что такое Санчо Пансо без Дон Кихота? Превращение человека в Рыло, оскотинивание его, стремительное его падение — сначала до морального уровня трезвого бакалавра Караско, а потом еще ниже — до животного, независимо от наличия у него бакалаврского (или кандидатского!) диплома.

Человечество не может оставаться человечеством без Дон Кихотов, то есть без свободной мысли, свободного полета фантазии, деятельной любви, деятельного благородства, без самоотверженности и чести. Но всё это пропадет, сгинет, сгинет в грязи и насилии Рыл, если Дон Кихота не поддержит и не защитит Санчо — трезвый, от природы добрый, естественно честный, но хитроватый и обладающий неистощимым юмором Санчо. И уж наверняка пропадет, если сам Санчо обратится в Рыло.

Может быть, это имеет какое-то касательство к проблеме взаимоотношений интеллектуалов с народом? Обычно этой темой мало интересуются и мало возлагают на нее надежд. Ну, а всё-таки..?

Автор, чей труд рассматривается здесь путем ненаучного анализа, не первый, кому предъявляется счет в грубости, безнадёжности, беспросветности и так далее. И Джонатану Свифту, и нашему Михаилу Евграфовичу предъявлялись те же претензии: их произведения не преизобиловали «положительными типами». Чтобы не тревожить больше их великих имен, вспом-

ним других писателей — рангом помене, а временем поближе. Социалиста Е. Замятина, например, с его антиутопией-предостережением «Мы». Антифашиста Дж. Оруэлла, которому принадлежит открытие феномена «двоемыслия» (ибанские «критиканы» сочли этот термин слишком почетным для себя), а также изобретение названий Министерств Правды и Любви. Плохо знакомого у нас Сашу Черного, чьи скорбные пессимистические сатиры предварили песни А. Галича и кого вполне можно считать родоначальником «безобразной» поэзии. Правда, для научности ненаучного анализа одну оговорку придется сделать: все «злые» произведения упомянутых писателей были изданы и многократно переизданы у них на родине. Кроме Е. Замятина, А. Галича, ну и еще кой-кого. Ибанские «безобразные» поэты такой надежды не имели и в самый либеральный период истории, именуемый одними эпохой Реабилитанса, другими — эпохой Растерянса. Заметим при этом, что, скажем, двухтомник «Сатир» Саша Черного, с достаточной злостью изобразившего не только современных ему Мыслителей, Претендентов и Супруг, но и некоторых Политических Деятелей и Сотрудников, всё же вышел в Санкт-Петербурге в 1910 году, в самый разгар политической реакции. Уж подлинно, куда ихним Сотрудникам до ибанских! Мальчишки и щенки!

Я вспомнила все эти имена не для того, чтобы искать литературных предшественников, предтеч А. Зиновьева — наоборот, чтобы показать, что литературных предшественников у него, по существу, и нет. Как по *переполняющему* книгу содержанию, так и по форме, произведение Александра Зиновьева абсолютно уникально. Все упоминавшиеся мной писатели были именно профессиональными писателями, художниками по преимуществу. Экстраполировали ли они во времени или в пространстве, погружали ли политику в быт, создавали ли сюжет или искали символические

образы (вроде «чижика съел!»), — они имели дело с искусством и с материалом жизни, переплавленным в искусство.

В случае А. Зиновьева мы имеем дело и с другим автором, и с другим произведением. Как я уже говорила, автор, по-моему, не претендует на художественность, на *искусство*. Он претендует на полуфантастический репортаж. Стараясь точно осмыслить факты, он издевательски интерпретирует их научно (или якобы научно, кто его знает?), излагая события, он их безудержно пародирует.

А получается *искусство*. А получается *социальная фантастика*. А получается *сатира*. Как получается — тайна.

«Зияющие высоты» поначалу производят впечатление сумбура. Это ложное впечатление. (Напомню, что на некоторых читателей такое же впечатление произвел роман У. Фолкнера «Шум и ярость». Этим я вовсе не хочу поставить Зиновьева рядом с Фолкнером в «литературном преysкуранте» — просто отмечаю, как обманчиво бывает первое впечатление.) Книга напоминает не о беспорядке и сумбуре, который, как мы знаем из литературы, бывает в доме *после* обыска, а о целенаправленном отборе и упаковке материалов *перед* обыском. Конечно, торопятся. Конечно, в чемодан швыряют материалы, не очень заботясь о последовательности — потом разберемся. Но отбирают то, что считают нужным.

Автор точно (или почти точно) фиксирует некие факты, одновременно резкими и грубыми штрихами рисуя очень схожую карикатуру. Потом он наводит на изображение безжалостный и яркий свет мысли и показывает, как фантастично выглядит реальность в этом безжалостном и слепящем свете. Он точно (или почти точно) показывает взаимоотношения групп и личностей в рисуемом им обществе и прочерчивает линию возможного развития этих взаимоотношений.

Всё обнажено и высвечено под прожектором интеллекта. Это одновременно и логика, и социология — и пародия на них. Это одновременно и фотография, и сатира, и дневник, и мемуары, и фантазмагория. И псалом — и анекдот. И философствование — и насмешка над философией. И лирический плач сквозь зубы, и нарочито разнузданная, похабная «сортирность». И всё это втекает друг в друга и вытекает одно из другого. Здесь разъятый, разбросанный до последнего винтика и бесповоротно осужденный механизм запрещения мысли. Вот он — въяве, и въяве — спроецированное его следствие. Если правомерно такое определение, это логический гнев, гнев самой мысли против бессмыслицы. И тем сильнее очень редкие, очень короткие среди этой выверенной сатиры взрывы эмоций, проблески страстной горечи.

Я, по крайней мере, ничего подобного этой книге не читала, не знаю. Тут даже неуместно говорить о том, с чем ты в книге согласен и с чем не согласен. Всё равно как спрашивать, согласен ли ты с протопопом Аввакумом или с Экклезиастом.

А к тому же с Зиновьевым одинаково опасно как соглашаться, так и не соглашаться. Нет, опасно не в ибанском смысле, а в чисто интеллектуальном. В отличие от Аввакума и Экклезиаста, он написал не проповедь, а книгу *насмешливую*. Он обличает, издеваясь, и смеется, презирая. И для критика всегда есть опасность попасть впросак, приняв гипертрофированную насмешку за реальность, а реальную горькую правду — за фантастическую выдумку. Причем смех здесь, заметим, не щадит никого — не только Троглодитов и Рыл, но и друзей, возлюбленных, единомышленников и сотворцов. Что-то Достоевское есть, например, в разговоре Болтуна с Мазилой, когда Болтун ставит ехидный «экспериментаторский» вопрос: что было бы, если бы нас с тобой приласкали? Это вовсе не личный вопрос, это — нравственная, психологическая и со-

циальная проблема целого слоя так называемых интеллектуалов.

\*       \*       \*

Я записываю свои беспорядочные мысли об этой книге после того, как я ее прочла, но уже не имея ее в руках. Мне и труднее, и легче о ней писать, потому что я полностью отстранена от реальной среды, давшей автору толчок к творчеству, послужившей исходным материалом для сатирических этюдов и полуфантастических построений. Я не знаю никаких прототипов этих абстрактных, как неоднократно подчеркивает автор, персонажей. Ни с одним из них я не заседала на кафедре, не участвовала в совещаниях, не стояла в очереди за гонораром, не ходила ни к парикмахеру, ни к портнихе, не пила ни чай, ни кофе, ни коньяк. Если как читатель (то есть как отстраненный зритель социальной драмы) я кое-кого из них и угадываю, я могу в одном случае расхохотаться и зааплодировать, в другом — возмутиться и освистать. Но суть самой социальной драмы я вижу ясно. Я, читатель, могу расходиться (и расхожусь) с автором по многим вопросам. Автор, как человек, может быть в иных случаях несправедлив, зол и пристрастен. Но как сатирик он *беспощадно прав*. И главная его правда в том, что я, читатель, чужой, посторонний, с другой точки глядящий, никого в лицо не знающий, — *я их узнаю*. Я узнаю не отдельных людей, а *социальный слой*. Я их *знаю*. Знаю, несмотря на абстрактность, на отсутствие психологии, на скудость бытовых реалий. А разве нам нужно знать психологию «органчика»? Или господ ташкентцев? Ну пусть я видела других, не этих, но вполне готовых или потенциальных Троглодитов, и Мыслителей, и Кисов, и Сотрудников, и Супруг. Из других, правда, областей деятельности. Какая разница?



Разумеется, за более чем семидесятилетнюю жизнь я видела не только их. Я видела честных, и героических, и самоотверженных, и добрых. Но...

Но почему-то темы эти  
У всех сатириков в тени,  
И все сатирики на свете  
Лишь ловят минусы одни.

Когда действительность в изобилии поставляет материал для гневной сатиры, она появляется. Когда честным затыкают глотку, самоотверженных поливают грязью, добрых ожесточают, а героических переводят на удобрение, — она появляется. Появляется вопреки несбыточной голубой мечте всех Правителей на свете — иметь благоприличную, пристойную, ручную сатиру. Мало того — иметь гениев ручной сатиры.

Ручных сатириков сколько угодно, но гениев и талантов среди них почему-то нет. Ни Щедрины, ни Свифты, ни наши современники — Бертольды Брехты и Курты Воннегуты — среди них не рождаются. Задача для учеников первого класса и Заместителей Второго ранга — почему?

Ах, как убежденно и трогательно возмущаются Заместители и Заведующие всех рангов «беспросветным пессимизмом» сатириков, их грубостью и неприличием, отсутствием у них «светлых», «положительных» образов!

Так поговорим о пессимизме и оптимизме.

«Безнадежный пессимизм», который ставят в вину сатирикам, ни для одного человека на свете никогда не был и не может быть целью и смыслом жизни. Человеку свойственно стремиться к счастью («Я в этот мир явился голый, и шел за радостью, как все...»). Между нами говоря, я подозреваю, что и самому Шопенгауэру иногда хотелось улыбаться. Конечно, и пессимизм и оптимизм, как всё на свете, может быть мо-

дой. Но *живое* оптимистическое мироощущение и мировоззрение вырастают только на материале *живой жизни*. Люди радуются, когда им хорошо, и грустят, когда им плохо. Это так просто.

Однако существует еще такое понятие, как казенный оптимизм (о казенном пессимизме, кажется, никто никогда и не слыхивал). «Оптимизм» такого образца производится искусственно — как та синтетическая икра, о которой упоминает А. Зиновьев, — но распространяется гораздо шире, хотя усваивается не лучше. Расфасованным и упакованным в стандартную идеологическую тару суррогатом оптимизма снабжаются обычно широкие массы — наряду с отштампованными пластмассовыми репродукциями некогда живых идеалов. Это — ширпотреб. Хозяева жизни не нуждаются для себя ни в том, ни в другом.

Но люди не могут постоянно питаться синтетическими продуктами, дышать искусственным воздухом и выдавливать из себя улыбку, когда хочется плакать. Крушение идеалов — почва, на которой живой оптимизм не произрастает. Именно потребность в глотке естественного воздуха, в свободном движении мысли, в открытом излиянии чувств обращает мыслящих и чувствующих людей к пессимизму там, где оптимизм навязывают им силой. Ибо казенный оптимизм не имеет никакого отношения к реальным идеям, мыслям, страданиям и даже радостям людей.

Пессимизм — естественное, органическое следствие крушения идеалов. На заре моей молодости люди бесстрашно отдавали за эти идеалы жизнь. Были ли они, те идеи и идеалы, живыми, героическими и прекрасными? Да, были. И рождали живой оптимизм. Но их больше нет. Они не изменились, как полагают одни, не родились низменными и античеловечными, как утверждают другие, не остались святыми и непорочными, как думают третьи. Их просто нет, не существует вживе. «Умер Великий Пан!». То, что не вдох-

новляет больше на героизм и самоотверженность, не внушает надежд, не рождает чувства счастья, — нельзя считать живым. Идеи и идеалы смелых, честных и человеческих людей, именовавшихся революционерами и восставших против грязи, злобы и подлости старого мира, погибли вместе с этими людьми (а, может быть, и раньше их). Это не значит, что последующие поколения имеют моральное право устраивать свалку на их могилах. Старый мир был достаточно подл, уродлив и бесчеловечен (читай того же Салтыкова-Щедрина) — и его антагонисты были правы. Так допустимо ли теперь — и теоретически, и морально — взваливать на противников этого мира ответственность за то, что узурпаторы их имени вырастили на его обломках еще более ядовитые грибы?!

Но это опять же история...

Многие мыслители — в том числе и революционеры — предостерегали от *создания* нового деспотизма. Не послушали. Многие художники — в том числе и революционные — предупреждали об опасностях *укоренения* такого деспотического общества. Не послушали. Теперь художник — философ и математик — сигнализирует об угрозе *развития* такого общества. Он молод — относительно. Как мыслящее существо он, во всяком случае, пришел в этот мир уже после того, как мир стал тем, что он есть. Этот наличный мир и его тенденции он и исследует, оставляя за порогом исследования самую историю превращения. Понять его можно. Он — не историк. Теоретически автор сатиры знает, конечно, что под видимым «бурьяном зла» погребены не только трупы миллионов людей, но и трупы великих идей. Но главное зло для него — тот бурьян, что наступает ныне, что грозит затопить и задушить всё живое в мире. Охрипнув, автор кричит и предупреждает. Тут сатирический пессимизм более чем уместен. Он вливает глоток спирта-сырца в рот замерзающему.

Услышат ли? Те, кто слышит и мыслит, не так уж сильны. Те, кто обладает силой, не умеют ни слушать, ни мыслить. И они не замерзают — они предпочитают французский коньяк.

Человек — затоптанный и растоптанный, идеал — загаженный и окровавленный — достаточное основание для пессимизма. И потому я, с юности воспитанная «в духе оптимизма», сегодня хорошо понимаю Александра Зиновьева. Не обязательно соглашаюсь, но — *понимаю*. Это много — понимать друг друга. Мне доступен его пессимизм, хотя мой — несколько иного склада. В чем-то безнадежнее: я не верю не только в мудрость Заведующих, но и в гуманизм Президентов (и в милосердие Банкиров я не верю тоже). В чем-то светлее: я всё же продолжаю верить в человеческое сердце, в человеческую солидарность, в благородных Дон Кихотов и их верных оруженосцев.

Их мало. Их очень мало. Но я надеюсь (надежда ведь неистребима!), что их будет рождаться всё больше, и они помогут человечеству выбраться из той грязной ямы, откуда я пока не нахожу выхода.

Так, может быть, именно пессимисты оздоравливают и приуготовляют для Дон Кихотов нашу планету, на которой иначе можно было бы задохнуться от сладкой вони казенного оптимизма?

И потому я приветствую появление книги А. Зиновьева. Она, во всяком случае, учит полузабытому искусству: мыслить — и не соглашаться.

*Январь 1977, Москва.*

# Библиография

## К ДУХОВНОМУ УСТЬЮ

Есть судьбы, — как это ни банально звучит, — подобные плавному течению реки по равнинному руслу. Таких — большинство... Но есть — подобные течению бурных порожистых рек, которые внезапно и круто меняют свое русло... Проследить такую судьбу всегда интересно и поучительно. Особенно, если ее прослеживает не автор романного вымысла, а тот, кому она выпала на долю. Оттого так особенно впечатляют иного рода автобиографии, так сказать, рассказы с живого голоса, тем более, если это голос нашего современника, к тому же хорошо известного многим читателям...

Перед нами человеческий документ именно такого рода — автобиографический рассказ архиепископа Иоанна Сан-Францисского (в миру князя Д. А. Шаховского) о том, что и как привело его, юношу из аристократической русской семьи, заброшенной революционным ураганом на чужбину, благополучно начавшего поэтическую и редакторскую карьеру, жившего сугубо «светскими» интересами, — что и как привело его к Богу. Записки арх. Иоанна постепенно подводят нас к событию, перевернувшему всю его жизнь, к событию, о котором в конце записок сказано просто и немногословно: «23 августа ст. ст. 1926 года, в день своего 24-летия, на рассвете, я был пострижен в одной из церкво-вок-параκлисов Пантелеймоновского монастыря и наречено мне было имя Иоанн, в честь Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. С Афона я уехал в новую жизнь в новой одежде» (стр. 103).

Автор смотрит на жизнь как на единый, непрерывный поток, стремясь к синтетическому охвату его — от истоков до устья. Не случайно в подзаголовке записок стоит: «Установление единства».

---

Архиепископ Иоанн Шаховской. «Биография юности», ИМКА-ПРЕСС, Париж, 1977.

В книге собраны драгоценные крупницы богатого и неповторимого духовного опыта. Особенно замечательны страницы, посвященные духовному кризису, пережитому автором накануне решающего шага в его жизни. Таковы, например, стр. 95 («открытие» автором сокровенного смысла слова Истина при чтении философского словаря в Брюссельской королевской библиотеке) или стр. 86 (пророческое видение, ниспосланное автору свыше): «И я увидел пред собой огромнейшую Книгу, окованную драгоценным металлом и камнями, стоящую на некоей, словно древней, колеснице. И на этой Книге была яркая, ясная надпись русскими буквами:

### КНИГА КНИГ СОБЛАЗНА...

Только позже я осознал смысл этого явления, которое было мне символическим, чисто духовным указанием неверного направления моей жизни... Литературное слово, оторванное от служения Божьему Слову, конечно, соблазн духа — для многих... Тут был и соблазн моей душе — я мог в него уйти целиком, и уходил... И из мира духа ко мне протянулась рука, чтобы остановился я на этом своем пути абсолютизирования неабсолютного»...

Читатель записок арх. Иоанна узнает немало интересного и поучительного и об окружении автора, о людях, с которыми он столкнулся в годы юности. В этом отношении особенное внимание привлекают к себе приложенные к запискам «Литературные письма», связанные с тем кратковременным периодом, когда автор редактировал журнал Русской Литературной Культуры «Благонамеренный» (1925-1926 гг.). Среди его корреспондентов были, в частности, Бунин, Ходасевич, Святополк-Мирский, Ремизов, Мочульский, Адамович, Георгий Иванов, Зайцев, Алданов, Муратов, Зандер, Степун, Шестов, М. Гофман, Ив. Наживин и др. Особенно следует отметить подробно прокомментированное автором письмо к нему Марины Цветаевой от 1.7.1926 года, отправленное, когда он уже был на Афоне. Это письмо существенно дополняет те 20 писем к бывшему редактору «Благонамеренного», которые опубликованы в «Неизданных письмах Марины Цветаевой» (ИМКА-ПРЕСС, 1972)...

Книга записок арх. Иоанна «Биография юности» включает в себя также, помимо фотографий автора и его близких, «Письма к матери», фрагменты «Тетрадей о святости» (Лувенского, студенческого периода) и первую, религиозно-философскую, статью автора, помещенную в бердяевском журнале «Путь» (№ 5, Париж, 1926).

*В. Володин*

## СПИСОК КНИГ, ПОСТУПИВШИХ НА ОТЗЫВ

*Ανθολογία Ρωσικησ Ποιησησ. Εισαγωγή Ανθολογήσησ Αποδοση*  
Лея Надежина. Афины, 1977.

Антоний, митрополит Сурожский. Проповеди и беседы. Париж, 1976. Стр. 120.

Бородин Леонид. Повесть странного времени. Рассказы. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1978. Стр. 238.

Вольное слово. Самиздат. Избранное. Выпуск 28. «Христианский комитет защиты прав верующих в СССР». Документы. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1977. Стр. 96.

Вольное слово. Самиздат. Избранное. Выпуск 29. «Июньские новости» (Записки неаккредитованного). Марк Поповский. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1978. Стр. 112.

Димер Евгения. С девятого вала. Стихи. США, 1977. Стр. 64.

Камянов Борис. Птица-Правда. Стихи. Иерусалим, 1977. Стр. 119.

Kasack Wolfgang. Die Akademie der Wissenschaften der UdSSR. Harald Boldt Verlag KG, Boppard, 1978. © Deutsche Forschungsgemeinschaft.

«Ковчег». Литературный журнал № 1. Париж. Под редакцией А. Крона и Н. Бокова. 1978. Стр. 96.

Крэнстон Морис. Права человека. Документы о правах человека. Editions de la Seine, Paris, 1975. Стр. 376.

Московит Андрей. Метаполитика. Strathcona Publishing Company 1978, USA. Стр. 249.

Песни русских бардов. Тексты. Серия 1 (158 стр.). Серия 2 (163 стр.). Серия 3 (157 стр.). YMCA-PRESS, Париж, 1977.

Подъяпольский Григорий. О времени и о себе. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1978. Стр. 213.

Пушкарев С. Г., проф. Ленин и Россия. Сборник статей. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1978. Стр. 193.

Россия. Russia. Studi e Ricerche a cura di Vittorio Strada. Giulio Einaudi Editore 3, Torino, 1977.

Рыбаков Владимир. Тяжесть. Быль. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1977. Стр. 204.



Седых Андрей. Крымские рассказы. Нью-Йорк, 1977. Стр. 138.

Филиппов Борис. Шкатулка с двойным дном. 1977. Стр. 229.

Шапиро Леонард. Коммунистическая партия Советского Союза. Второе, дополненное издание. Перевел с английского Виктор Франк. Edizioni Aurora, Firenze, 1975. Стр. 933.

Шафаревич И. Р. Социализм как явление мировой истории. YMCA-PRESS, Париж, 1977. Стр. 390.

Шаховской, архиепископ Иоанн. Биография юности. YMCA-PRESS, Париж, 1977. Стр. 418.

«Эхо». Литературный журнал. 1. Париж, 1978. Журнал редактируют: Владимир Марамзин. Алексей Хвостенко. Стр. 127.

**Редактирует Редакционная Коллегия  
Главный редактор Н. Б. Тарасова**

---

**Адрес редакции журнала «Грани»:  
Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,  
D 6230 Frankfurt/M., 80**

---

**Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main**

## *Дорогие читатели!*

*Стремясь облегчить проникновение нашего журнала в Россию, а также ознакомить вас с лучшими из произведений, напечатанными в нем ранее, редакция журнала «Грани» выпускает 2 раза в год карманные сборники избранного текста из 7—10 номеров «Граней».*

*Эти сборники, размером 9,5 на 14,5 см, отпечатанные на тонкой бумаге и содержащие в среднем 512 страниц, легко укладываются в карман или женскую сумочку. Каждому путешественнику — советскому ли за рубежом, иностранному ли в России — ничего не стоит взять их с собой.*

*Мы обращаемся к нашим читателям в России:*

- передавайте свой экземпляр дальше, увеличивая тем число наших читателей;*
- просите своих друзей, едущих за границу, привезти вам наши сборники;*
- просите своих иностранных знакомых привозить вам их, вместо подарка!*

*Мы обращаемся к нашим читателям за рубежом:*

- используйте каждую возможность (встречу с соотечественниками, свои или друзей поездки в нашу страну и т. п.), чтобы передать в Россию наши сборники!*

*Эти сборники сделаны и предназначены для России! Каждый желающий их иметь **ДЛЯ РОССИИ** — может получить нужное количество экземпляров, обратившись по адресу:*

**А. Kandauirow c/o «Possev-Verlag»  
Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/Main 80**

**К настоящему времени вышло уже три сборника «Граней»:**

- ☐ Сборник № 1 — избранное из №№ 87/88-94;
- ☐ Сборник № 2 — избранное из №№ 78-86;
- ☐ Сборник № 3 — избранное из №№ 71-77

*Редакция*

# Г Р А Н И

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Стоимость подписки на 4 номера:  
в издательстве — 48 н. м.  
через магазины — 60 н. м.

## ПОСЕВ

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ**

**и**

## ВОЛЬНОЕ СЛОВО

**САМИЗДАТ · ИЗБРАННОЕ**

В издательстве: «Посев» (12)  
и «Вольное слово» (4) — 75 н. м.  
«Посев» (12) — 60 н.м.

Через магазины: «Посев» (12)  
и «Вольное слово» (4) — 90 н. м.  
«Посев» (12) — 72 н. м.

**Доплата за воздушную доставку:**

«Посев» и «Вольное слово» зона I — 24 н. м.  
зона II — 36 н. м.

«Посев» зона I — 20 н. м.;  
зона II — 30 н. м.

I зона — Северная Америка и Ближний Восток  
II зона — Южная Америка и Дальний Восток

**СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:**

«ГРАНИ» — 15 н. м. «ПОСЕВ» — 6 н. м.  
«Вольное слово» — 6 н. м.

В США и КАНАДЕ, при теперешнем курсе доллара  
около двух марок, следует цены, для определения их  
в местной валюте, делить на два

Подписную плату следует посылать:  
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

**POSSEV-VERLAG**

D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15  
или же банковским переводом на  
Konto 2412755, Dresdner Bank, Frankfurt/Main  
или на почтовый счет  
Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.